



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ 2025 № 4



*П*РОБЛЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

2025

ТОМ 23

№4



THE PROBLEMS OF HISTORICAL POETICS 2025 No. 4



*T*HE PROBLEMS
OF HISTORICAL POETICS

2025

Vol. 23

No. 4

ISSN 1026-9479
e-ISSN 2411-4642

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

2025

Том 23

№ 4

Главный редактор:
д-р филол. наук, проф. В. Н. Захаров

Издается с 1990 года,
выходит 4 раза в год.

ISSN 1026-9479
e-ISSN 2411-4642

The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
The Federal State-Financed Higher Educational Institution
PETROZAVODSK STATE UNIVERSITY

**THE PROBLEMS OF HISTORICAL
POETICS
[PROBLEMY ISTORICHESKOI POETIKI]**

2025

Vol. 23

no. 4

Chief Editor:

Vladimir N. Zakharov, PhD (Philology), Professor

Established in 1990.

The journal is published quarterly.

185910, Russian Federation
Petrozavodsk, Petrozavodsk State University
Tel. +7 (8142) 719 603
E-mail: poetica@petsu.ru
Web-site: <http://poetica.pro>

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Н. ЗАХАРОВ (гл. ред.), д. филол. н., проф.
(Петрозаводск, Москва, Россия)

В. В. БОРИСОВА
д. филол. н., проф. (Уфа, Москва, Россия)

В. И. ГАБДУЛЛИНА
д. филол. н., проф. (Барнаул, Россия)

Бенами БАРРОС ГАРСИА
PhD (Гранада, Испания)

А. Г. ГАЧЕВА д. филол. н. (Москва, Россия)

Джузеппе ГИНИ
PhD, проф. (Урбино, Италия)

И. А. ЕСАУЛОВ
д. филол. н., проф. (Москва, Россия)

О. В. ЗЫРЯНОВ
д. филол. н., проф. (Екатеринбург, Россия)

А. Е. КУНИЛЬСКИЙ
д. филол. н., проф. (Петрозаводск, Россия)

А. В. ПИГИН
д. филол. н., проф. (Петрозаводск,
Санкт-Петербург, Россия)

Н. А. ТАРАСОВА
д. филол. н. (Санкт-Петербург, Россия)

Е. А. ТАХО-ГОДИ
д. филол. н., проф. (Москва, Россия)

Галин ТИХАНОВ
PhD, проф.
(Лондон, Великобритания)

Йосип УЖАРЕВИЧ
д. филол. н., проф. (Загреб, Хорватия)

А. Н. УЖАНКОВ
д. филол. н., проф. (Химки, Москва, Россия)

С. Л. ФОКИН
д. филол. н., проф. (Санкт-Петербург,
Россия)

Кейт ХОЛЛЭНД
PhD (Торонто, Канада)

ЧЖОУ Ци-чао
д. филол. н., проф. (Пекин, Китай)

EDITORIAL BOARD:

Vladimir ZAKHAROV (Chief Editor), PhD,
Professor (Petrozavodsk, Moscow, Russia)

Valentina BORISOVA
PhD, Professor (Ufa, Moscow, Russia)

Valentina GABDULLINA
PhD, Professor (Barnaul, Russia)

Benami BARROS GARCÍA
PhD (Granada, Spain)

Anastasia GACHEVA PhD (Moscow, Russia)

Giuseppe GHINI
PhD, Professor (Urbino, Italy)

Ivan ESAULOV
PhD, Professor (Moscow, Russia)

Oleg ZYRYANOV
PhD, Professor (Yekaterinburg, Russia)

Andrey KUNILSKY
PhD, Professor (Petrozavodsk, Russia)

Alexander PIGIN
PhD, Professor (Petrozavodsk, St. Petersburg,
Russia)

Natalia TARASOVA
PhD (St. Petersburg, Russia)

Elena TAKHO-GODI
PhD, Professor (Moscow, Russia)

Galina TIHANOV
PhD, Professor (London, UK)

Josip UŽAREVIĆ
PhD, Professor (Zagreb, Croatia)

Alexander UZHANKOV
PhD, Professor (Khimki, Moscow, Russia)

Sergey FOKIN
PhD, Professor (St. Petersburg, Russia)

Kate HOLLAND
PhD (Toronto, Canada)

ZHOU Qichao
PhD, Professor (Beijing, China)

Журнал включен в российские и международные базы данных
и системы цитирования:

The Journal is included in the russian and in the international databases
of scientific citing:

Scopus; Web of Science (Emerging Sources Citation Index, Russian Science Citation Index); Russian Science Citation Index (RSCI), **РИНЦ** (Российский индекс научного цитирования); **DOAJ** (Directory of Open Access Journals, Швеция); **Urich's Periodical Directory** (США); **EBSCOhost** (США, Алабама, Бирмингем); **Google Scholar**; **BASE** (Bielefeld Academic Search Engine, Германия); **SLAVUS** (Slavic Humanities Index, Торонто, Канада); **Open Academic Journals Index** (International Network Center for Fundamental and Applied Research, Российская Федерация); **С.Е.Е.О.Л** (Central and Eastern European Online Library, Франкфурт, Германия).

Журнал и его архив размещаются на сайтах и в научных
электронных библиотеках:

The full-text versions of the issues are freely available on the websites
and in the Scientific Electronic Libraries:

<http://poetica.pro>

<http://elibrary.ru>

<http://cyberleninka.ru>

<http://www.intelros.ru>

<http://biblioclub.ru>

<http://www.iprbookshop.ru>

<https://e.lanbook.com>

<http://www.bogoslov.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

А. Ю. Нилова (<i>Петрозаводск</i>). Миф — фабула — басня: семантика и трансформация терминов в отечественном литературоведении первой половины XIX в.	7
Е. Л. Смирнова, Е. П. Литинская (<i>Петрозаводск</i>). «Лукий, или Осел» (Λούκιος ἢ ὄνος) в переложении О. И. Сенковского.	25
С. Ю. Королёва (<i>Пермь</i>), А. Б. Инполитова (<i>Москва</i>). Беглый пугачёвец атаман Щука (об исторической основе одного предания).	71
К. Г. Тарасов (<i>Петрозаводск</i>). Концепция народности Владимира Даля.	97
И. А. Есаулов (<i>Москва</i>). О многомерности Акакия Акакиевича, или Почему в русской литературе нет образа «маленького человека»	112
И. А. Киселева (<i>Москва</i>). Поэтика аутентичного текста М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно! — и некому руку подать...» (1840).	133
В. М. Димитриев (<i>Санкт-Петербург</i>). «Пережитое и передуманное» В. И. Кельсиева: романизация исповеди и публичная модель возвращения из эмиграции.	158
И. В. Дергачева (<i>Москва</i>). «Бедные люди» Ф. М. Достоевского и А. Мандзони: заглавие, концепт, сравнение.	189
Х. А. Чуманкина (<i>Москва</i>). «Обе вместе»: сцены встречи двух соперниц в композиции романов Ф. М. Достоевского.	208
В. Н. Захаров (<i>Петрозаводск</i>). «Ужель та самая Татьяна...» Спор о пушкинской героине в русской литературе второй половины XIX в. (Толстой, Достоевский и другие)	222
Г. В. Мосалева (<i>Ижевск</i>). От Пасхи к Рождеству: православный подтекст в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»	243
М. Н. Волвенкин (<i>Воронеж</i>). Гимнастика в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого и «Бесах» Ф. М. Достоевского: тело, движение, упражнение.	265
Т. А. Кошемчук (<i>Пушкин</i>), (<i>Санкт-Петербург</i>). Принцип антиномии в лирике А. А. Фета (исторические и поэтологические аспекты).	282
Е. Л. Сузрюкова (<i>Новосибирск</i>). Семантика вериг в повести Л. Н. Толстого «Детство», романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и рассказе А. П. Чехова «Убийство»	307
С. А. Кибальник (<i>Санкт-Петербург</i>). Повесть А. П. Чехова «Дуэль» как гибридный гипертекст.	329
А. М. Петров (<i>Петрозаводск</i>). Агиографические образы и мотивы в цикле «Северная Фиваида» Виктора Пулькина.	344

CONTENTS

A. Yu. Nilova (<i>Petrozavodsk</i>).	
Myth — Plot — Fable: Semantics and Transformation of Terms in Russian Literary Criticism of the First Half of the 19th Century.	7
E. L. Smirnova, E. P. Litinskaya (<i>Petrozavodsk</i>).	
“Lucius, or the Ass” as Adapted by O. I. Senkovsky.	25
S. Yu. Korolyova (<i>Perm</i>), A. B. Ippolitova (<i>Moscow</i>).	
The Fugitive Pugachevite Ataman Shchuka (on the Historical Foundation of One Legend)	71
K. G. Tarasov (<i>Petrozavodsk</i>).	
Vladimir Dahl’s Concept of the Russian Folk Spirit.	97
I. A. Esaulov (<i>Moscow</i>).	
On the Multidimensionality of Akaki Akakievich, or Why There Is No Image of a “Little Man” in Russian Literature	112
I. A. Kiseleva (<i>Moscow</i>).	
The Poetics of M. Yu. Lermontov’s Authentic Text “So Dull, So Sad! — and No One to Lend a Hand...” (1840).	133
V. M. Dimitriev (<i>Saint Petersburg</i>).	
“Experienced and Reconsidered” by Vasily Kelsiev: The Romanization of Confession and the Public Model of Return from Emigration.	158
I. V. Dergacheva (<i>Moscow</i>).	
F. M. Dostoevsky’s “Poor Folk” and A. Manzoni’s “The Betrothed”: Title, Concept, Comparison.	189
Kh. A. Chumankina (<i>Moscow</i>).	
“Both Together”: Scenes of the Encounter of Two Rivals in F. M. Dostoevsky’s Novels.	208
V. N. Zakharov (<i>Petrozavodsk</i>).	
“Is This Really the Same Tatiana...” The Dispute About Pushkin’s Heroine in Russian Literature of the Second Half of the 19th Century (Tolstoy, Dostoevsky and Others).	222
G. V. Mosaleva (<i>Izhevsk</i>).	
From Easter to Christmas: The Orthodox Subtext in Leo Tolstoy’s Novel “War and Peace”	243
M. N. Volvenkin (<i>Voronezh</i>).	
Gymnastics in “Anna Karenina” by L. N. Tolstoy and “Demons” by F. M. Dostoevsky: Body, Movement, Exercise.	265
T. A. Koshemchuk (<i>Pushkin</i>), (<i>Saint Petersburg</i>).	
The Principle of Antinomy in A. A. Fet’s Lyrics (Historical and Poetological Aspects).	282
E. L. Suzryukova (<i>Novosibirsk</i>).	
Semantics of Chains in the Short Novel “Child- hood” by L. N. Tolstoy, the Novel “The Brothers Karamazov” by F. M. Dostoevsky, and the Short Story “The Murder” by A. P. Chekhov	307
S. A. Kibalnik (<i>Saint Petersburg</i>).	
A. P. Chekhov’s Short Novel “The Duel” as a Hybrid Hypertext.	329
A. M. Petrov (<i>Petrozavodsk</i>).	
Hagiographic Images and Motifs in the Literary Cycle “The Northern Thebaid” by Viktor Pulkin.	344

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16182

EDN: HDFBUJ



Миф — фабула — басня: семантика и трансформация терминов в отечественном литературоведении первой половины XIX века

А. Ю. Нилова

*Петрозаводский государственный университет
(г. Петрозаводск, Российская Федерация)*

e-mail: annnilova@yandex.ru

Аннотация. «Поэтика» Аристотеля сформировала основные понятия европейского литературоведения. Однако различные эстетические системы придавали идеям Аристотеля разное, подчас противоположное вложенному философам, значение. Μῦθος, один из самых сложных терминов Аристотеля, претерпел существенное изменение в процессе развития европейской теории литературы. Латиноязычная традиция отождествила его с fabula, но семантика этих терминов не совпадает. Русская литературная теория восприняла термин fabula как аналог μῦθος. В результате возникла терминологическая полисемия. Термин «фабула» у русских авторов XVIII в. обозначал неправдоподобный вымысел, содержание поэтического произведения, независимо от его правдоподобия, и жанр. К началу XIX в. для обозначения жанра закрепился русский термин «басня». Этот же термин воспринял и другие значения более раннего термина «фабула» (fabula). Постепенно, по мере усиления романтических интенций и редукции классицизма, в русской критике термин «басня» утратил значение структурно-содержательного комплекса произведения и использовался для обозначения неправдоподобного вымысла и жанра. Окончательный отказ от использования термина «басня» в качестве аналога Аристотелева термина μῦθος произошел у А. И. Галича. Критические статьи В. Г. Белинского подтверждают завершение этого процесса.

Ключевые слова: Аристотель, «Поэтика», μῦθος, миф, fabula, фабула, басня, перевод, интерпретация, терминология, литературоведение

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 22-18-00423-П «Античный код русской литературы XIX — начала XX вв.», <https://rscf.ru/project/22-18-00423/>).

Для цитирования: Нилова А. Ю. Миф — фабула — басня: семантика и трансформация терминов в отечественном литературоведении первой половины XIX века // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 7–24. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16182. EDN: HDFBUJ

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16182

EDN: HDFBUJ

Myth — Plot — Fable: Semantics and Transformation of Terms in Russian Literary Criticism of the First Half of the 19th Century

Anna Yu. Nilova

*Petrozavodsk State University
(Petrozavodsk, Russian Federation)*

e-mail: annnilova@yandex.ru

Abstract. Aristotle’s “Poetics” shaped the fundamental concepts of European literary criticism. However, various aesthetic systems attributed different meanings to Aristotle’s ideas, sometimes contradicting those of the philosopher. “Μῦθος,” one of Aristotle’s most complex terms, underwent significant changes in the course of development of European literary theory. The Latin tradition equated it with “fabula,” but the semantics of these terms are not identical. Russian literary theory adopted the term “fabula” as an analogue of “μῦθος.” This resulted in terminological polysemy. In the works of 18th-century Russian authors, the term “fabula” denoted an implausible invention, the content of a poetic work, regardless of its plausibility, and its genre. By the early 19th century, the Russian term “basnya” (basnya) had become established to denote the genre. This term also adopted other meanings of the earlier term “fabula.” Gradually, as Romanticism intensified and Classicism diminished, the term “fable” in Russian criticism lost its meaning as a structural and substantive complex of a work and was used to denote an implausible fiction and a genre. The term “fable” was ultimately abandoned as an analogue of the Aristotelian term μῦθος by A. I. Galich. V. G. Belinsky’s critical articles confirm the completion of this process.

Keywords: Aristotle, “Poetics”, μῦθος, myth, fabula, plot, fable, translation, interpretation, terminology, literary criticism

Acknowledgements. The research study was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 22-18-00423-II, <https://rscf.ru/project/22-18-00423/>).

For citation: Nilova A. Yu. Myth — Plot — Fable: Semantics and Transformation of Terms in Russian Literary Criticism of the First Half of the 19th Century. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 7–24. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16182. EDN: HDFBUJ (In Russ.)

.....

Терминология современного литературоведения восходит к «Поэтике» Аристотеля. Однако, как отмечает Н. В. Брагинская, «не только "Поэтика" влияла на теорию литературы и искусства, но и в сам древний трактат "вчитывались" эстетические нормы и ценности, совершенно ему чуждые» [Брагинская: 85].

Одним из самых сложных терминов «Поэтики» является термин *μῦθος*. Русские переводчики трактата передавали его как *вымысел* (Б. И. Ордынский) [Ордынский], *фабула, миф, предание, сюжет* (В. И. Захаров) [Захаров], *фабула, миф* (В. Аппельрот) [Аристотель, 1893], *фабула* (Н. И. Новосадский) [Аристотель, 1927], *сказание* (М. Л. Гаспаров) [Аристотель, 1983], *сюжет* (А. Ф. Лосев, Г. Н. Пospelов, М. М. Позднев) [Лосев], [Пospelов], [Аристотель, 2017]. Г. Бониц указывает, что термин *μῦθος* используется Аристотелем в трактатах «История животных», «Метафизика», «О душе», «Поэтика» и «Риторика», и выделяет два основных семантических поля этого термина в сочинениях философа:

1) в трактатах «О душе», «История животных», «Метафизика» Аристотеля, по мнению Г. Боница, *μῦθος* используется как аналог латинского слова *fabula* и имеет значение, противоположное греческим *ἀλήθεια* (правда, истина) и *λόγος* (речь, рассказ). Здесь Бониц находится в русле традиции, заложенной переводом «Поэтики» на латинский язык [Index: 475];

2) в теории поэтического искусства *μῦθος* — это, по словам комментатора, “sive ficta sive facta, quae poesi subiecta sunt” («или вымысел, или правда, которые являются предметом поэзии») [Index: 475–476].

Г. Бониц подчеркивает, что в «Поэтике», “quam habeat portionis varietatem” («которая содержит множество идей»), *μῦθος* не так однозначно связан с оппозицией «истинного — вымышленного», как в других сочинениях Аристотеля.

При переводе «Поэтики» на латинский язык термин *μῦθος*, обозначающий структурно-содержательную часть трагедии, был передан как *fabula* [Аристотель, 1978: 121].

Древнегреческо-русский словарь И. Х. Дворецкого указывает 12 значений слова *μῦθος*: 1) речь, слово; 2) разговор, беседа; 3) совет, указание; 4) предмет обсуждения, вопрос; 5) замысел, план; 6) изречение, поговорка; 7) толки, слух; 8) весть, известие;

9) рассказ, повесть, повествование; 10) сказание, предание, миф; 11) сказка, басня; 12) сюжет, фабула¹. Все основные отмеченные Дворецким значения связаны с характеристикой типов повествования.

Греческо-русский словарь А. Д. Вейсмана выделяет два основных семантических поля слова *μῦθος*: 1) слово, речь, рассказ, весть (с пометкой: «в прозе редко в этом знач.»); 2) миф, рассказ о богах и героях, баснословный рассказ, сказание, предание, сказка, басня, вымысел².

Оба словаря в качестве основного значения слова *μῦθος* в древнегреческом языке выделяют значение «рассказ, разговор, беседа», а значение «вымысел, неправдоподобное сообщение» является вторичным. При этом ни один из словарей не отмечает значение «драматическое произведение» для *μῦθος*.

Латинско-русский словарь И. Х. Дворецкого указывает шесть значений слова *fabula*: 1) молва, толки, пересуды, сплетни; 2) пустой звук, ничто, небытие; 3) беседа, собеседование, разговор; 4) рассказ, сказание, предание; 5) фабула, сюжет; 6) драматическое произведение, пьеса³. В словарях Дворецкого латинское слово *fabula*, в отличие от греческого *μῦθος*, основным значением имеет «вымысел» и только вторичным — «разговор, рассказ». Кроме того, *fabula* может обозначать драматическое произведение. Словари Дворецкого показывают, что семантическое поле греческого слова *μῦθος* намного шире латинского *fabula*.

В отношении басен Эзопа использовался термин *μῦθος*. Эта семантика термина относительно поздняя. М. Л. Гаспаров отмечает, что *μῦθος* в этом значении вместе с *λόγος* вытеснил более раннее *αἶνος*. При этом «если ранее употреблявшийся термин *ainos* подчеркивал в басне элемент поучительности, наиболее связанный с единичным контекстом, то вытесняющие его термины *μῦθος* и *λόγος* подчеркивают в басне элемент

¹ [Дворецкий И. Х.] Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. / сост. И. Х. Дворецкий; под ред. С. И. Соболевского. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958. Т. 2. С. 1113–1114.

² [Вейсман А. Д.] Греческо-русский словарь, составленный А. Д. Вейсманомъ. 5-е изд. СПб.: Изд. авт., 1899. Стлб. 829.

³ Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь: около 50000 слов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Рус. яз., 1976. С. 411.

вымысла (*μῦθος*) или прозаического изложения (*λόγος*), не зависящие от конкретного применения басни» [Гаспаров, 2021а: 632].

Интерпретация в латиноязычной традиции Аристотелева термина *μῦθος* как *fabula* была детерминирована предшествующей поэтической и теоретической практикой. В «Послании к Пизонам» Горация слово *fabula* используется трижды и обозначает в двух случаях драму и в одном — вымысел:

1. “Neve minor, neu sit quinto productior actu
fabula, quae posci vult et spectanda reponi”⁴;
«Действий в *пьесе* должно быть пять: ни меньше, ни больше,
Ежели хочет она с успехом держаться на сцене»
(курсив наш. — А. Н.)⁵.
2. “Interdum speciosa locis morataque recte
fabula nullius veneris, sine pondere et arte,
valdius oblectat populum meliusque moratur,
quam versus inopes rerum nugaeque canorae”⁶;
«*Драма*, где мысли умны, а нравы очерчены метко,
Даже если в ней нет изящества, важности, блеска,
Большой имеет успех и держится дольше на сцене,
Нежели та, где одни пустые и звонкие строчки»
(курсив наш. — А. Н.)⁷.
3. “Ficta voluptatis causa sint proxima veris,
ne, quodcumque volet, poscat sibi *fabula* credi,
neu pransae Lamiae vivum puerum extrahat alvo”⁸;
«Выдумкой теща народ, выдумывай с истиной сходно,
И не старайся, чтоб мы любому поверили *вздору*,
И не тащи живых мышей из прожорливых Ламий»
(курсив наш. — А. Н.)⁹.

⁴ Q. Horati Flacci. Opera / ed. Stephanus Borzsäk. Leipzig: B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1984. P. 300.

⁵ Квинт Гораций Флакк. Наука поэзии / пер. М. Л. Гаспарова // Гаспаров М. Л. Собр. соч.: в 6 т. М.: Новое лит. обозрение, 2021. Т. 2: Рим / После Рима. С. 422.

⁶ Q. Horati Flacci. Opera... P. 306.

⁷ Квинт Гораций Флакк. Наука поэзии... С. 425.

⁸ Q. Horati Flacci. Opera... P. 306–307.

⁹ Квинт Гораций Флакк. Наука поэзии... С. 425.

В значении «драма», «драматическое произведение» использовал термин *fabula* и Цицерон во второй книге трактата «Об ораторе»: “...quid potest esse tam fictum quam versus, quam scaena, quam fabulae?”¹⁰ («...что может быть более вымышленным, чем стихи, чем сцена, чем драма?» — пер. Ф. Ф. Петровского¹¹).

В римской риторической традиции отождествление трагедии и фабулы было оформлено в известной триаде типов повествования “*historia — argumentum — fabula*”, где *historia* описывает реальные события, *argumentum* — события правдоподобные, а *fabula* — полностью вымышленные и неправдоподобные. В греческой традиции этой триаде соответствовал комплекс *ἱστορία — ῥᾶσιμα — μῦθος*, отражавший сформировавшееся еще у Гомера и чрезвычайно значимое в греческой литературе и философии противопоставление правды и вымысла в поэзии ([Гринцер Н. П., Гринцер П. А.: 323–370], [Сычева: 213], [Гаспаров, 2021b: 582]). Таким образом, отождествление *μῦθος* и *fabula* прочно закрепилось в античной и средневековой риторике.

В латиноязычном сочинении Феофана Прокоповича “*De arte poetica*” *fabula* используется в нескольких значениях:

1) Молва, слухи, общее мнение:

“Orpheus vero, quod eloquii suavitate efferos etiam & agrestes homines permulserit, occasionem fabulae dedit, ferasque & arbores dicitur ad saltum carmine excitasse”¹²;

«Орфей же тем, что он даже диких и грубых людей смягчал сладостью изложения, дал повод для вымысла — уверяют, что он заставлял плясать зверей и деревья» (339).

2) Поэтическое сочинение конкретного автора. При этом сочинение не обязательно должно иметь стихотворную форму, поэтическое здесь понимается в аристотелевском смысле творческого подражания:

¹⁰ Cicero: in 28 vols. Cambridge, Mass., London, 1967. Репринт. изд-е 1942 г. Vol. 3: De Oratore: in 2 vols. Vol. 1. P. 336.

¹¹ Цицерон. Об ораторе / пер. Ф. Ф. Петровского // Цицерон. Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство, 1994. С. 271.

¹² Прокопович Ф. De arte poetica / пер. Г. А. Стратановского; под ред. А. Н. Егунова // Прокопович Ф. Соч. М.; Л.: АН СССР, 1961. С. 231. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страниц в круглых скобках.

“Livius Andronicus fabulam primus dedit” (233);

«Ливий Андроник первым сочинил художественное произведение» (341).

“Heliodori fabulam” (293); «роман Гелиодора» (409).

3) Повествование из общекультурного наследия (миф в современном понимании):

“...quod ipsum luculentius declarat priscorum poetarum fabula, quae Musas ortas ex Jove & Mnemosyne...” (233);

«...еще лучше поясняется это самое сказанием древних поэтов, утверждающим, что Музы родились от Юпитера и Мнемосины...» (341).

4) Структурно-содержательная часть поэтического произведения:

“Brevis erit, si ea tantum dicturos nos propanamus, quae praecipua sunt in fabula, non etiam minoris momenti res, casus & eventus; deinde si id ipsum paucis, & quantum satis est, verbis exponamus; postremo si nihil eorum commemorabimus, quae aut praecesserint fabulam, aut consequuta fuerint, quaeque in contextu poematis non describentur, nisi forte ex occasione...” (274);

«Оно будет кратким, если мы решим говорить только о главном в фабуле, а не о предметах менее значительных и случайных происшествиях; затем — если это же мы изложим в немногих и достаточных словах; наконец, если вовсе не станем упоминать о событиях, предшествующих фабуле или последующих, которые не описываются в ходе повествования поэмы, разве что случайно» (387).

Феофан Прокопович различает термины *fabula*, *narratio* (рассказ, повествование), *fictio* (выдумка, вымысел) и *argumentum* (вымышленное, но возможное) в соответствии с риторической триадой.

Отдельно Феофан говорит о *фабуле* как о *басне*, то есть самостоятельном виде повествования (*narratio*):

“Fabulam, quae apud Aphthonium primo loco inter progymnasmata posita est, non eam fictionem intellige, quam heroici vel tragici poetae ad ornanda sua opera invenire solent, sed brevem quondam parabolam seu narrationem non veram quidem, at verosimiliter fietam, qua non poetae duntaxat, verum & oratores passim utuntur,

quod admonitionibus sit idonea & erudiendis imperitioribus apta, inquit Aphthonius” (266);

«Под басней, которую Афтоний помещает на первом месте среди "прогимнастат", понимай не тот вымысел, который героические и трагические поэты любят придумывать для украшения своих произведений, но некую краткую притчу или повествование, хотя и не истинное, но правдоподобно вымышленное, чем пользуются не только поэты, но иной раз и ораторы, так что это, по словам Афтония, удобно для назидания и годится для обучения людей неискушенных» (378).

Этот фрагмент интересен в нескольких аспектах. Во-первых, Феофан дает определение *фабуле-басне*. Во-вторых, он относит *фабулу-басню* не к сфере неправдоподобного, как это предполагалось риторической повествовательной триадой, а к сфере правдоподобного, то есть к *argumentum*. И наконец, Феофан использует для характеристики поэтического вымысла термин *fictio*, а не *fabula*. Учитывая, что он также различает и термины *fabula* и *argumentum*, можно предположить, что *fabula* им понимается не в контексте риторической триады — в отношении к истинности повествования, — а именно как структурно-содержательный комплекс любого повествования.

«Словарь на шести языках» 1763 г. дает следующие переводы слов *басня* и *fabula*: баснь, сказка (рус.), μῦθος (греч.), *fabula* (лат.), *fable, conte* (фр.), *Fabel* (нем.), а *fable or tale* (англ.)¹³.

«Трехязычный лексикон» Ф. П. Поликарпова-Орлова 1704 г. указывает такие варианты перевода слова *баснь*: баснь, μῦθος, *fabula*; *баснословие*: μυφολογία, *fabulatio, fabulofitas*¹⁴.

Жанр басни, для обозначения которого Феофан Прокопович использовал термин *fabula*, начал активно проникать в русскую литературу в XVII в. Для его обозначения использовался термин *притча*. В XVIII в., по мере увеличения переводных басен

¹³ [Полетика Г. А.] Словарь на шести языках: российском, греческом, латинском, французском, немецком и английском, изданный в пользу учащегося российского юношества. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1763. С. 196–197.

¹⁴ [Поликарпов-Орлов Ф. П.] Лексикон трехязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище из различных древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное. М.: Синодальная тип., декабрь 1704. Л. 6.

и их русских переложений, все чаще стал использоваться заимствованный термин *фабула*, который употреблялся наряду с русскими *притча*, *сказка*, *повесть* и собственно *басня* [Кузнецова: 151]. У разных авторов эти термины имели разное содержание (см.: [Кузнецова], [Алехина], [Курилов]). Кузнецова отмечает тенденцию «называть басней, "баснью", "басенкой" вымысел (вредоносный из-за лживости или же полезный в своей занимательности)» [Кузнецова: 152], в то время как под притчей понималось душеполезное чтение, восходящее к библейской или древнерусской традиции. Однако такая дихотомия не являлась последовательной [Алехина: 23].

«Словарь Академии Российской» указывает три значения для слова *басня*:

«Баснь, или *басня* <...> 1) Вымышленная повесть; в голове сочинителя рожденное, а не из бытия почерпнутое сказание. *Басни нравоучительные. Басни Езоповы.* 2) Содержание пиимы эпической и драматической. *Баснь сея пиимы хорошо разположена, искусно выдуманна.* 3) Ложь, ложное сказание, небылица. *Сие приключение есть истина, а не баснь. Ты мне басни рассказываешь*»¹⁵.

Общим семантическим полем для всех значений является именно *вымысел*. Исключительно как *вымышленный* Словарь определяет слово *басенный*: «*Басенный* <...> Вымышленный. *Их же яко басенных стыдятся*»¹⁶.

Показательно определение в этом же словаре слова *баснословие*, которое интерпретирует *басню* не как *вымысел*, а как *миф* в современном понимании:

«*Баснословие* <...> 1) Составление, сочинение басен. *Баснословие древних.* 2) Знание или толкование басен. *Баснословие о языческих богах*»¹⁷.

Статей для слов *миф*, *фабула*, *притча* и *вымысел* в этом словаре нет.

¹⁵ Словарь Академии Российской. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1789. Ч. 1. Стлб. 114.

¹⁶ Там же. Стлб. 115.

¹⁷ Там же.

Словарь Даля указывает для слова *басня* вымысел в качестве основного значения, но также понимает под *басней* соответствующий жанр и структурно-содержательный комплекс художественного произведения:

«**Баснь**, или **басня** <...> вымышленное происшествие, выдумка, рассказ для прикрасы, ради красного (баского) словца; иносказательное, поучительное повествование, побаска, побасенка, притча, где принято выводить животных и даже вещи словесными; ложь, празднословие, пустословие, вздорные слухи, вести. <...> *Басни Крылова. Баснь драмы, поэмы, содержание, завязка и развязка*»¹⁸.

Миф и *басню* Даль не отождествляет, но однозначно связывает баснословие и мифологию:

«**Баснословие** <...> сказание о веках доисторических, сказочных; учение о многобожии, о божествах суеверия, мифология; **баснословный**, мифологический»¹⁹.

Определение слова *миф* логично соотносится с определением баснословия и интерпретирует *миф* близко к современному его пониманию:

«**Миф** <...> происшествие или человек баснословный, необычный, сказочный; иносказание в лицах, вошедшее в поверье. *Шутники и Наполеона обратили в миф. <...> Мифический*, к мифу относящийся. **Мифология** <...> баснословие...»²⁰.

Слова «фабула» в словаре Даля нет.

Н. Ф. Остолопов в «Словаре древней и новой поэзии» (1821) пытается решить проблему полисемии термина *басня* путем разделения терминов *басня* и *баснь*. Под *басней* он в большинстве случаев понимает поэтический жанр (басни Хемницера, Горация и т. п.) и дает ему пространную характеристику. Остолопов отождествляет *басню* с *апологом* и выделяет следующие признаки жанра: обличение порока, изображение животных в качестве действующих лиц, наличие действия, состоящего

¹⁸ [Даль В. И.] Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: в 4 т. СПб.; М.: Изд. М. О. Вольфа, 1880. Т. 1. С. 52.

¹⁹ Там же. С. 53.

²⁰ Там же. Т. 2. С. 337.

из вступления, узла и развязки и обязательного нравоучения²¹. Отдельно Остолопов замечает, что *басня* содержит вымысел, но требует правдоподобия, заключающегося в «соглашении действий с характером вводимых лиц»²².

Басню Остолопов называет структурно-содержательный комплекс трагедии, то есть то, что у Аристотеля обозначает *μῦθος*:

«...следует заметить, что как в вымышленном, так и в историческом действии, баснь трагедии должна быть расположена таким образом, чтобы все, могущее доставить неприятность и отвращение вкусу и зрению, происходило не пред нами, а вне места представления и было только пересказано»²³.

Иногда Остолопов очень близко пересказывает содержание трактата Аристотеля. Так он говорит о «простой» и «сложной» *басни* трагедии, что восходит к Аристотелевой характеристике простых (*ἀπλοῖ*) и сплетенных (*πλεκλεγμένοι*) мифов в 10-й главе «Поэтики».

Обращения к термину *басня* для обозначений вымысла в Словаре Остолопова единичны и воспринимаются как рудимент уходящей традиции. Рассуждая о поэзии, которую автор словаря характеризует как «вымысел, основанный на *подражании* природе изящной и выраженный словами, расположенными по известному размеру»²⁴, он указывает:

«Бывают повествования в роде лирическом, бывают изображения страстей пылких в поэмах эпических: везде баснь соединяется с историею, истинное с вымышленным, правдоподобное с существенным»²⁵.

Под «баснословием» Остолопов однозначно и последовательно понимает античные, языческие мифы, которые он противопоставляет описанию исторических событий.

²¹ [Остолопов Н.] Словарь древней и новой поэзии: в 3 ч. СПб.: Тип. Имп. Рос. акад., 1821. Ч. 1. С. 78–80.

²² Там же. С. 80.

²³ Там же. Ч. 3. С. 293.

²⁴ Там же. Ч. 2. С. 400.

²⁵ Там же. С. 410.

А. Ф. Мерзляков также использует термины *басня* и *баснь*. Под *басней* он, как и Н. Ф. Остолопов, понимает жанр (в его терминологии — род поэзии):

«В чем состоит занимательность басни? — В том, что мы в ней видим самих себя под другими видами, в обстоятельствах нам близких. В басне человек приводится пред судилище зверей»²⁶.

Термин *баснь* он использует как синоним термина *содержание*, для обозначения структурно-содержательного комплекса произведения. Свое Десятое чтение публичного курса лекций по эстетике Мерзляков назвал «О том, что называется действие драмы (баснь, содержание), и об его главных свойствах»²⁷. Составитель сборника «Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.» З. А. Каменский проигнорировал это терминологическое различие и, не сохранив написание Мерзлякова, использовал термин *басня* как для обозначения жанра, так и для обозначения категории поэтики. Название курса он передал так: «О том, что называется действие драмы (басня, содержание), и об его главных свойствах» и прокомментировал следующим образом:

«Словом "басня" Мерзляков обозначает здесь не конкретную жанровую форму, а категорию поэтики, совмещающая в ней понятия фавулы и сюжета драматического произведения» [Каменский: 396].

Следует заметить, что сам Мерзляков, в отличие от Остолопова, непоследовательно сохраняет различия между *басней* и *баснью*. В рассматриваемых Чтениях он пишет:

«Автор вымышляет, располагает басню трагедии или комедии, и все это делает для людей себе подобных...»²⁸.

В сочинениях Н. И. Греча термин *басня* используется в двух значениях:

²⁶ Мерзляков А. Ф. Чтение пятое в Беседах любителей словесности в Москве // Амфион. 1815. Кн. VII. Июль. С. 82.

²⁷ Мерзляков А. Ф. О том, что называется действие драмы (баснь, содержание), и об его главных свойствах // Вестник Европы. 1817. № 10. С. 105–133; № 11. С. 172–186.

²⁸ Мерзляков А. Ф. О том, что называется действие драмы... // Вестник Европы. 1817. № 10. С. 129.

1. Как обозначение жанра:

«Басня есть пиитическое повествование, в котором урок благоразумия или опытности представляется в виде какого-либо действия или картины»²⁹.

2. Как обозначение структурно-содержательного комплекса драматического произведения. В качестве синонима *басни* в этом значении он использует термин *действие*:

«Под именем *действия* разумеем мы содержание драматического стихотворения <...> имеющее начало, ход и конец. В сем отношении называется оно и баснею»³⁰.

В таком значении термин *басня* Н. И. Греч употребляет однократно и далее при описании драматической поэзии использует термин *действие*. Он отмечает, что «действие может быть вымышлено стихотворцем или заимствовано из истории»³¹, но никак не связывает *басню* с *вымыслом* как содержанием драматического произведения. Терминология Н. И. Греча зависит от классицистической эстетики, но отказ от последовательного употребления термина *басня* для обозначения структурно-содержательного комплекса драмы в пользу термина *содержание* демонстрирует влияние на его тезаурус актуальных тенденций в критике.

Существенное изменение терминологии заметно в сочинении А. И. Галича «Опыт науки изящного», на которое повлияли идеи йенского романтизма и Ф. В. Й. Шеллинга. Состав событий и структуру драматического произведения (трагедии и комедии) Галич называет *действием*:

«Драматическое действие удовлетворительно для *разумения*, когда то, что случается, натуральным и необходимым

²⁹ [Греч Н. И.] Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе: с приложением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. СПб.: В тип. издателя, 1822. Ч. IV. Отд. 2. С. 190.

³⁰ Там же. С. 3.

³¹ Там же.

образом происходит из предыдущих причин или предполагаемых условий...»³².

Еще более показательна характеристика действия комедии. Галич здесь обращается к категории правдоподобия, то есть к тому, что его предшественники назвали бы *вымыслом* с помощью термина *басня*, но последовательно использует термин *действие*:

«Что касается до разных форм комедии, то в древней своевольной действие бывает и должно быть совершенно вздорное и с прозаическою вероятностью нимало не согласное...»³³.

Басня (Эзопова басня), которую Галич отождествляет с апологом, является для него исключительно «аллегорической формой поучительного стихотворения»³⁴. Так в сочинениях А. И. Галича русская романтическая критика наконец решает проблему полисемии термина *басня*, закрепляя за ним значение исключительно литературного жанра.

У В. Г. Белинского термин *басня* употребляется в нескольких значениях.

1. Как синоним содержания. Так, в рецензии 1834 г. читаем: «С некоторого времени в нашей литературе появился особенный вид романов, которые пишутся с какою-нибудь предположительною полезною целию <...>. Разумеется, в изделиях сего рода *басня* или *содержание* ничего не значит, ибо служит только рамою, в которую вставляются диссертации на разные ученые предметы. Эта *басня* или *содержание* во всех романах бывает одна и та же, независимо от народа и эпохи, к которым она относится...» [Белинский; т. 1: 132]. Однако такое употребление термина единично, встречается у критика только в ранних статьях, не является системным и воспринимается скорее как дань традиции или проявление неустоявшейся терминологии молодого автора.

2. Как обозначение жанра: «К эпической поэзии принадлежат *аполог* и *басня*, в которых опоэтизировывается проза

³² [Галич А. И.] Опыт науки изящного, начертанный А. Галичем. СПб.: В Тип. Департамента народного просвещения, 1825. С. 181–182.

³³ Там же. С. 195–196.

³⁴ Там же. С. 203.

жизни и практическая обиходная мудрость житейская» [Белинский; т. 5: 45]. Для басни как жанра, по мнению критика, обязательна мораль.

3. Баснословный — легендарный, далекий, вымышленный: «баснословная Троянская война» [Белинский; т. 5: 38].

В этом смысле термин *баснословный* сближается с термином мифический: «в мифические времена Германии» [Белинский; т. 5: 327]. Термин *миф* в основном употребляется в современном значении: «"Душенька" Богдановича ведет свое начало от высокого эллинского мифа о сочетании души с любовью...» [Белинский; т. 5: 163]. Интересен случай противопоставления *мифа* и *басни*:

«Художественная поэзия идет прямо к своей цели, и таинственная, неизглаголанное выражает в определенном слове; естественная поэзия прибегает к иносказанию, к мифу, которых смысл может провидеть только посвященный, а толпа видит одну басню и слепо верит ей, как непреложному историческому факту» [Белинский; т. 5: 320].

Миф и *басня* для Белинского не имеют ничего общего, о позднеантичной и латинской передаче Аристотелева *μῦθος* как *фабулы*, ставшей в русском переводе *басней*, он не знает. *Миф* для Белинского — культурологическая категория, а не поэтическая. Его функционирование в «Поэтике» Аристотеля критику, скорее всего, незнакомо.

Таким образом, отечественная литературно-критическая мысль первой половины XIX в. восприняла от предыдущей русской и европейской традиции практику передачи Аристотелева термина *μῦθος* через латинский термин *fabula* и передает его как *басня*. Однако в это же время наметилась тенденция отказа от такой интерпретации. Причиной этого можно назвать многозначность термина и инерцию оценочного значения термина *басня*. Отечественное литературоведение начало искать новые способы передачи термина *μῦθος* и к концу XIX в. пришло к использованию латинского термина *фабула*. Произошло устранение терминологической полисемии и за каждым термином закрепилось собственное содержание.

Список литературы

1. Алехина Л. И. Традиции басенного жанра в творчестве Антиоха Кантемира // Антиох Кантемир и русская литература. М.: Наследие, 1999. С. 20–34.
2. Аристотель. Об искусстве поэзии. Греческий текст с переводом и объяснениями Владимира Аппельерота. М.: Тип. Э. Лиснера и Ю. Романа, 1893. 97 с.
3. Аристотель. Поэтика / пер., введ. и примеч. Н. И. Новосадского. Л.: Academia, 1927. 120 с. (Сер.: Классики искусствоведения / Гос. акад. художественных наук; вып. 1.)
4. Аристотель. Поэтика / пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978. С. 111–163.
5. Аристотель. Поэтика / пер. М. М. Позднева. М.: Рипол-Классик, 2017. 224 с. (Сер.: Искусство и действительность.)
6. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: АН СССР, 1953–1959.
7. Брагинская Н. В. Из комментария к «Поэтике» Аристотеля: *rhythmos*, *mimesis* и др. // *Mathesis*: из истории античной науки и философии. М.: Наука, 1991. С. 85–103. EDN: RKDWGL
8. Гаспаров М. Л. Басни Эзопа // Гаспаров М. Л. Собр. соч.: в 6 т. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Т. 1. С. 627–657. (a)
9. Гаспаров М. Л. Поэзия и проза — поэтика и риторика // Гаспаров М. Л. Собр. соч.: в 6 т. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Т. 2. С. 555–587. (b)
10. Гринцер Н. П., Гринцер П. А. Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. М.: РГГУ, 2000. 424 с.
11. [Захаров В. И.] Поэтика Аристотеля: [лит.-крит. очерк] / [соч.] В. И. Захарова. Варшава: Тип. М. Земкевича, 1885. 157 с.
12. Каменский З. А. Примечания // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: в 2 т. М.: Искусство, 1974. Т. 1. С. 375–404. (Сер.: История эстетики в памятниках и документах.)
13. Кузнецова О. А. О восприятии фавулы в русской культуре XVIII в. // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2024. № 3 (59). С. 150–171 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozpriyatii-fabuly-v-russkoy-kulture-xviii-v/viewer> (25.08.2025). DOI: 10.31249/chel/2024.03.10. EDN: BVGAXI
14. Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII века. М.: Наука, 1981. 264 с.
15. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. 775 с.
16. [Ордынский Б. И.] «О Поэзии», сочинение Аристотеля / пер., излож. и объясн. Б. Ордынский. М.: Тип. В. Готье, 1854. 134 с.
17. Поспелов Г. Н. Сюжет // Литературный энциклопедический словарь / [подгот. Е. И. Бонч-Бруевич и др.]; под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М.: Сов. энцикл., 1987. С. 431.

18. Сычева Н. М. “Inter historiam et argumentum et fabulam”: контуры литературной теории на рубеже XII века // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 2. С. 213–216 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_20142657_79172341.pdf (25.08.2025). EDN: QYUIHT
19. Index Aristotelicus / edidit Hermannus Bonitz. Berolini: Apud W. de Gruyter et Socios, 1961. 878 p.

References

1. Alekhina L. I. Traditions of the Fable Genre in the Works of Antiochus Kantemir. In: *Antioch Kantemir i russkaya literatura [Antiochus Kantemir and Russian Literature]*. Moscow, Nasledie Publ., 1999, pp. 20–34. (In Russ.)
2. Aristotle. *Ob iskusstve poezii. Grecheskiy tekst s perevodom i ob'yasneniyami Vladimira Appel'rota [About the Art of Poetry. Greek Text with Translation and Explanations by Vladimir Appelroth]*. Moscow, Tipografiya E. Lisnera i Yu. Romana Publ., 1893. 97 p. (In Russ.)
3. Aristotle. *Poetika [Poetics]*. Leningrad, Academia Publ., 1927. 120 p. (Ser.: Classics of Art Criticism / State Academy of Art Sciences; issue 1.) (In Russ.)
4. Aristotle. Poetics. In: *Aristotel' i antichnaya literatura [Aristotle and Ancient Literature]*. Moscow, Nauka Publ., 1978, pp. 111–163. (In Russ.)
5. Aristotle. *Poetika [Poetics]*. Moscow, Ripol-Klassik Publ., 2017. 224 p. (Ser.: Art and Reality.) (In Russ.)
6. Belinskiy V. G. *Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh [The Complete Works: in 13 Vols]*. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1953–1959. (In Russ.)
7. Braginskaya N. V. From the Commentary to Aristotle’s “Poetics”: Rhythmos, Mimesis, etc. In: *Mathesis: iz istorii antichnoy nauki i filosofii [Mathesis: From the History of Ancient Science and Philosophy]*. Moscow, Nauka Publ., 1991, pp. 85–103. EDN: RKDWGL (In Russ.)
8. Gasparov M. L. Aesop’s Fables. In: *Gasparov M. L. Sobranie sochineniy: v 6 tomakh [Gasparov M. L. The Collected Works: in 6 Vols]*. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2021, vol. 1, pp. 627–657. (In Russ.) (a)
9. Gasparov M. L. Poetry and Prose — Poetics and Rhetoric. In: *Gasparov M. L. Sobranie sochineniy: v 6 tomakh [Gasparov M. L. The Collected Works: in 6 Vols]*. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2021, vol. 2, pp. 555–587. (In Russ.) (b)
10. Grintser N. P., Grintser P. A. *Stanovlenie literaturnoy teorii v Drevney Gretsii i Indii [Formation of Literary Theory in Ancient Greece and India]*. Moscow, The Russian State University for the Humanities Publ., 2000. 424 p. (In Russ.)
11. Zakharov V. I. *Poetika Aristotelya: literaturno-kriticheskiy ocherk [Aristotle’s Poetics: a Literary Critical Essay]*. Warsaw, Tipografiya M. Zemkevicha Publ., 1885. 157 p. (In Russ.)
12. Kamenskiy Z. A. Notes. In: *Russkie esteticheskie traktaty pervoy trety XIX veka: v 2 tomakh [Russian Aesthetic Treatises of the First Third of the 19th Century: in 2 Vols]*. Moscow, Iskusstvo Publ., 1974, vol. 1, pp. 375–404. (Ser.: The History of Aesthetics in Monuments and Documents.) (In Russ.)

13. Kuznetsova O. A. “Fabula” in the Russian Culture of the 18th Century. In: *Chelovek: obraz i sushchnost’. Gumanitarnye aspekty [Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects]*, 2024, no. 3 (59), pp. 150–171. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vospriyatii-fabuly-v-russkoy-kulture-xviii-v/viewer> (accessed on August 25, 2025). DOI: 10.31249/chel/2024.03.10. EDN: BBGAXI (In Russ.)
14. Kurilov A. S. *Literaturovedenie v Rossii XVIII veka [Literary Criticism in Russia of the 18th Century]*. Moscow, Nauka Publ., 1981. 264 p. (In Russ.)
15. Losev A. F. *Istoriya antichnoy estetiki. Aristotel’ i pozdnyaya klassika [The History of Antique Aesthetics. Aristotle and the Late Classics]*. Moscow, Iskusstvo Publ., 1975. 775 p. (In Russ.)
16. Ordynskiy B. I. “O Poezii”, *sochinenie Aristotelya [About “Poetry”, Work of Aristotle]*. Moscow, Tipografiya V. Got’e Publ., 1854. 134 p. (In Russ.)
17. Pospelov G. N. Plot. In: *Literaturnyy entsiklopedicheskiy slovar’ [Literary Encyclopedic Dictionary]*. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1987, p. 431. (In Russ.)
18. Sycheva N. M. “Inter Historiam et Argumentum et Fabulam”: the Contours of Literary Theory at the Turn of the 12th Century In: *Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill]*, 2013, no. 2, pp. 213–216. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_20142657_79172341.pdf (accessed on August 25, 2025). EDN: QYUIHT (In Russ.)
19. *Index Aristotelicus [Aristotelian Index]*. Berolini, Apud W. de Gruyter et Socios Publ., 1961. 878 p. (In Latin)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Нилова Анна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики Института филологии, Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск, Российская Федерация, 185910); ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4230-5972>; e-mail: annnilova@yandex.ru.

Anna Yu. Nilova, PhD (Philology), Associate Professor of the Department of Classical Philology, Russian Literature and Journalism of the Institute of Philology, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, 185910, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4230-5972>; e-mail: annnilova@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 02.09.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 15.10.2025

Принята к публикации / Accepted 29.10.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16082

EDN: GСIHC



«Лукий, или Осел» («Λούκιος ἢ ὄνος») в переложении О. И. Сенковского

Е. Л. Смирнова^{1✉}, Е. П. Литинская²

^{1,2} *Петрозаводский государственный университет
(г. Петрозаводск, Российская Федерация)*

¹e-mail: esmirnova@petsru.ru[✉]

²e-mail: litgenia@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу сочинения О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса) «Лукий, или Первая повесть» (1842), представляющего собой вольное переложение произведения «Лукий, или Осел», сохранившегося в корпусе текстов Лукиана. Исследование опровергает устоявшееся в критике (начиная с В. Г. Белинского) мнение о тексте как о «неудачном искажении» «Золотого осла» Апулея и раскрывает его многослойную природу. «Лукий» Сенковского представляет собой смелый литературный эксперимент, синтезирующий художественный перевод, элементы научной статьи, пародии и фельетона. Приемы работы Сенковского с античным материалом включают введение реалий и языка России XIX в., диалогизацию, цензурирование, создание двойного хронотопа, авторские добавления. Важную роль играет литературная маска: сочинение от имени Б. Б. (Барона Брамбеуса) снимало с Сенковского-профессора словесности ответственность за вольное обращение с древнегреческим текстом и позволяло Сенковскому-редактору журнала присоединиться к журнальной полемике, не нарушая провозглашенного «Библиотекой для Чтения» принципа отвечать на нападки критиков молчанием. Публикация повести была остроумным ответом Сенковского на критику со стороны Белинского и полемику вокруг поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Путем детального сопоставления текстов зафиксированы скрытые пародийные отсылки к статьям Белинского о русской повести и о Гоголе. Впервые освещено использование Сенковским сюжета об осле для создания сатирических портретов современников: К. С. Аксакова, С. П. Шевырева, С. С. Уварова. Образ «осла-философа» интерпретируется как метафора мыслящего человека в обществе. Авторы пришли к выводу о том, что «Лукий» Сенковского не маргинальный текст, а важное явление в истории русской сатирической прозы и журнальной полемики 1840-х гг., требующее переоценки и дальнейшего изучения в контексте творчества Сенковского и литературного процесса его времени.

Ключевые слова: Сенковский, Барон Брамбеус, Лукиан, «Лукий, или Осел», жанр, перевод, адаптация, Гоголь, Белинский, журнальная полемика

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 22-18-00423-П «Античный код русской литературы XIX — начала XX вв.», <https://rscf.ru/project/22-18-00423/>).

Для цитирования: Смирнова Е. Л., Литинская Е. П. «Лукий, или Осел» (“Λούκιος ἢ ὄνος”) в переложении О. И. Сенковского // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 25–70. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16082. EDN: GCIHC

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16082

EDN: GCIHC

“Lucius, or the Ass” as Adapted by O. I. Senkovsky

Ekaterina L. Smirnova^{1✉}, Evgeniya P. Litinskaya²

^{1,2} *Petrozavodsk State University*
(*Petrozavodsk, Russian Federation*)

¹e-mail: esmirnova@petsru.ru[✉]

²e-mail: litgenia@yandex.ru

Abstract. The article examines “Lucius, or the First Tale” (1842), written by O. I. Senkovsky under the pseudonym B. B. and loosely based on “Lucius, or the Ass” (Λούκιος ἢ ὄνος), one of the works preserved in the classic corpus of Lucian’s texts. The study refutes the established critical opinion (rooted in V. G. Belinsky’s views) about the text as an “unsuccessful distortion” of Apuleius’s “Golden Ass” and reveals its multi-layered nature. It is argued that Senkovsky’s “Lucius” was a bold literary experiment that synthesized creative translation, adapted retelling and classic stylization, elements of a scientific article, parody and feuilleton. Senkovsky’s techniques of working with the classic text included the introduction of realities and language of 19th century Russia, dialogization, censorship, the creation of a double chronotope, and author’s insertions. The role of the literary mask was crucial: the name of B. B. (Baron Brambeus) relieved Senkovsky the professor of literature of responsibility for his loose handling of the ancient Greek text and allowed Senkovsky the editor to join the magazine polemics without violating the principle of responding to critics’ attacks with silence proclaimed by the “Library for Reading”. The analysis of “Lucius” by B. B. reveals that the publication of the story was Senkovsky’s witty response to criticism from Belinsky and the controversy surrounding N. V. Gogol’s poem “Dead Souls.” Hidden parodic references to Belinsky’s articles on Russian novels and on Gogol’s works are identified through a detailed comparison of the texts. The article highlights Senkovsky’s use of the ass theme to create satirical portraits of his contemporaries, K. S. Aksakov, S. P. Shevryev, and S. S. Uvarov. The image of the “donkey-philosopher” is interpreted as a metaphor of a thinking person in society and among the highly educated elite. The authors conclude that Senkovsky’s “Lucius” is not

a marginal text, but an important phenomenon in the history of Russian satirical prose and magazine polemics of the 1840s, which requires re-evaluation and further study in the context of Senkovsky's work and the literary process of his time.

Keywords: Senkovsky, Baron Brambeus, Lucian, “Lucius, or the Ass”, genre, translation, adaptation, Gogol, Belinsky, magazine polemics

Acknowledgments. The research was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 22-18-00423-Π, <https://rscf.ru/project/22-18-00423/>).

For citation: Smirnova E. L., Litinskaya E. P. “Lucius, or the Ass” as Adapted by O. I. Senkovsky. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [*The Problems of Historical Poetics*], 2025, vol. 23, no. 4, pp. 25–70. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16082. EDN: GCIINC (In Russ.)

Литературная судьба сочинения «Лукий, или Первая повесть», созданного О. И. Сенковским под псевдонимом Б. Б., оказалась незавидной. Текст, впервые опубликованный в завершающем выпуске журнала «Библиотека для Чтения» за 1842 г.¹, был включен в посмертное собрание сочинений Сенковского 1858–1859 гг.², однако следующее переиздание состоялось только через сто шестьдесят шесть лет³. Отсутствуют специальные статьи о повести, практически не встречаются упоминания о ней в работах, посвященных художественной прозе Сенковского⁴.

Отсутствие интереса к «Лукию» отчасти можно объяснить тем, что автор преуспел в игре с читательской аудиторией: сочинение, облеченное в форму ученой статьи, состоящей из перевода античного текста с предпосланной ему вступительной заметкой

¹ Б. Б. [Сенковский О. И.] Лукий, или Первая повесть // Библиотека для Чтения. 1842. Т. 55. Ч. 2. Декабрь. Отд. 1. С. 75–132. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Лукий* и указанием страницы в круглых скобках.

² Сенковский О. И. Лукий, или Первая повесть // Собр. соч. Сенковского (Барона Брамбеуса): в 9 т. СПб., 1858. Т. 5: Повести и романы. С. 3–74.

³ Сенковский О. И. Лукий, или Первая повесть // Сенковский О. Собр. соч.: в 5 т. М.: Дмитрий Сечин, 2024. Т. 4: Идеальная красавица / сост., вступ. ст. и коммент. А. В. Кошелева, В. А. Кошелева. С. 537–599.

⁴ Характеристика «Лукия» Сенковского в новейшем переиздании его сочинений исчерпывается фразой: «“Лукий, или Первая повесть” (1842) варьирует классический античный сюжет, обрабатывавшийся Лукианом и Апулеем» [Кошелев А. В., Кошелев В. А., 2024а: 20] и кратким комментарием к тексту [Кошелев А. В., Кошелев В. А., 2024б: 694–697].

об истории жанра повести в европейской литературе, при беглом взгляде создавало впечатление произведения ученого, предназначенного для узкого круга профессиональных антиковедов⁵. Определенную роль могла сыграть и пренебрежительная оценка, данная В. Г. Белинским в статье «Русская литература в 1842 году» — критик назвал повесть «неудачным искажением известной сказки Апулея "Золотой осел", переведенной по-русски Ермилом Костровым еще в 1780 году» [Белинский; т. 6: 541]. Непререкаемый авторитет суждений Белинского, закрепленный в советском литературоведении⁶, превращал любое новое обращение к «Лукию» Сенковского в излишнее, даже несмотря на наличие фактической ошибки в утверждении критика: Сенковский переложил вовсе не «Золотого осла» Апулея, а сочинение (λόγος)⁷ «Лукий, или Осел», которое сохранилось в корпусе произведений Лукиана из Самосаты⁸.

Забвение «Лукия» Сенковского, хотя и объяснимое, представляется не вполне оправданным. Во-первых, текст являет собой пример смелого эксперимента по использованию древнегреческого наследия при создании современного произведения и представляет интерес в рамках изучения созданного Сенковским «нового жанра научно-философской повести, в которой профессиональная ученая шутка обернулась новым способом подачи материала» [Каверин: 10] и оригинальным способом научной полемики. Во-вторых, ряд деталей появления «Лукия» позволяют считать текст не просто остроумной литературной игрой с читательской аудиторией, но орудием журнальной борьбы, свое участие в которой Сенковский — редактор журнала «Библиотека для Чтения» — упорно отказывался признавать.

⁵ К переводам Лукиана статью Сенковского относили: [Прозоров: 55], [Николаев: 141].

⁶ Подробнее см.: [Полонская], [Ермичев: 25–29].

⁷ Патриарх Фотий пишет: «ἐκ τοῦ Λουκιανοῦ λόγου ὃς ἐπιγέγραπται "Λοῦκις ἢ Ὄνος"» («Лукий переписал у Лукиана из его сочинения "Лукий, или Осел"») (Bibl. Cod. 129).

⁸ Подробнее см.: [Стрельникова: 335–340], [Левинская, 2008], [Mason], [Bowie: 28].

Барон Брамбеус в роли филолога-классика

К сожалению, не представляется возможным с уверенностью определить, каким именно изданием трудов Лукиана пользовался Сенковский: вскоре после смерти писателя его жена продала библиотеку, находившуюся во флигеле дома, букинистам на рынок⁹. Впрочем, вряд ли можно сомневаться, что Сенковскому были доступны книги из библиотеки Петербургского университета, среди которых имелось издание сочинений Лукиана 1743 г. [Коллекция знаний: 52]. Кроме того, он мог приобрести одно из новейших изданий Лукиана¹⁰ для личной библиотеки: А. В. Старчевский указывает, что в доме Сенковского «книг и журналов выписывалось и забиралось в иностранных книжных магазинах не менее чем на 2000 р. ежегодно»¹¹.

Заметим, что 1820–1830-е гг. были временем повышенного интереса к Лукиану: помимо публикации его сочинений на древнегреческом и комментированных переводов на латинский¹², немецкий¹³ и английский¹⁴ языки, появились и специальные ученые изыскания¹⁵, в том числе — на французском

⁹ Старчевский А. В. Последние десять лет жизни барона Брамбеуса (Осипа Ивановича Сенковского) (с 1848 по 1858 г.). Письма к редактору «Наблюдателя» // Наблюдатель. 1884. № 12. С. 329.

¹⁰ Например, 1) *Luciani Samosatensis Opera ex recensione Giuliemi Dindorfii Graece et Latine cum indicibus. Editio Altera emendatior. Parisiis, 1842.* «Лукий, или Осел» («Λούκιος ἢ Ὀνοσ») расположен на с. 445–467. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Λούκιος* и указанием номера фрагмента в круглых скобках; 2) *Luciani Samosatensis Opera. Ad optimorum librorum fidem accurate edita: in 4 vol. Lipsiae: Tauchnitz, 1829.* «Лукий, или Осел» опубликован в 3 томе, на с. 81–125.

¹¹ Старчевский А. В. Последние десять лет... С. 327.

¹² Λούκιανος. *Luciani Samosatensis Opera Graece et Latinae: in 9 vol. Lipsiae: in Libraria Weidmannia, 1822.*

¹³ *Lucian's Werke, übersetzt von August Pauly. Erstes [bis fünfzehntes] Bändchen. Stuttgart: Verlag der Metzler'schen Buchhandlung, 1827–1832.*

¹⁴ *Lucian of Samosata. From the Greek. With the Comments and Illustrations of Wieland and Others. By William Tooke: in 2 Vols. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1820.* («Лукий, или Осел» — «Lucius, or the Enchanted Ass» — во втором томе, с. 126–173.)

¹⁵ Mees A. *Dissertatio literaria Luciani studies et scriptis juvenilibus. Rotterodami: Apud W. Messchert, 1841.* 84 p.; Jacob K. G. *Characteristik Lucians von Samosata. Hamburg: F. Perthes, 1832.* 194 s.

о сочинении «Лукий, или Осел»¹⁶. В 1839 г. в журнале «Галатее» была опубликована статья «Лукиан и его век», составленная на основе материалов из «Revue de Paris», за публикациями которого следил и Сенковский¹⁷. В октябре 1842 г. в журнале «Сын Отечества» увидела свет статья «Лукиан и его сочинения», в которой античный автор получил характеристику неутомимого критика догматов языческой религии и идолов древней литературы, остроумного разоблачителя глупости и пороков своих современников и оригинального писателя с легким слогом, чьи сочинения имели большое влияние на новейшую литературу¹⁸. «Лукий» был выделен как «один из самых ранних образчиков романического рассказа» и «самый ранний образчик фантастических путешествий»¹⁹. Автор статьи не указан, однако следует заметить, что активным участником «Сына Отечества» в 1842 г. был Сенковский [Дементьев: 463].

В «Библиотеке для Чтения» автор статьи «Лукий, или Первая повесть» обозначен как Б. Б., то есть Барон Брамбеус. Литературная маска была очень важным приемом: она давала простор для вольного обращения с античным источником, отделяя облеченный в форму научной статьи текст от профессора словесности Петербургского университета. Профессор Сенковский не нес никакой ответственности за литературную провокацию, предложенную публике Брамбеусом: фельетонную манеру вступительного историко-литературного комментария, отступления от буквальной передачи оригинального текста и целый ряд добавлений, которые меняли замысел античного автора, превращая древний текст в произведение современной словесности.

¹⁶ La Lucide, ou L'Ane, de Lucius de Patras. Paris: Rapilly, 1824. 408 p. Основой этого издания стал комментированный перевод «Лукия» на французский язык, выполненный П.-Л. Курье: La Lucide, ou, L'âne de Lucius de Patras: avec le texte grec revu sur plusieurs manuscrits. Paris: A. Bobée, 1818. XXII, 321 p.

¹⁷ [Б. п.] Лукиан и его век, из ин. журн. // Галатее. 1839. № 13. С. 346–359; № 14. С. 423–430; № 15. С. 482–490 (указание «изъ Revue de Paris» — в № 15, с. 490).

¹⁸ [Б. п.] Лукиан и его сочинения // Сын Отечества. 1842. № 10. Отд. VII. С. 21.

¹⁹ Там же. С. 25–26.

Сравнение перевода Сенковского с древнегреческим оригиналом дает представление о творческом методе писателя. Перед нами не перевод, а литературная переделка, вольная адаптация, насыщенный аллюзиями художественный текст, ориентированный на читателя начала 1840-х гг.

Сенковский трансформирует стиль и часто содержание греческого сюжета, модернизируя его использованием реалий и языка России XIX в. Так, например, введены лексемы «барыня», «вельможа» (Лукий: 88, 121); добавлены словосочетания «гастрономические приостановки», «выслуженный пенсион», «светлейший граф», «ученый муж» (Лукий: 90, 106, 129, 131); жрецы Сирийской богини названы «плутами, которые разъезжают по городам и селам <...> и во имя ее надуют всех и каждого» (Лукий: 109). Переводчик осуществляет целый ряд лексических замен: «горница» вместо *κοιτών* (спальня) (Лукий: 80, ср.: Λούκιος: 2), «сторож» — *οἰκέτης* (слуга) (Лукий: 90, ср.: Λούκιος: 16), «латук, репа, петрушка» — *θρίδαξ μὲν καὶ ραφανὶς καὶ σελίνον* (латук, редька, сельдерей) (Лукий: 91, ср.: Λούκιος: 17), «сабля» — *ξίφος* (меч) (Лукий: 94, ср.: Λούκιος: 21), «квартира» — *οἰκία ἀνθρώπων πενήτων* (дом бедных людей) (Лукий: 114, ср.: Λούκιος: 41).

Сенковский создает двойной хронотоп, который является основой для сатирического отстранения. Действие формально происходит в античном мире, но насыщено реалиями, социальными типажамы его времени и современным ему русским языком. Отталкиваясь от авантюрно-аллегорического сюжета, он делает акцент на злободневности. Порицает нравы современного ему общества: ханжество, невежество, глупость, жестокость, развращенность элиты, модный мистицизм. Пишет сатиру на слишком требовательных и беспощадных хозяев (эпизод с Мегалополой), на вкусы и нравы высшего света (вставки о «гастрономических приостановках», «славном житье» у вельможи, пародийный диалог о «любви к ослиной породе»), на моральную развращенность людей (эпизод со слугой — «сорванцом, живодером»).

Пародийные вставки («Сцена была живописная...», «Какое счастье!», «О ужас...», «Палестра!.. богиня!.. я скоро буду возле тебя, в твоих объятиях!», «Пошло на счастье...» и др.)

высмеивают литературные штампы романтических и сентиментальных романов. Так, спасение Палестры и бегство с ней (*Лукий*: 96–98) передано в романтической стилистике, детализировано и превращено в почти театральный эпизод с добавлением эмоциональных реакций и описаний:

«Я не видал конца своему блаженству, воображая себя вне опасности; я таял от восторгу при мысли быть спасителем этой бесподобной девушки: вне себя от избытку чувств, я летел, а не бежал» (*Лукий*: 98).

Пародийный эффект возникает за счет использования «двуголосого слова». Высказывания Лукия, полные романтического пафоса, произносятся в нелепой ситуации бегства на ослиных ногах. Добавленная сцена о воине и девице с элементами иронии и психологизма — едва ли не пародия на сюжет сентиментального романа:

«Вдруг, как стрела из лука, вылетел из комнаты высокий, стройный молодой человек, с полумертвою пленницею на руках.

Думаю: бедненькая! Верно, из огня в пламя. Видно, уж ей на роду написано!.. Но вдруг он зовет ее по имени! И голос его знаком ей! Это ясно: она радостно открыла глаза на его зов.

О, боги! Чтó выразилось на этом лице, когда она взглянула на него, как она обвила около его шеи свои прекрасные ручки (*sic!*) и прильнула к нему губами... Этого не описать никакому ослу на свете, хоть бы уши у него были длиннее ушей всех риторов. Я чуть не умер от восторгу» (*Лукий*: 102).

Переводчик значительно смягчает или вовсе опускает эротические эпизоды. Он лишь намекает на «любовные состязания» в сцене с Палестрой, тогда как в оригинале она откровенна и насыщена метафорами борьбы (*Λούκιος*: 7–10). Любовники в русском варианте становятся «искренними друзьями» (*Лукий*: 85). Эпизод с дамой, влюбившейся в осла, также передан сдержанно (*Лукий*: 124, ср.: *Λούκιος*: 50–52). Цензурирует Сенковский и излишне жестокие моменты. Им, например, более сжато и менее натуралистично описаны расправа над старухой, эпизод с мальчишкой, истязавшим осла, и предложение оскопить осла (*Лукий*: 99, 105–106, 108, ср.: *Λούκιος*: 24, 29–30, 33).

Автор опускает непонятные или сложные для читателя отсылки. Например, он убирает сравнение героя с Кандавлом (*Лукий*: 103, ср.: *Λούκιος*: 28), считая, вероятно, его неточным и требующим пространного пояснения.

К сознательным изменениям оригинала отнесем диалогизацию повествования. Сенковский последовательно переводит косвенную речь в прямую. Создает живые диалоги, драматизируя изложение, делая его более динамичным, комичным. Вспомним, например, развернутые диалоги разбойников (*Лукий*: 98–101), диалог огородника с римским воином, который, в отличие от оригинала, говорит на латыни (*Лукий*: 117).

Сенковский пишет богатым, образным, часто ироничным языком, насыщенным идиомами и просторечием («ни на минуту без сабли», «пошло на счастье»), часто распространяет существительное определениями: «гадкий хвост», «вьючное животное» (в оригинале «скот»), «алые розы».

Он неоднократно ссылается на образность Рима (Юпитер, Купидон, Венера и Меркурий вместо Зевса, Амура, Афродиты и Гермеса; триклиний как показатель римского зажиточного дома; Цезарь, ликтор, префект, консул для обозначения статуса должностного лица) и использует латинскую лексику. В сюжете такой прием является пародированием моды на классическое образование и показную эрудицию (*Лукий*: 117, 129).

Чтобы добиться большей легкости и занимательности повествования, Сенковский дробит или объединяет фразы оригинала, дополняет его вставками. Вставные эпизоды (а их чуть более 20) в «Лукии» составляют почти четверть текста. Половина из них предназначена для раскрытия образа главного героя, причем Сенковский использует характерные для «Золотого осла» Апулея [Альбрехт: 1585–1586] приемы. Обстоятельное самопредставление героя и его разговоры с самим собой создают впечатление присутствия и повышают убедительность рассказа. Создание достоверности через наглядные описания: шарлатанов, выдающих себя за служителей Сирийской богини, и вельможи Менеклеса, главным украшением виллы которого была прекрасная статуя, изображающая его персону, — также помогало стилизации авторских вставок под сочинение античного автора. Тем не менее Сенковский

оставлял для читателей подсказки, помогающие распознать обман. Во-первых, ключевая характеристика главного героя: «философ, историк, ритор и грамматик» — повторяется к месту и не к месту (*Лукий*: 79, 82, 83, 88, 89, 94, 97, 100, 104, 131, 132). Во-вторых, добавлен нехарактерный для языческого сочинения эпизод о прощении христианки по воле Юпитера, отца богов и людей (*Лукий*: 128–129).

Наиболее значимое преобразование греческого источника касается переработки образа главного героя, что ведет к знаковым смысловым сдвигам. В оригинале Лукий — несколько наивный юноша из Патр, который из-за свойственного ему любопытства оказывается превращен в осла и попадает в комические ситуации. Его характер почти не меняется, он является скорее «камерой», через которую читатель наблюдает за событиями. Лишь в финале герой чуть подробнее говорит о себе:

“*κἀγώ, Πατήρ μὲν, ἔφην, <...> ἔστι μοι Λούκιος, τῷ δὲ ἀδελφῶι τῷ ἐμῶι Γάϊος· ἄμφω δὲ τὰ λοιπὰ δύο ὀνόματα κοινὰ ἔχομεν. κἀγώ μὲν ἱστοριῶν καὶ ἄλλων εἰμὶ συγγραφεύς*²⁰, ὁ δὲ ποιητῆς ἐλεγείων ἐστὶ καὶ μάντις ἀγαθός· πατρὶς δὲ ἡμῖν Πάτραι τῆς Ἀχαΐας” (*Λούκιος*: 55),
 букв. «Отец, я сказал <...> у меня — Луций, а у моего брата — Гай; но оба же остальных имени у нас общие. И я — писатель историй и других сочинений, а он — поэт, пишущий элегии, и хороший прорицатель; родина наша — Патры в Ахайе».

Сенковский, сохраняя повествование от первого лица, иначе, более развернуто, академически представляет героя в самом начале своего перевода:

«Я — человек не глупый. Учился я в Афинах всякой книжной мудрости, прочитал почти все творения древних и, благодаря Юпитеру, сделался сам известным моими сочинениями. Я много писал о философии, об истории, о древностях, о языке. Философ, историк, ритор и грамматик, я, право, не хуже других...» (*Лукий*: 79).

Создан иронический контраст между статусом героя и глупыми ситуациями, в которые он попадает. Лукий у Сенковского гораздо более ироничен, даже саркастичен. Он не просто

²⁰ Здесь и далее полужирный курсив в цитатах, а также переводы с греческого принадлежат авторам статьи.

страдает, но и комментирует свои переживания, более склонен к самоанализу. Так, в эпизоде, в котором мальчик-слуга, «сорванец, живодер», различными способами докучает животному, Лукий отмечает:

«Сколько прекрасных философических выводов сделал я в это время о доброте человеческого сердца. Жаль, что потом забыл их, сделавшись снова человеком», —

и подытоживает аллюзией на евангельские строки:

«Таков человек!» (Лукий: 105, 106).

Герой чаще выражает человеческие эмоции и мысли, чем в оригинале. Вспомним здесь вставку с его размышлениями о молодости, красоте, любви:

«Если, бывало, завижу перед собою хорошенькую женскую фигуру, тотчас, хоть бы это было с ношей и самим погонщиком, прибавляю шаг, догоняю, меряю глазами, всматриваюсь в лицо: в эти минуты я часто забывал, что я важное лицо, философ, ритор, а притом настоящий осел, и что ужасное беремья ломит мне спину. Чтò делать! Молодость и красота!» (Лукий: 107).

Образ Лукия-осла у Сенковского рефлексирующий. Так, фрагмент с эмоциональными философскими обобщениями («Грустные думы...» (Лукий: 94)) перекликается с образом «asinus philosophans», ослом-моралистом из «Метаморфоз» Апулея (*Met.* X, 33). Для аргументации превращения греческого Лукия в «ученого мужа», ученого-неудачника, начитавшегося «книжной премудрости», Сенковскому была необходима одна семантическая замена. В оригинале госпожа Палестры превращается в *κόραξ νυκτερινός* (ночной ворон), а в русском варианте, как и в романе Апулея, — в «сову», птицу Минервы, богини мудрости (Лукий: 87, ср.: Λούκιος: 12; *Met.* III, 21).

Грустной иронией наполнен ряд добавлений Сенковского к античному тексту, в которых осел-ученый делится своими наблюдениями об окружающих его людях: они склонны верить разного рода шарлатанам; они с бóльшей охотой идут смотреть на выступление осла, чем на представление превосходнейших трагедий Софокла и Еврипида, и при этом больше дивятся умению осла пить вино, чем его познаниям

в грамматике; они готовы отправить человека на смерть за отличие его убеждений от взглядов большинства (*Лукий*: 114, 122–123, 125, 127).

Сенковский переосмысливает финал. В греческом варианте Лукий, обращаясь вновь в человека с помощью лепестков роз, припадает к земле, соединяясь с ней:

“γυμνὸς καλῶς ἐστεφανωμένος καὶ μεμυρισμένος τὴν γῆν γυμνὴν περιλαβὼν ταύτῃ συνεκάθειδον” (*Λούκιος*: 12) (букв. «нагой, прекрасно увенчанный и умашенный, я, обняв голую землю, спал на ней»).

Исследователи видят здесь пародию на мистико-религиозную «египетскую» концовку «Золотого осла» Апулея [Левинская, 2002: 31]. В версии Сенковского обратное превращение значительно расширено. Розы, которые дают спасение герою, приносит в корзинке птица Юпитера — орел. Публика, испугавшись, называет Лукия-человека колдуном и христианином. Разрастается полемика о христианстве. Спасает героя жрец, выступая со словами:

«Говори, святой человек!.. Объяви волю Юпитера, который тебя из осла сделал римским гражданином и всех нас может превратить в ослов!..» (*Лукий*: 128).

В ответном слове Лукий заступает за Палестру, которую как христианку хотят сжечь. Далее он общается с префектом на латыни: «*Illustrissime comes!*.. Светлейший граф!» (*Лукий*: 129). Последний разоблачает Лукия, считая его и жреца сообщниками, и добавляет:

«Но знаете ли вы, негодяи, что без моего позволения Юпитер не имеет права творить чудес в этом месте?» (*Лукий*: 130).

Разрешает конфликт вступившая в разговор Палестра, подтверждая все слова Лукия о его судьбе.

Завершается повесть грандиозной метафорой-самоиронией:

«...сказание о том, как я, философ, историк, ритор и грамматик, долгое время, по воле бессмертных богов, был настоящим, неподдельным ослом... а, может быть, и теперь есмь!.. Я кончил повесть» (*Лукий*: 132).

И это, конечно, прямая сатира на современную автору интеллектуальную высокообразованную элиту, оторванную от реальности и живущую книжными иллюзиями. В этом заключении можно усмотреть отсылки к «Золотому ослу» Апулея, где, как отмечалось в исследовательской литературе [Альбрехт: 1590], развлечение не единственная цель. Но это становится совершенно понятно только в последней книге. Так классический гротескный мотив метаморфозы человека в животное становится у Сенковского метафорой социального положения мыслящего человека. Быть «ослом» — значит быть униженным, зависимым, лишенным голоса, но при этом вынужденным наблюдать за абсурдом человеческого общества изнутри.

Крайне любопытна и вступительная заметка к «переводу» Лукиана, задуманная как элемент стилизации текста под сочинение ученой словесности, а значит, как часть литературной игры с читателем, но на самом деле соединяющая шутейное с серьезным, развлекательную фельетонную манеру с профессиональным пониманием сложности вопроса об истоках жанра повести в европейской литературе. Указывая, что автором повести был Лукиан, Сенковский характеризует его как человека, который, «видя вокруг себя общее разрушение разума, <...> потеряв надежду на будущее, разрушал все острыми ударами своего сарказма, осмеивал богов и людей, уничтожал последние мечты древнего мира и отталкивал от себя его новые упования» (*Лукий*: 76), а также называет его «греческим Вольтером» и отмечает, что «не говоря уже об Апулее, который подражал "Лукию" еще в древности, почти все известные писатели повестей, начиная с шестнадцатого столетия, имели эту повесть в виду и считали образцовой» (*Лукий*: 76, 77). Автор указывает:

«Макиавелли просто выкрал из нее своего осла. Лесаж в "Жиль Блазе" почти буквально скопировал с ней свою пещеру разбойников. Вольтер непрерывно обращался к ней за формой и даже за остроумием» (*Лукий*: 77).

В этом шутливом пассаже Сенковский высказывает вполне серьезную идею о влиянии античной художественной прозы на развитие повествовательных жанров и литературных приемов в европейской беллетристике Нового времени.

Сенковский характеризует текст не только как филолог, но и как историк, подчеркивая его значение в качестве источника для изучения античного мира: в «Лукии» отразился «с своими характерами, нравами и понятиями этот совершенно свежий колорит давно исчезнувшего общества, эта подлинность подробностей древнего житейского быту, наконец, занимательность самого времени, наполненного борьбою старых верований с новыми» (*Лукий*: 77). Сходную оценку можно найти в предисловии к французскому переводу «Лукия», выполненному увлеченным филологом-эллинистом Полем-Луи Курье²¹, чей труд, скорее всего, был знаком Сенковскому:

«У нас действительно мало книг столь же любопытных, как эта; в ней можно найти сведения о частной жизни древних, которые любители этого исследования тщетно искали бы где-то еще <...>. Это картины чистого воображения, в которых, тем не менее, каждая черта взята из природы <...> которые не только развлекают изяществом вымысла и наивностью языка, но и одновременно поучают своими замечаниями и размышлениями <...> эти рассказы о фактах, не только ложных, но и невозможных, представляют нам время и людей лучше, чем любая хроника»²².

Таким образом, Сенковский подошел к переводу не как филолог-классик, стремящийся к точности, а как яркий писатель-сатирик, однако в глубоких историко-филологических замечаниях вводного комментария и нюансах стилизации авторских добавлений к древнегреческому оригиналу под маской смешливого барона Брамбеуса все же заметен серьезный профессор словесности. Он по нескольким причинам использует популярный в эпоху романтизма прием литературной мистификации. Во-первых, мистификация служила «литературной маской», которая позволяла автору быть более свободным в обращении с античным текстом, а также более смелым и критичным в своей сатире. Во-вторых, это был

²¹ Отечественной читающей публике Поль-Луи Курье был знаком по очерку: [Б. п.] Поль-Луи Курье // Московский Телеграф. 1831. № 19. С. 311–348.

²² *La Luciane, ou L'âne de Lucius de Patras: avec le texte grec revu sur plusieurs manuscrits*. Paris: A. Bobée, 1818. P. XX–XXII. Перевод наш. — Е. С., Е. Л.

изящный способ продемонстрировать собственную эрудицию и остроумие, вовлекая образованного читателя в интеллектуальную игру по распознаванию обмана и пониманию истинных, скрытых под античной формой сатирических целей.

Сенковский не стремится воспроизвести античный текст предельно точно. Он адаптирует оригинал для восприятия современной ему публики и создает увлекательное, остроумное произведение, которое в легкой и доступной форме расширяет представления массового читателя о литературном наследии античности²³. Вместе с тем сокращения, пропуски и замены призваны сконцентрировать читателя на сатирическом и пародийном замысле. Известный сюжет Псевдо-Лукиана, «злой, но гениальный памфлет на рассказы о волшебстве, написанный остроумным и просвещенным человеком» [Schwartz: 143] (перевод наш. — *Е. С., Е. Л.*), использован как каркас для злободневной сатиры на литературу, нравы общества (ханжество, глупость, жестокость, модный мистицизм) в России начала 1840-х гг. Античный автор говорит языком петербургского журналиста, и древнегреческий текст превращается в сатирическую повесть, написанную в манере литературного фельетона, и становится важным явлением в истории развития русской сатирической прозы.

Ослы в творческой лаборатории Сенковского 1842 г. и «Мертвые души» Гоголя

Но действительно ли «Лукий» Сенковского интересен исключительно как один из примеров литературной игры с читателем и обращения к античному материалу как основе злободневной сатиры на современные нравы? Некоторые детали произведения приобретают, на наш взгляд, новое звучание, если учесть год и месяц его публикации — декабрь 1842 г., через полгода после выхода «с нетерпением ожидаемого всеми любителями изящного романа Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" <...>, или, как Гоголь назвал его <...> поэмы» [Белинский; т. 6: 199].

²³ К схожему выводу о творческом методе Сенковского-переводчика приходит А. А. Садыхова, но на примере не античного, а восточного материала, анализируя повесть «Смерть Шанфария» [Садыхова: 85].

Примечателен выбор Сенковским названия для своего произведения: «Лукий, или Первая повесть» вместо оригинального древнегреческого «Лукий, или Осел». Акцент на слове «повесть» мог напомнить читателям «Библиотеки для Чтения» о рецензии на «Похождения Чичикова, или Мертвые души» Гоголя, опубликованной в августовском выпуске журнала²⁴. Категорически не принимая определение «поэма», данное Гоголем своему произведению, Сенковский добавил это слово ко всем книгам, рассмотренным в разделе «Литературная летопись» вместе с «Похождениями Чичикова». Поэмами были названы не только три стихотворные брошюры Е. Алипанова (1. Теофил. «Поэма» Е. Алипанова, СПб., 1842; 2. Военные песни. «Поэмы» Е. Алипанова, СПб., 1842; 3. Досуги для детей. «Поэмы» Е. Алипанова, СПб., 1842), но также «Записки о старом и новом русском быте» К. А. Авдеевой, книги «Холодная вода, как всегдашнее лекарство», «Общая анатомия», «О распознавании и лечении аневризм», «Практические упражнения в физике», «Древесная флора» и, наконец, несомненно вымышленная брошюра «Об устройстве скотных дворов, содержании рогатого скота и приготовлении навоза. Сочинение А. С. Москва, 1842», про которую рецензент сообщал читателям: «...поэма, должно ей отдать справедливость, написанная гораздо опрятнее, чем некоторые другие»²⁵.

Любопытны и начальные строки «Лукия» Сенковского:

«Между тем не подлежит сомнению, что великие литературы, вечные образцы искусства и ума человеческого, развились и достигли зенита своей славы без повестей. Эта чудная литература греческая, которая началась "Илиадой" и заключилась комедиями Менандра, торжественно прошла все свое бессмертное поприще, **не унизившись ни одного разу до повести**» (Лукий: 75).

²⁴ [Сенковский О. И.] Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Библиотека для Чтения. 1842. Т. 53. № 8. Отд. 6. С. 24–54.

²⁵ Подробнее см.: Сенковский О. И. <Рукописная редакция статьи о «Мертвых душах»> (с примеч. Н. Мордовченко) // Н. В. Гоголь: материалы и исследования / АН СССР. Ин-т рус. лит.; под ред. В. В. Гиппиуса; отв. ред. Ю. Г. Оксман. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. [Т.] 1. С. 245–246. (Сер.: Лит. архив); [Чернышевский: 62–63].

Этот пассаж недвусмысленно отсылал читателя сразу к нескольким отзывам 1842 г. о «Мертвых душах»: брошюре К. С. Аксакова, отклику на нее Белинского, ответному объяснению Аксакова и объяснению на объяснение, написанному «неистовым Виссарионом»²⁶. Одним из поводов для полемики стала фраза из первого отзыва Аксакова, которую Белинский, высмеивая, процитировал почти дословно дважды²⁷:

«...древний эпос, перенесенный из Греции на Запад, мелел постепенно <...> снизошел <...> до романов и, наконец, **до крайней степени своего унижения, до французской повести**»²⁸.

Наконец, отметим рукописную редакцию августовского отзыва-фельетона Сенковского о сочинении Гоголя²⁹. Она свидетельствует, что отзыв первоначально был задуман в форме притчи, которую в книге «Тысяча и одна ночь» рассказывает Шахерезаде мудрый визирь, желая предостеречь ее от излишней самоуверенности на примере печальной участи одного тщеславного сочинителя, который, «написав нечистоплотный роман в пошлом роде Поль-де-Кока, вздумал гордо назвать его поэмою»³⁰. Развертывалась притча как разговор быка Силича, читающего «Мертвые души», с восторженным апологетом поэмы Гоголя ослом Разумниковичем и верблюдом, подмечающим недостатки текста. Но не только идея разбора произведения под маской рецензии на совершенно постороннюю книгу

²⁶ Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души». М.: Тип. Н. Степанова, 1842. 19 с. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003570852?page=23&rotate=0&theme=white (31.07.2025); Белинский В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Москва, 1842. В 8-ю д. л. 19 стр. [Белинский; т. 6: 253–260]; Аксаков К. С. Объяснение // Москвитянин. 1842. Ч. 5. № 9. С. 220–229 [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_013480570?page=7&rotate=0&theme=white (31.07.2025); Белинский В. Г. Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» [Белинский; т. 6: 410–433].

²⁷ Белинский В. Г. Несколько слов...; Объяснение на объяснение... [Белинский; т. 6: 253–254, 413].

²⁸ Аксаков К. С. Несколько слов... С. 2–3.

²⁹ Сенковский О. И. <Рукописная редакция статьи о «Мертвых душах»>... С. 227–242.

³⁰ Там же. С. 227–228.

и в виде беседы животных, среди которых есть осел с характерным именем, примечательна в замысле Сенковского. Начало притчи («У одного *умного человека, который читал книги древних мудрецов* и постигал тонкости вещей, была за городом небольшая усадьба»³¹) имеет параллели с начальными строками из рассказа Лукия, добавленными Сенковским к античному оригиналу:

«Я — человек неглупый. Учился я в Афинах всякой книжной мудрости, прочитал почти все творения древних...» (Лукий: 79).

Добавим еще одну любопытную деталь: в переводе на французский древнегреческое “Λούκιος ἡ Όνος” выглядело как “La Lucjade, ou L’Ane”, напоминая об «Илиаде» Гомера, с которой ставили в один ряд «Похождения Чичикова» похвальные отзывы о поэме Гоголя³².

«Лукий, или Первая повесть» Б. Б. (Барона Брамбеуса) и ее творческая история заслуживают рассмотрения в контексте журнальной полемики по поводу «Мертвых душ» Гоголя. Литературная маска позволила Сенковскому, не изменив своему редакторскому кредо «не отвечать ни на какие выходки» и наказывать врагов молчанием³³, тем не менее остроумно парировать выпады Белинского против барона Брамбеуса, которыми изобиловал фельетон «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» (см.: [Белинский; т. 6: 361–363]), написанный в ответ на сатирический отзыв Сенковского о «Похождениях Чичикова», и изящно ответить на брошенный Белинским в «Литературном разговоре...» вызов: «Посмотрим, чем кончится спор, если он уже и не кончился... Гоголь, разумеется <...> будет отвечать только новыми своими произведениями, от которых иные романисты-рецензенты запыхтятся насмерть...» [Белинский; т. 6: 365]. Новым произведением ответил и Брамбеус.

³¹ Сенковский О. И. <Рукописная редакция статьи о «Мертвых душах»...>. С. 228.

³² Аксаков К. С. Несколько слов... С. 2–3.

³³ [Б. п.] Сенковский (Осип Иванович) // Справочный энциклопедический словарь, издающийся под редакцией А. Старчевского: в 12 т. СПб.: Изд. К. Крайя, 1855. Т. 9. Ч. 2. Р и С. С. 372 [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003825506?page=1&rotate=0&theme=white (31.07.2025).

Вступительный комментарий к «Лукию» как диалог Сенковского с Белинским

Во вводной части «Лукия» заметны, на наш взгляд, постоянные пародийные отсылки к статье Белинского «О русской повести и повестях Гоголя»³⁴, изданной в 1835 г. Не исключено, что решение Сенковского обратиться к этой давней рецензии было своеобразным «зеркальным ответом» на обвинения «в дурном тоне, в плоскостях, в сальностях, в явном незнании русского языка и русской грамматики» [Белинский; т. 6: 361], которые Белинский предъявил Брамбеусу в «Литературном разговоре...», опираясь на выписки из сочинений смешливого барона, увидевших свет в 1833–1834 гг.

Сопоставление текстов приводит к выводу о том, что Сенковский последовательно выстраивал вступительный комментарий Б. Б. к «Лукию» с опорой на статью Белинского, используя парафраз, синонимы, синтаксические параллели и аллюзии (см. *Таблицу 1*):

Таблица 1 / Table 1

«О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинского (1835)	«Лукий, или <i>Первая повесть</i> » Сенковского (1842)
...Теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть . <...> Роман всё убил, всё поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого... (С. 261)	Заваленные повестями всякого разбору, виду и покрою , мы теперь не понимаем, как могли существовать литературы без романов и повестей (С. 75)
Кто , какой гений, какой могущественный талант произвел это новое направление? .. (С. 261)	Кто же изобрел их? Когда свет увидел первую повесть? (С. 75)
Век поэзии идеальной оканчивается младенческим и юношеским возрастом народа, и тогда искусство должно или переменить свой характер, или умереть . <...> с искусством человечества древнего случилось последнее... (С. 264).	...прочитав в последний раз великие образцы прежнего греческого и латинского искусства , свернул их, поставил в шкаф, запер ключом и сказал насмешливо: «Покойтесь там, мощные умы! Ваше царствование кончилось.

³⁴ Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») [Белинский; т. 1: 259–307].

<p>...<i>повесть</i> во всех литературах теперь есть <i>исключительный предмет внимания и</i> деятельности всего, что пишет и читает... (С. 261–262)</p>	<p><i>Свет уже вас не понимает. Мы измелъчились до повести</i> (С. 76)</p>
<p>В чем же заключается <i>причина</i> этой общей потребности, этого господствующего духа времени, которые все литературы подвели под форму <i>романов и повестей?</i> (С. 262). ...<i>вера в богов и чудесное умерла; дух героизма исчез</i>; настал век жизни действительной... (С. 265)</p>	<p>Первую известную повесть написал человек, который, видя вокруг себя общее разрушение разума, <i>не верил уже ни разуму, ни его величию, ни творчеству таланта</i>; который, потеряв надежду на будущее, разрушал все острыми ударами своего сарказма, <i>осмеивал богов и людей, уничтожал последние мечты</i> <...> и отталкивал от себя его новые упования... (С. 76)</p>
<p><i>Повесть наша началась недавно</i> <...>. В двадцатых годах обнаружались первые попытки создать истинную повесть. <...> ...<i>г. Марлинский был</i> <...> <i>зачинщиком русской повести</i> (С. 272)</p>	<p><i>Честь, или несчастье, изобретения</i> совершенно романтической <i>повести</i>, такой, какие мы пишем или посредством каких исписываемся нынче, <i>не отъемлемо принадлежит Лукиану</i> (С. 76)</p>
<p>...<i>повесть</i> во всех литературах теперь есть <...> наш дневной <i>насущенный хлеб</i>... (С. 261–262). Итак — Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь — <i>здесь полный круг истории русской повести. Да — полный</i>... (С. 283)</p>	<p>О вы, которые <i>питаетесь повестьями, судите о повестях, знаете наперечет все</i> мудрые повести нашего времени, до самой последней, до самой новейшей! <i>Читали ль вы самую первую повесть</i> грешного человека, ту, с которой началась вся эта бесконечная вереница?.. (С. 77)</p>
<p>Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют — простота вымысла, народность, <i>совершенная истина жизни</i>, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике:</p>	<p>...этот странный <i>мир</i>, <...> который отразился <...> с <i>своими характерами, нравами и понятиями</i> <...> <i>подлинность подробностей древнего житейского быту</i>, <...> <i>занимательность</i> самого времени, наполненного борьбою старых верований с новыми, — <i>все это ставит «Лукия» гораздо</i></p>

<p>2. Гоголь — поэт, поэт жизни действительной (С. 284)</p>	<p>выше того, что мы рассказываем в повестях наших наугад о прошедшем и с приторною для современников верностью о настоящем (С. 77)</p>
---	---

Пародируя теоретические построения Белинского, посвященные истории повести, Сенковский раскрывает свою точку зрения. Во-первых, он показывает появление жанра повести уже в античной литературе, а не в литературе Нового времени; во-вторых, полемизирует с утверждением Белинского о том, что Гоголь был первопроходцем в изображении «действительной жизни» в повести. Кроме того, называя первой повестью именно «Лукия» — повествование о фантастическом превращении человека в говорящего осла и его приключениях на пути к обратной метаморфозе, — Сенковский изящно подчеркивает значение «Фантастических путешествий Барона Брамбеуса» в ряду русских повестей 1830-х гг.³⁵, несмотря на то что сочинение и его автор не были упомянуты Белинским в его «полном круге истории русской повести»³⁶. Свою мысль Сенковский усиливает как вопросом («Читали ль вы самую первую повесть грешного человека?»), так и замечанием, что Лукиана «прошедший век так справедливо прозвал "греческим Вольтером"» (Лукий: 77, 76), что могло напомнить о прозвище «Вольтер толкучего рынка»³⁷, которое Сенковскому дали недоброжелатели.

Заключительная часть вступительных замечаний Б. Б. к «Лукию» на первый взгляд не имеет параллелей с текстом Белинского. В ней дается картина «господствующего духа времени», в которое выпало жить и творить Лукиану:

³⁵ [Сенковский О. И.] Повести Барона Брамбеуса. I. Фантастические путешествия Барона Брамбеуса. СПб.: Тип. вдовы Плюшар с сыном, 1833. XLVIII, 391 с. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003569993?page=1&rotate=0&theme=white (31.07.2025).

³⁶ Белинский упоминает в статье 15 повестей указанных авторов, но Сенковского и его произведений в этом перечне нет [Белинский; т. 6: 272–283].

³⁷ [Б. п.] Шуточки «Библиотеки для Чтения» (рубрика: Журнальные отметки) // Московский Наблюдатель. 1836. Ч. VIII. № 9. Июль. Кн. 1. С. 137 [Электронный ресурс]. URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01013548357?page=143&rotate=0&theme=white> (31.07.2025). «Толкучим рынком» московские журналисты называли петербургские журналы.

«Христианство быстро усиливалось. Язычество <...> старалось <...> одушевиться последними остатками прежнего теплого верования. Обе стороны обвиняли друг друга в колдовстве, чернокнижии и употреблении сверхъестественных мер к своему торжеству. Этого было достаточно, чтобы колдовство действительно пошло в моду» (Лукий: 77–78).

Однако отдельные красноречивые детали возвращали внимательного читателя к статье Белинского — к той ее части, в которой давалась оценка творчеству Гоголя:

Таблица 2 / Table 2

«О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинского (1835)	«Лукий, или Первая повесть» Сенковского (1842)
<p>Я нимало не удивляюсь, подобно некоторым, что <i>г. Гоголь мастер делать всё из ничего...</i> (С. 289). Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни <...> и между тем <i>принимаете <...> участие в персонажах</i> повести... (С. 291). <i>О, г. Гоголь истинный чародей...</i> (С. 292)</p>	<p>Во втором веке древний образованный мир наполнился <i>страшными колдунами</i>, которые, по общему мнению, <i>производили невероятные дивы</i> и которые <...> оспаривали <i>могущество над умами философов...</i> (С. 78)</p>

Вероятно, с целью окончательно удостоверить читателя в том, что вступление к Лукию, как и весь последующий рассказ, имеет скрытый подтекст, связанный с оценками творчества Гоголя в контексте истории русской повести и с полемикой вокруг «Похождений Чичикова», Сенковский добавляет еще одну деталь:

«Фессалия <...> прославилась <...> гнездом самых опасных кудесников, и *один из городов* этой провинции, именно *Ипата*, признан был *сборным пунктом или Лысою Горю искуснейших ведьм того времени*» (Лукий: 78).

Лысая Гора не единожды упоминалась в русской литературе 1830-х гг. как место шабаша ведьм, которое находится «под

самым Киевом»: в повести О. М. Сомова (1833)³⁸, сказке В. И. Даля (1837)³⁹. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя, переиздание которых состоялось в 1842 г.⁴⁰, картины шабаша нечистой силы встречаются трижды [Левашев, Тетерина: 173].

Таким образом, Сенковский проводит параллели между борьбой язычества и христианства во II в., называя ее «одной из самых разительных черт общества» (*Лукий*: 78), и борьбой идей и страстей в российских журналах своего времени⁴¹. Полагаем, что Сенковский уловил остроту и серьезность развернувшихся вокруг «Мертвых душ» дискуссий, которые в итоге оказали «существенное влияние на само формирование славянофильства и западничества» [Виноградов: 72]. Отмечая, что обе стороны (христиане и язычники) «обвиняли друг друга в колдовстве, чернокнижии и употреблении сверхъестественных мер» и «равно страшились друг друга» — и «этого было достаточно, чтобы колдовство действительно пошло в моду» (*Лукий*: 78), Сенковский тонко иронизирует над впадающими в крайности участниками журнальной полемики, намекая на парадоксальный, как по волшебству, переход критиков от оценок нового произведения третьего лица к нападкам друг на друга. Финал вступительного комментария к «Лукию» был подсказкой читателям, как можно трактовать повествование:

«Пусть теперь Лукиан, или правильнее его герой Лукий, расскажет нам, что случилось в *Ипате* с одним *молодым ахейским ученым*» (*Лукий*: 78).

³⁸ Порфирий Байский [Сомов О. М.] Киевские ведьмы // Новоселье. 1833. Ч. 1. С. 347, 356, 359 [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_007503365?page=194&rotate=0&theme=white (31.07.2025).

³⁹ [Даль В. И.] Ведьма (украинская сказка) // Повести, сказки и рассказы Казака Луганского. СПб.: в Гутенберговой тип., 1846. Ч. 1. С. 456 [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_007503365?page=194&rotate=0&theme=white (31.07.2025).

⁴⁰ [Гоголь Н. В.] Сочинения Николая Гоголя. СПб., 1842. Т. 1: Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасечником Рудым Паньком. 261 с.

⁴¹ Интересно, что картину острой идейной борьбы вокруг «Мертвых душ» рисует также А. И. Герцен в дневниковой записи от 29 июля 1842 г.: «Толки о "Мертвых душах". Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апотеоза Руси, Илиада наша, и хвалят, след., другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси и за то ругают. Обратное тоже раздвоились антиславянисты» [Герцен: 220].

Открывающий повесть вставной эпизод в виде портрета-самопредставления молодого ахейского ученого: «философа, историка, риторика и грамматика», который учился в Афинах всякой книжной премудрости и сделался известным своими сочинениями, но затем превратился в осла вследствие своего чрезмерного интереса к колдовским зельям, — это образ восторженного почитателя «Похождений Чичикова», портрет высокообразованного критика, который, «право, не хуже других», но с ним приключился «казусный случай» (*Лукий*: 79), а именно — неотразимое воздействие поэмы Гоголя. Осмелимся предположить, что к замыслу изобразить литературных критиков-современников в герое античного текста, превратившемся в осла, Сенковского могло подтолкнуть среди прочего замечание Белинского из статьи «Похождения Чичикова, или Мертвые души»: «У нас всякий писака так и таращится рисовать бешеные страсти и сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и с своих знакомых» [Белинский; т. 6: 220].

Вставные эпизоды с использованием характерного для Апулея приема обстоятельного самопредставления героя стали способом создания фельетонного портрета.

Вступительный комментарий ярко демонстрирует жанровый синкретизм, характерный для всего текста. Он задуман как мистификация и сочетает в себе черты научной статьи (ссылки на античный источник, историко-литературный экскурс), литературно-критического памфлета (полемика с Белинским, замаскированная под рассуждение о повести) и фельетона (шутейная, развлекательная манера изложения).

К. С. Аксаков и С. П. Шевырев — герои античного сюжета

Наиболее благожелательно отозвались в 1842 г. об авторском определении жанра «Мертвых душ» К. С. Аксаков, В. Г. Белинский и С. П. Шевырев⁴². В открывающих рассказ *Лукия* словах: «...учился я в Афинах <...> сделался сам известным

⁴² Аксаков К. С. Несколько слов... С. 8; Белинский В. Г. Похождения Чичикова... [Белинский; т. 6: 220]; Шевырев С. П. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Москвитянин. 1842. Ч. 4. № 8. С. 376.

моими сочинениями <...> философ, историк, ритор и грамматик» (*Лукий*: 79) — можно было усмотреть намек на каждого из них.

Самым молодым автором хвалебного отзыва о поэме Гоголя стал 25-летний Константин Сергеевич Аксаков, окончивший в 1835 г. словесное отделение Московского университета со степенью кандидата. В годы учебы в Московском университете Аксаков был участником кружка Станкевича, где велись бурные дискуссии о философии Шеллинга, Канта и Гегеля. В 1838 г. он написал сочинение «О грамматике вообще (по поводу грамматики г. Белинского)»⁴³, в следующем — «О некоторых современных собственно литературных вопросах»⁴⁴. Аксаков заявил о себе и на поэтическом поприще, печатаясь с начала 1830-х гг., часто под псевдонимом К. Эврипидин. В 1835 г. был опубликован отрывок из его драматической пародии «Олег под Константинополем», написанной под воздействием скептической школы М. Т. Каченовского и высмеивавшей чрезмерное доверие к преданиям о далеком прошлом Древней Руси. Автором вступительного примечания к публикации был Белинский⁴⁵, также симпатизировавший взглядам Каченовского⁴⁶. К 1839 г. пьеса была завершена [Машинский: 598]. Эпilog произведения состоит из стихов, передающих лекцию Профессора:

«Помилуйте! Какой Олег? Всё сказки!

Олег никак не мог существовать.

Вот *говорят*, что с парусами в лодках

⁴³ Эта статья была впервые напечатана в 1839 г., в январской книжке «Московского Наблюдателя» (см.: Аксаков К. С. О грамматике вообще (по поводу грамматики г. Белинского) // Полн. собр. соч. Константина Сергеевича Аксакова. М.: Универ. тип. (Катков и К°), 1875. Т. 2. Ч. 1: Сочинения филологические. С. 3, примеч.).

⁴⁴ Аксаков хотел издать данную статью отдельной брошюрой, однако в конце 1839 г. передал ее Белинскому. Последний не опубликовал материал из-за несогласий со взглядами автора. Статья была издана лишь в конце XX в., в сборнике: Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. С. 43–74.

⁴⁵ Белинский В. Г. <Примечание к «Олегу под Константинополем» К. Эврипидина> [Белинский; т. 1: 221].

⁴⁶ Белинский В. Г. Литературные мечтания [Белинский; т. 1: 88, примеч.].

*Он по́суху ходил до Цареграда,
Да там еще и щит прибил. Ну вот
Какие басни!* Им совсем не место
В истории»⁴⁷.

Полностью текст драмы Аксакова об Олеге был опубликован только в 1858 г., однако, на наш взгляд, нельзя исключать, что отсылкой к творческой биографии юного Аксакова и его взглядам на историю является вставной эпизод в «Лукии» Сенковского, в котором только что превратившийся в осла ученый восклицает:

«О боги! Я — осел?.. Я, философ, историк, ритор и грамматик — осел?.. Я, который написал столько знаменитых сочинений **обо всех отраслях** знания, который собирался основать **новую школу философии** и красноречия, который открыл в одном Гомере десять ошибок против языка и две — против размеру стиха, который **доказал, что Александр Великий никогда не бывал в Индии**, я, я — осел?» (Лукий: 88).

Заметим, что сам Сенковский был решительным противником гиперкритического отношения к сведениям письменных источников о далеком прошлом, будь то история Древнего мира или история Древней Руси. Он показывал, как новейшие археологические открытия подтверждают данные античных авторов, отмечая:

«Прошло время, когда бранили Геродота и смеялись над Ктесиасом. Нынче думают, что благоразумнее и полезнее изучать Геродота и Ктесиаса, сличая их тексты с наблюдениями, сделанными на месте, и смыслом памятников...»⁴⁸.

Он доказывал, что

«обесславленные критиками прошлого столетия скандинавские саги <...> открыли глазам нашим <...> целый ряд подлинных картин давно исчезнувшего общественного быта...»⁴⁹.

⁴⁷ [Аксаков К. С.] Олег под Константинополем. Драматическая пародия, с эпилогом, в трех действиях, в стихах. Соч. К. С. Аксакова. СПб.: Изд. Любителя, 1858. С. 95 [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003563967?page=5&rotate=0&theme=white (31.07.2025).

⁴⁸ [Сенковский О. И.] Новая сравнительная наука древностей // Библиотека для Чтения. 1835. Т. 12. Отд. 3. С. 42.

⁴⁹ Сенковский О. И. Скандинавские саги // Библиотека для Чтения. 1834. Т. 1. Отд. 3. С. 10.

В 1837 г. Сенковский принял к публикации статью Н. И. Надеждина, отправленного в ссылку в Усть-Усольск за издание «Философического письма Чаадаева». Рассуждая о пути приближения к исторической истине, Надеждин выступал против гиперкритики и ученых, которые «важно расхаживают среди белого дня и отмечают попавшиеся на глаза предания, говоря: "Нынче ты в сломку; завтра дойдет очередь до соседа"»⁵⁰. Двадцать лет спустя Аксаков тоже признал ошибочность скептических мнений Каченовского, отметив в предисловии к изданию драмы об Олеге 1858 г.: «Пародия эта потеряла современность, а вместе с тем, может быть, и занимательность...»⁵¹.

Следующий пространный вставной эпизод «Лукия» в виде самохарактеристики осла-ученого содержал детали, не характерные для биографии Аксакова: «учил людей, славился на весь мир». Почти каждая фраза включала намеки на другого автора похвалы «Мертвым душам» Гоголя — Степана Петровича Шевырева:

«Грустные думы овладели мною. Вот судьба ученого!.. *писал книги, учил людей, славился на весь мир*: и вдруг, глядь, я — осел!.. <...> *никогда еще не философствовал так глубоко, как тогда*, в ослиной коже. Я с удивительной легкостью *решил множество важных умозрительных вопросов* и достиг до таких высоких *наведений, каких не вижу даже у Платона*. *В промежутках я занимался этимологией и открыл несколько удивительных корней* для разных имен и глаголов» (Лукий: 94–95).

И действительно, 35-летний Шевырев к 1842 г. был ординарным профессором словесности Московского университета, доктором философии, членом Педагогического института⁵²

⁵⁰ [Надеждин Н. И.] Об исторической истине и достоверности, Н. И. Надеждина // Библиотека для Чтения. 1837. Т. 20. Отд. 3. С. 151.

⁵¹ [Аксаков К. С.] Олег под Константинополем. С. IV.

⁵² Именно так его регалии обозначены на титульном листе издания: [Шевырев С. П.] Об отношении семейного воспитания к государственному: речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского университета ординарным профессором русской словесности, доктором философии и членом Педагогического института Степаном Шевыревым 18 июня 1842. М.: Универ. тип., 1842. 4, 102 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003560563?page=5&rotate=0&theme=white> (31.07.2025).

и автором трудов по истории и теории поэзии⁵³. В поездке по Европе 1838–1840 гг. Шевырев, как следует из воспоминаний М. П. Погодина, сделал много примечательных знакомств с именитыми учеными и писателями⁵⁴. В «Теории поэзии» Шевырева значительная часть первой главы была посвящена учению Платона о прекрасном⁵⁵. Основные положения труда воспроизводили «характерный для того времени взгляд на Платона как на философа-поэта» [Тихеев: 134], а саму поэзию Шевырев понимал, в соответствии с этимологией слова (греч. *ποίησις*, от *ποιέω* — делаю, создаю, творю), как вид искусства, принимая «атрибуцию Жаном Полем Рихтером романа как поэтического жанра» [Нилова: 109–110], что послужило отправной точкой для защиты взгляда на «Мертвые души» как на поэму.

В 1842 г. публикации Шевырева в журнале «Москвитянин» касались различных вопросов, что и стало, по-видимому, основой самопрезентации осла-ученого у Сенковского:

«...никогда еще не философствовал так глубоко, как тогда, в ослиной коже» (*Лукий*: 94).

К двум программным статьям Шевырева о современной русской литературе⁵⁶ добавились две статьи о «Мертвых душах»

⁵³ [Шевырев С. П.] История поэзии: чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. М.: Тип. Августа Семена, 1835. III, 333 с.; [Шевырев С. П.] Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов: сочинение, писанное на степень доктора философского факультета I Отделения, адъюнктом Московского университета Степаном Шевыревым. М.: Тип. Н. Степанова, 1836. 382 с.; [Шевырев С. П.] Общее обозрение развития русской словесности (вступительная лекция ординарного профессора Шевырева). М., 1838. 47 с. Подробнее см.: [Коровин: 12–13].

⁵⁴ Погодин М. П. Воспоминание о Степане Петровиче Шевыреве // Журнал Министерства народного просвещения. 1869. Ч. CXLI. С. 414–417 [Электронный ресурс]. URL: <https://runivers.ru/bookreader/book453441/#page/662/mode/lup> (31.07.2025).

⁵⁵ [Шевырев С. П.] Теория поэзии... С. 20–49.

⁵⁶ Шевырев С. П. Взгляд на современное направление русской литературы (вместо Предисловия ко второму году «Москвитянина»). Статья первая. Сторона черная // Москвитянин. 1842. Ч. 1. № 1. С. I–XXXII; Шевырев С. П. Взгляд на современную русскую литературу. Статья вторая. Сторона светлая (состояние русского языка и слога) // Москвитянин. 1842. Ч. 2. № 3. С. 153–191.

Гоголя⁵⁷; несколько публикаций были посвящены истории воспитания в древности, значению педагогики в современности⁵⁸ и разработке «основных положений теории воспитания русского человека и гражданина отечества» [Цветкова: 43]. В одной из статей Шевырев критиковал Платона, который «в идеальной своей республике <...> не признает никакого семейства: так, у него человеческое подавлено государственным»⁵⁹. Автор призывал родителей не освобождаться «от священной обязанности править воспитанием семейным» и, достигнув «до таких высоких наведений, каких не ви[дел] даже у Платона» (*Лукий*: 94), провозглашал:

«Из университета выходит студент или кандидат; из ваших же рук выходит человек — звание важнейшее всех других званий. Да, только в самой тесной, в самой неразрывной связи семейного воспитания с государственным заключается идеал воспитания совершенного, везде, но особенно в настоящую минуту, в нашем Отечестве»⁶⁰.

В этой же статье Шевырев «занимался этимологией и открыл несколько удивительных корней для разных имен» (*Лукий*: 94–95) — рассуждал о значении слова *воспитание* в русском языке в сравнении с немецким *Erziehung*⁶¹ и отмечал:

«...прекрасна и глубока мысль тех филологов наших, которые производят русское слово *семья* от *семени*, знаменуя тем призвание семьи, выражаемое в коренном ее понятии: служить семенем всему человечеству»⁶².

Интересно, что фраза из самопрезентации осла-ученого в «Лукий» Сенковского «писал книги, учил людей, славился на весь мир» перекликается с построением характеристики

⁵⁷ Шевырев С. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья первая // Москвитянин. 1842. Ч. 4. № 7. С. 207–228; То же. Статья вторая // Москвитянин. 1842. Ч. 4. № 8. С. 346–376.

⁵⁸ Шевырев С. Об отношении семейного воспитания к государственному // Москвитянин. 1842. Ч. 4. № 7. С. 36–124; С. Ш. [Шевырев С. П.] Экзамены в Московском университете // Москвитянин. 1842. Ч. 4. № 8. С. 410–411.

⁵⁹ Шевырев С. П. Об отношении... С. 49.

⁶⁰ Там же. С. 38–39.

⁶¹ Там же. С. 39–40.

⁶² Там же. С. 41.

Лиодора Ипполитовича Картофелина из памфлета Белинского «Педант (литературный тип)» в мартовском номере «Отечественных Записок» за 1842 г., направленного против Шевырева. Используя пародийное имя, данное Шевыреву Н. Полевым в 1832 г., Белинский выделяет важные вехи в биографии Картофелина. Сначала, воспитываясь «в единственном пансионе губернского города», он «подбил товарищей издавать журнал» и «объявил себя монополистом» отделений стихов и критики. Затем, «обремененный лаврами», приехав «в одну из столиц наших, <...> он является учителем "российской словесности"». Наконец, «вот что многим может показаться невероятным: прозаическими статьями своими Картофелин обратил на себя общее внимание, как человек со вкусом, умом и дарованием» [Белинский; т. 6: 70–72].

Отсылкой к характеристике Картофелина в «Педанте» Белинского, который среди прочего высмеивал готовность Шевырева как сотрудника одного из журналов трудиться до кровавого пота из тщеславия и взвалить на себя всю работу, а разживу предоставить хозяину [Белинский; т. 6: 71], была, по всей видимости, еще одна ремарка осла-ученого в сочинении Сенковского:

«...я почти не выходил из хомута. Тут страдало не одно тело, но и гордость. Пусть уже так: **молоть так молоть для своих хозяев, а не на весь мир**; тем больше, что я был осел мыслящий, осел-философ, осел-ритор и грамматик» (Лукий: 104).

Заметим, что изображение современников в литературных героях из других исторических эпох было для Сенковского далеко не новым приемом. В комедии «Фансю, или Плутовка горничная», публикация которой в «Библиотеке для Чтения» 1839 г. была представлена как перевод с китайского пьесы Джин-Дэхуэя, выполненный неким провинциальным чиновником⁶³, также были вставные эпизоды, один из которых — самохарактеристика книжных дел мастера Пху-Лалиня — несомненно подразумевала Ф. Булгарина [Карпов: 137].

⁶³ [Сенковский О. И.] Фаньсу, или Плутовка горничная. Китайская комедия. Сочинение Джин-Дэхуэя. Буквально с китайского переводил на Кяхте и к сему переводу руку приложил: пограничный толмач, десятого класса Разумник Артамонов сын Байбаков // Библиотека для Чтения. 1839. Т. 35. № 8. Отд. 2. С. 53–140.

Крайне любопытен пространный вставной эпизод в «Лукии», рассказывающий историю про *вельможу* Менеклеса, «которого льстецы титуловали *illustrissimus*» (Лукий: 121). Осел-философ сообщает:

«Менеклес воздвиг в своей великолепной *вилле* прекрасную статую, которая, разумеется, изображала собственную его персону, и для пьедестала сам сочинил надпись, исчисляющую все его титулы и подвиги. Титулов у него было множество, но подвигов, кажется, никаких...» (Лукий: 122).

Осмелимся предположить, что рассказ про Менеклеса содержит намеки на министра просвещения С. С. Уварова, занимавшего также должность президента Академии наук⁶⁴. Уваров был владельцем великолепного имения в Поречье, которое получило славу русских Афин и сравнение с Платоновой Академией, поскольку главный зал был украшен статуями и картинами, а частыми посетителями были ученые и писатели [Виттекер: 272]. В 1841 г. в журнале «Москвитянин» была опубликована вызвавшая широкий резонанс статья, в которой владелец Поречья именовался «его *высокопревосходительство* г. министр народного просвещения Сергей Семенович Уваров»⁶⁵, а само имение было охарактеризовано в самых восторженных тонах:

«...радуешься, словно роскошному оазису, когда приближаешься к Поречью. <...> Сюда русский *вельможа*, владелец Поречья, приезжает летом для кратковременного отдохновения от трудов государственных. <...> мысль хозяина, с какою он пересоздал Поречье: он хотел иметь в нем обитель науки и искусства

⁶⁴ Издатель «Москвитянина» М. П. Погодин в одной из речей 1841 г. в честь Уварова отозвался о нем так: «...начальник шести университетов, двух Академий с педагогическим институтом и тремя лицеями, около сотни гимназий, почти двух тысяч училищ, член ученых обществ: Афинского, Калькуттского и Филадельфийского, кроме европейских» (см.: [Барсуков Н. П.] Жизнь и труды М. П. Погодина. Николая Барсукова. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1892. Кн. 6. С. 151 [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003441736?page=1&rotate=0&theme=white (31.07.2025)).

⁶⁵ [Давыдов И. И.] Село Поречье // Москвитянин. 1841. Ч. 5. № 9. Отд. 1. С. 156.

и пристань от житейских треволнений. <...> Поречье — не итальянская *вилла*, назначенная для забав...»⁶⁶.

Отношение Сенковского к Уварову вряд ли было восторженным. Судя по дневниковым записям цензора А. В. Никитенко, в 1834 г. Уваров отдал ему «приказание смотреть как можно строже за духом и направлением "Библиотеки для чтения"» Сенковского, «очень резко говорил о его "полонизме", о его "площадных острогах" и проч.»⁶⁷. Сенковский стал главной мишенью нападков двух статей Шевырева в первом же номере «Московского Наблюдателя»⁶⁸ — журнала, находившегося под покровительством Уварова⁶⁹.

Высмеивание Уварова в образе античного вельможи могло напомнить читателям о стихотворении Пушкина «На выздоровление Лукулла (подражание латинскому)», которое было опубликовано в сентябрьском выпуске «Московского Наблюдателя» за 1835 г.⁷⁰ и стало «основной темой пересудов в светских салонах северной столицы» [Перцов, Пильщиков: 57]. В отталкивающем образе корыстолюбца-наследника, который жаждал скорейшей кончины заболевшего богача, общество моментально узнало министра просвещения. Пушкин в одном из писем начала 1836 г. писал по-французски:

«В образе низкого скупца, пройдохи, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож, и т. д. — публика, говорят,

⁶⁶ [Давыдов И. И.] Село Поречье... С. 156, 157–158.

⁶⁷ Никитенко А. В. Записки и дневник: в 3 т. М.: Захаров, 2004. Т. 1. С. 319.

⁶⁸ Шевырев С. П. Словесность и торговля // Московский Наблюдатель. 1835. Ч. 1. № 1. Март. Кн. 1. С. 5–29; Шевырев С. П. О критике вообще и у нас в России // Там же. Ч. 1. № 3. Апрель. Кн. 1. С. 493–525.

⁶⁹ Во многом в ответ на нападки Шевырева на обложке «Библиотеки для Чтения» в 1836 г. появился эпитафия на древнегреческом языке со словами Сократа, произнесенными перед казнь и взятыми из «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта. Этот эпитафия открывал каждый выпуск «Библиотеки для Чтения» «на протяжении почти двадцати лет, вплоть до 1854 г., доказывая примером из истории Эллады, что даже самые выдающиеся личности могут стать жертвами несправедливых суждений окружающих» (подробнее см.: [Смирнова: 1165–1166]).

⁷⁰ См.: Московский Наблюдатель. 1835. Ч. 4. № 14. Сентябрь. Кн. 2. С. 191–193.

узнала вельможу, человека богатого, человека, удостоенного важной должности»⁷¹.

Особого упоминания заслуживает тот факт, что активным участником «Московского Наблюдателя» был М. П. Погодин [Бадалян: 108, 114]. Иными словами, Сенковский не только отсылал внимательного читателя к истории о смелом пасквиле Пушкина, но и недвусмысленно указывал на изменения в Погодине: не воспротивившись публикации дерзкого памфлета против Уварова, всего через шесть лет он принял к изданию поразительную по льстивости статью⁷².

Любопытна в связи с этим еще одна самохарактеристика осла-ученого в «Лукии» Сенковского:

«[Менеклес] *не мог нарадоваться, наглядеться на меня*: я для него был чудом, сокровищем <...> он отдал меня на руки *одному вольноотпущенному*, чтобы тот <...> учил меня выделять разные штуки. <...> Он попробовал заставить меня *слагать разные слова* <...> я *и это исполнил отлично*. Мы сложили таким образом целую фразу: "*Менеклес украшение Греции*". Менеклес объявил торжественно, что я очень умный осел, и подарил прекрасное платье моему наставнику» (Лукий: 121–122).

По всей видимости, здесь представлены дополнительные штрихи к портрету Шевырева, а вместе с ним и Погодина. В 1837 г. Уваров «устроил дело так, что император подписал прошение Погодина и Шевырева об издании "Москвитянина", несмотря на действовавший запрет на выпуск новых периодических изданий [Бадалян: 110]. В первом же номере журнала, издание которого началось в 1841 г., была размещена статья Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы»⁷³, разъясняющая содержание не имевшей еще в начале 1840-х гг. официального характера триады «Православие.

⁷¹ Пушкин А. С. А. Х. Бенкендорфу. Вторая половина января — начало февраля 1836 г. Петербург. Черновое [Пушкин: 436, № 683, 685, примеч.].

⁷² О реакции столичной интеллектуальной элиты на оба произведения см.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина: в 22 кн. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1888–1910. Кн. 4. С. 271; Кн. 6. С. 155–156.

⁷³ Шевырев С. П. Взгляд русского на современное образование Европы // Москвитянин. 1841. Ч. 1. № 1. С. 219–296 [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_013480437?page=1&rotate=0&theme=white (31.07.2025).

Самодержавие. Народность» [Бадалян: 111]. В этой статье примечательны строки:

«Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно ее будущее. Муж царского Совета, которому вверены поколения образующихся, давно уже выразил их глубокою мыслию, и они положены в основу воспитанию народа»⁷⁴.

Чем не «Менеклес — украшение Греции»? В том же году издатель «Москвитянина» Погодин был избран академиком Петербургской Академии наук по отделению русского языка и словесности.

Рассказ о своем пребывании у Менеклеса осел-философ дополняет красочными подробностями обсуждения надписи, сочиненной вельможей для пьедестала собственной статуи:

«Вельможа, его друзья, его придворные философы, софисты и риторы часто приходили к пьедесталу рассуждать об этой надписи. Все находили ее отлично умною и правильно написанною. Принадлежа к домашнему обществу, я однажды присоединился к кругу критиков надписи. В одном из слов ее была маленькая ошибка против орфографии. Я подошел к пьедесталу, уперся концом морды в неправильную букву и заревел так пронзительно, как еще ни один грамматик не ревел, открыв погрешность в сочинении своего врага» (Лукий: 122).

Пронзительный рев осла-философа как деталь к портрету Шевырева имеет параллель в журнальных статьях 1842 г. В апрельском номере «Русского Вестника» была опубликована эпиграмма Н. Полевого против Шевырева, процитированная затем Белинским в статье «Журнальные и литературные заметки», завершением которой были строки:

*«Молчи, пискун! Ну, где ты находил,
Чтоб льва могучего, с зубами и когтями
Когда-нибудь осел копытом бил?» [Белинский; т. 6: 239].*

Кроме того, в описании приема гостей у Менеклеса несогласна отсылка к восторженному рассказу о поездках ученых в имение Уварова в статье «Село Поречье», автор которой, И. И. Давыдов, входил в число приглашаемых гостей:

⁷⁴ Шевырев С. П. Взгляд русского... С. 295.

«Между нами были *пожилые и юноши, профессеры <...>, художники <...> и образованные любители наук и искусств <...>* Первые две недели все наше общество с хозяином проводило утреннее время в библиотеке <...>. Каждый говорил откровенно; чаще *любили мы слушать самого хозяина, неистощимого в мыслях, с сладким словом.* <...> Никогда не изгладятся из памяти нашей те сладкие беседы, в которых хозяин, не как высокий сановник, а как *первый* из товарищей, *позволяя говорить с собою откровенно и чистосердечно*»⁷⁵.

Белинскому была хорошо известна практика профессорских вояжей в имение Уварова: в письме к Гоголю от 20 апреля 1842 г. он назвал руководителей журнала «Москвитянин» «холопами знаменитого села Поречья» [Белинский; т. 12: 108]⁷⁶.

Но почему в «Лукии» Сенковского осел-ученый, чудо и сокровище Менеклеса, вдруг говорит о себе, что присоединился к числу критиков вельможной надписи и заревел пронзительно, обнаружив маленькую орфографическую ошибку? Рискнем предположить, что Сенковский намекает на новые уточняющие акценты в трактовке Шевыревым формулы «Православие. Самодержавие. Народность» в статьях 1841–1842 гг. Во-первых, основы уваровской триады тот обнаруживает в Древней Руси, а не в Петровской эпохе⁷⁷. Во-вторых, из всех элементов формулы более всего его интересует народность, которая, по

⁷⁵ [Давыдов И. И.] Село Поречье. С. 167–168, 189.

⁷⁶ Иную оценку поездкам ученых в Поречье дает К. В. Ратников — по его мнению, тут «имело место вовсе не раблепное выслушивание распоряжений сановного барина, а велся просвещенный научный разговор <...>, обстоятельный диалог с властью, попытка выработки прочного взаимного союза на основе соединения усилий правительства и университетской интеллигенции по укреплению ростков просвещения на русской почве <...> по обозначению магистрального направления хода образования в России» [Ратников: 6].

⁷⁷ Формулируя три коренные чувства, «в которых семя и залог нашему будущему развитию», Шевырев указывает на «наше древнее чувство религиозное», «чувство <...> государственного единства, вынесенное <...> также из всей нашей истории <...> из нашей древней жизни», «сознание нашей народности <...>. Это чувство устремляет теперь нас к изучению нашей Древней Руси, в которой, конечно, хранится первоначальный чистый образ нашей народности» (Шевырев С. П. Взгляд русского... С. 292–294). Заключительными словами статьи Шевырева были: «...Россия <...> да найдет в самой себе и в своей прежней жизни источник своенародный...» (Там же. С. 295–296).

его мнению, наиболее ярко выражается в словесности⁷⁸. Наконец, в статье о «Мертвых душах» Шевырев пишет:

«Русская словесность <...> всегда призывала народ к сознанию своей внутренней жизни, — и правительство наше (честь и хвала ему) никогда не скрывало от нас таких сознаний, если только совершались они талантами истинными, с искренним чувством любви к России и с уверенностью в ее высоком назначении»⁷⁹.

Анализируя черную и светлую стороны современной словесности в статьях 1842 г., Шевырев с похвалой отзывается о многих современных литераторах, приложивших «благородные усилия» на поприще «изучения устного языка народного»⁸⁰, но подвергает уничтожающей критике своих давних врагов — «журнального пересмешника (clown)» Сенковского и «рыцаря без имени», одетого в «броню наглости», Белинского⁸¹. Сенковского Шевырев называет «повествовательной машиной», говоря:

«...бросьте в нее любое происшествие, из любого народа, из какого хотите века, бросьте любой анекдот, да хоть картинку... завтра же чудная машина превратит вам все это в повесть»⁸².

Белинский ответил Шевыреву фельетонным портретом Лидора Картофелина, созданным от имени Петра Бульдогова, Сенковский — от имени Лукиана и его переводчика Б. Б. самохарактеристикой древнегреческого философа-осла.

Нет никаких сомнений в том, что Белинский понял все отсылки «Лукия» к своим критическим статьям, начиная с давней «О русской повести и повестях Гоголя», переложенной в стилистике вступительного комментария к сочинению

⁷⁸ Шевырев указывает: «Древняя Русь в жизни своей раскрыла три элемента главных: первый, важнейший, был элемент Церкви, чистый и духовный; второй — государственный; третий — народный. Первый выразился у нас в богатой словесности церковной <...>. Элемент государственный сказался у нас в государственных летописях <...>. Наконец, третий элемент, чисто народный, выразился в песнях, сказках, притчах, поговорках и пословицах...» (Шевырев С. П. Взгляд на современное... Сторона черная. С. VI).

⁷⁹ Шевырев С. Похождения Чичикова... Статья первая. С. 227.

⁸⁰ Шевырев С. П. Взгляд на современную... Сторона светлая. С. 173.

⁸¹ Шевырев С. П. Взгляд на современное... Сторона черная. С. XIX–XX-VII, XXVIII.

⁸² Там же. С. XIX.

древнего автора, заканчивая параллелями к фельетону о Шевыреве и ответом в античной стилистике на вызов, брошенный Белинским Барону Брамбеусу в «Литературном разговоре». Станный, перегруженный деталями отзыв Белинского о «Лукии», производящий впечатление ошибки, на наш взгляд, не может быть объяснен тем, что творчество Лукиана было «мало» известно «в России в 1840-е гг.» [Кошелев А. В., Кошелев А. В., 2024b: 695]. Белинский намеренно изменяет название античного источника «Лукия» Сенковского, демонстрируя желание завершить полемику о повести с позиции победителя:

«...в "Библиотеке для чтения" прошлого года были напечатаны и еще две повести, тоже, кажется, Барона Брамбеуса: "Падение Ширванского царства" и "Лукий, или Первая повесть". Первая очень потешна, а вторая — довольно неудачное искажение известной сказки Апулея "Золотой осел", переведенной порусски Ермилом Костровым еще в 1780 году, под титулом: "Луция Апулея платонической секты философа Превращение, или Золотой Осел. Перевел с латинского императорского Московского университета бакалавр Ермил Костров. В Москве, в университетской типографии, у Н. Новикова, 1780 года"» [Белинский; т. 6: 541].

Белинский, по всей видимости, попытался выставить Сенковского писателем-подражателем, незадачливым эпигоном. Однако именно обращение к «чужим» текстам и вольная игра с сюжетами и героями, творческая переработка «чужих» тем и мотивов, а также диалог с ними через цитаты, аллюзии, пародию, стилизацию создавали в «Лукии» неповторимый стиль, в котором ключевым способом создания текста становится насыщенная интертекстуальность в сочетании с аналитической иронией.

* * *

Подводя итоги, отметим, что «Лукий, или Первая повесть» Сенковского представляет интерес в нескольких отношениях. Автор осуществил смелый литературный эксперимент и создал гибридный в жанровом отношении текст. Формально он имеет структуру научной статьи, однако его содержание является сплавом художественного перевода и адаптированного

пересказа древнегреческого сочинения с пародией и фельетоном, написанными на основе злободневных журнальных статей. Текст является остроумным инструментом литературной и журнальной полемики, а вступительный комментарий к «Лукию» — замаскированным ответом на критику В. Г. Белинского и бурные дискуссии вокруг поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Сенковский оспаривает идеи Белинского о новизне жанра повести и первенстве Гоголя в изображении «действительной жизни».

Используя древнегреческое произведение для создания сатирического портрета эпохи, Сенковский обращается к двойному хронотопу, применяет различные художественные приемы, в том числе «двуголосое слово», гротеск, пародийные вставки, позволяющие представить главного героя и охарактеризовать современное общество, метафоры-самоиронии. Ключевым творческим приемом становится литературная мистификация, которая позволила, с одной стороны, Сенковскому-профессору быть максимально свободным в обращении с античным материалом, а с другой — Сенковскому-редактору вступить в полемику с критиками. Для массового читателя «Лукий» — это развлекательное чтение с просветительским элементом. Для образованной московской и петербургской элиты, следившей за журнальной борьбой, — многослойный, злободневный сатирический текст на литературных и не только современников, отличающийся интенсивной интертекстуальностью.

Повесть имеет мощный философский компонент. Мотив метаморфозы человека в осла становится у Сенковского многогранной метафорой мыслящего человека и его заблуждений. Осмысление в «Лукии» судьбы высокообразованного интеллектуала, увлеченного сомнительной теорией или стоящего перед выбором между научной честностью и карьерой, перекликается с типами из провинции в «Похождениях Чичикова» Гоголя.

Прекрасное знание древнегреческого языка, литературных приемов античных авторов и структуры научной статьи по классической филологии в совокупности с энциклопедической образованностью, профессиональной осведомленностью

о новейших научных дискуссиях и погруженностью в перипетии журнальной борьбы позволили Сенковскому не только создать необычное внешнее оформление для остроумной повести-мистификации, но и наполнить ее содержание сатирой на современников, выразив в ней свои взгляды по самым злободневным сюжетам литературной полемики и взаимоотношений между авторами и издателями, дискуссионным проблемам истории словесности и методологии истории, борьбе мнений относительно важнейших основ воспитания и образования.

Список литературы

1. Альбрехт М. История римской литературы от Андроника до Бозция и ее влияния на позднейшие эпохи: в 3 т. / пер. с нем. А. И. Любжина. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2005. Т. 3. С. 1403–2001.
2. Бадалян Д. А. Журнал «Московский наблюдатель», С. С. Уваров и московская цензура: к истории борьбы в русской периодической печати 1830-х гг. // Русско-Византийский вестник. 2021. № 2 (5). С. 106–129 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47309969_21961038.pdf (31.07.2025). DOI: 10.47132/2588-0276_2021_2_106. EDN: WQSUAR
3. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959.
4. Виноградов И. А. Славянофильство и западничество в споре о поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»: не востребованное и забытое // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 62–153 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/images/2020-1/Vinogradov_62-153.pdf (31.07.2025). DOI: 10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153. EDN: PNPJL
5. Виттекер Ц. Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время / пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. СПб.: Акад. проект, 1999. 350 с. (Сер.: Современная западная русистика.)
6. Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 2: Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник 1842–1845. 515 с.
7. Дементьев А. Г. Журналистика и критика сороковых годов (1840–1855) // Очерки по истории русской журналистики и критики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1950. Т. 1: XVIII век и первая половина XIX века. С. 437–485.
8. Ермичев А. А. Виссарион Григорьевич Белинский: против стереотипов // В. Г. Белинский: pro et contra: личность и творчество В. Г. Белинского в русской мысли (1848–2011): антология. СПб.: РХГА, 2011. С. 7–52. (Сер.: Русский путь.)
9. Каверин В. А. Барон Брамбеус: история Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929. 253 с. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/00199_000009_005403539?page=7&rotate=0&theme=white (31.07.2025).

10. Карпов А. А. «Анекдот о двух русских литераторах» // Русская литература. 2022. № 4. С. 136–143 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49841718_55385568.pdf (31.07.2025). DOI: 10.31860/0131-6095-2022-4-136-143. EDN: NSZGUT
11. Коллекция знаний. Книжное собрание Санкт-Петербургского государственного университета. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. 208 с.
12. Коровин В. Л. С. П. Шевырев — историк древней и новой русской литературы // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2024. № 5. С. 9–19 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.philol.msu.ru/issues/VMU_9_Philol__2024_05_1.pdf (31.07.2025). DOI: 10.55959/MSU0130-0075-9-2024-47-05-1. EDN: FVJNZT
13. Кошелев А. В., Кошелев В. А. «Какая-то усталость, утомление овладели им...» // Сенковский О. Собр. соч.: в 5 т. М.: Дмитрий Сечин, 2024. Т. 4: Идеальная красавица. С. 3–26. (а)
14. Кошелев А. В., Кошелев В. А. Комментарии // Сенковский О. Собр. соч.: в 5 т. М.: Дмитрий Сечин, 2024. Т. 4: Идеальная красавица. С. 685–792. (b)
15. Левашев Е. М., Тетерина Н. И. М. П. Мусоргский. «Иванова ночь на Лысой горе»: тексты и контексты: статья первая // Художественная культура. 2021. № 2 (37). С. 166–197 [Электронный ресурс]. URL: https://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/24d/hk_2021_2_166_197_levashhev_teterina.pdf (31.07.2025). DOI: 10.51678/2226-0072-2021-2-166-197. EDN: HEAOBJ
16. Левинская О. Л. «Ослиные» метаморфозы в античной беллетристике: Лукиан, Апулей и Луций из Патр // Вестник древней истории. 2002. № 1. С. 25–32 [Электронный ресурс]. URL: <http://vdi.igh.ru/system/articles/pdfs/000/001/247/original/870e40968025a240d88486ac19e24f106391fc30.pdf?1532356761> (31.07.2025).
17. Левинская О. Л. Античная Asinaria: история одного сюжета. М.: РГГУ, 2008. 204 с. (Сер.: Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности; вып. 21.)
18. Машинский С. И. Примечания // Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.; Л.: Сов. писатель, 1964. С. 545–608. (Сер.: Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.)
19. Николаев С. И. «Повесть о Лукиановом осле» в кругу переводных античных памятников Петровской эпохи // XVIII век. СПб.: Наука, 1991. Сб. 17. С. 135–159 [Электронный ресурс]. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/XVIII/Сборник_17_XVIII.pdf (31.07.2025).
20. Нилова А. Ю. Становление термина «поэзия» в отечественном литературоведении XVIII — первой половины XIX века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2023. Т. 45. № 3. С. 105–111 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_50419270_43685128.pdf (31.07.2025). DOI: 10.15393/uchz.art.2023.891. EDN: VOLVLR

21. Перцов Н. В., Пильщиков И. А. «Бессмертное поношение» (Об одном из последних бурлескных опытов Пушкина) // *Philologica*. 2003/2005. Т. 8. № 19/20. С. 57–88 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22734049_20704476.pdf (31.07.2025). EDN: TDMSMZ
22. Полонская К. Спор о Белинском // *Вопросы литературы*. 1968. № 6. С. 118–137.
23. [Прозоров П. И.] Систематический указатель книг и статей по греческой филологии, напечатанных в России с XVII столетия по 1892 год, на русском и иностранных языках. С прибавлением за 1893, 1894 и 1895 годы / сост. П. Прозоров. СПб.: Акад. наук, 1898. 374 с. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003122022?page=1&rotate=0&theme=white (31.07.2025).
24. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. 4-е изд. Л.: Наука, 1979. Т. 10: Письма. 711 с.
25. Ратников К. В. Холопы или собеседники? Профессорские вояжи в Поречье: идеологическая стратегия графа С. С. Уварова и его единомышленников. Челябинск: Околица, 2006. 236 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_19862662_50482919.pdf (31.07.2025). EDN: PBEXSV
26. Садыхова А. А. Повесть О. И. Сенковского «Смерть Шанфария»: перевод, пересказ или стилизация? // *Проблемы исторической поэтики*. 2023. Т. 21. № 1. С. 56–90 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1676983663.pdf (31.07.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2023.12002. EDN: CZLBHV
27. Смирнова Е. Л. Греко-римская древность на страницах журнала «Библиотека для чтения» в 1834–1840 гг. // *Scholé. Философское антиковедение и классическая традиция*. 2023. Т. 17. № 2. С. 1161–1195 [Электронный ресурс]. URL: <https://classics.nsu.ru/schole/assets/files/17-2-smirnova.pdf> (31.07.2025). DOI: 10.25205/1995-4328-2023-17-2-1161-1195. EDN: HIFETP
28. Стрельникова И. П. «Метаморфозы» Апулея // *Античный роман / под ред. М. Е. Грабарь-Пассек*. М.: Наука, 1969. С. 332–364.
29. Тихеев Ю. Платон в среде московских Любомудров // *Логос*. 2011. № 4 (83). С. 131–139 [Электронный ресурс]. URL: http://www.intelros.ru/pdf/logos/4_2011/9.pdf (31.07.2025). EDN: RVRFCN
30. Цветкова Н. В. Модель русской культуры в работах С. П. Шевырёва начала 1840-х годов // *Литературоведческий журнал*. 2022. № 1 (55). С. 32–54 [Электронный ресурс]. URL: http://litzhur.ru/files/elibrary_48204972_34227273.pdf (31.07.2025). DOI: 10.31249/litzhur/2022.55.02. EDN: GVECFG
31. Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. М.: Гослитиздат, 1947. Т. 3. С. 5–309.

32. Bowie E. *Literary Milieu // The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel* / ed. by T. Whitmarsh. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 17–38.
33. Mason H. *Greek and Latin Versions of the Ass-Story // Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1994. Bd. 34 (2). S. 1666–1707. DOI: 10.1515/9783110851403-018
34. Schwartz E. *Fünf Vorträge über den griechischen Roman*. Berlin: De Gruyter Mouton, 1943. 158 p.

References

1. Al'brekht M. *Istoriya rimskoy literatury ot Andronika do Boetsiya i eyo vliyaniya na pozdneyshie epokhi: v 3 tomakh* [History of Roman Literature from Andronicus to Boethius and Its Influence on Later Eras: in 3 Vols]. Moscow, Greko-latinskii kabinet Yu. A. Shichalina Publ., 2005, vol. 3, pp. 1403–2001. (In Russ.)
2. Badalyan D. A. “The Moscow Observer” Journal, S. S. Uvarov and Moscow Censorship: to the History of Struggle in the Russian Periodicals of the 1830s. In: *Russko-Vizantiyskiy vestnik* [Russian-Byzantine Herald], 2021, no. 2 (5), pp. 106–129. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_47309969_21961038.pdf (accessed on July 31, 2025). DOI: 10.47132/2588-0276_2021_2_106. EDN: WQSUAR (In Russ.)
3. Belinskiy V. G. *Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh* [The Complete Works: in 13 Vols]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1953–1959. (In Russ.)
4. Vinogradov I. A. Slavophilism v. Westernism in the Dispute About Nikolai Gogol's Novel “Dead Souls”: Unclaimed and Forgotten. In: *Dva veka russkoy klassiki* [Two Centuries of the Russian Classics], 2020, vol. 2, no. 1, pp. 62–153. Available at: https://rusklassika.ru/images/2020-1/Vinogradov_62-153.pdf (accessed on July 31, 2025). DOI: 10.22455/2686-7494-2020-2-1-62-153. EDN: PNPDL (In Russ.)
5. Whittaker C. H. *Graf Sergey Semenovich Uvarov i ego vremya* [Count Sergei Semenovich Uvarov and His Time]. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 1999. 350 p. (Ser.: Contemporary Western Russian Studies.) (In Russ.)
6. Herzen A. I. *Sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Collected Works: in 13 Vols]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1954, vol. 2: Articles and Feuilletons 1841–1846. Diary 1842–1845. 515 p. (In Russ.)
7. Dement'ev A. G. Journalism and Criticism of the Forties (1840–1855). In: *Ocherki po istorii russkoy zhurnalistiki i kritiki* [Essays on the History of Russian Journalism and Criticism]. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1950, vol. 1, pp. 437–485. (In Russ.)
8. Ermichev A. A. Vissarion Grigorievich Belinsky: Against Stereotypes. In: *V. G. Belinskiy: pro et contra: lichnost' i tvorchestvo V. G. Belinskogo v russkoy mysli (1848–2011): antologiya* [V. G. Belinsky: Pro et Contra: the Personality

- and Works of V. G. Belinsky in Russian Thought (1848–2011): an Anthology*. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2011, pp. 7–52. (Ser.: The Russian Way.) (In Russ.)
9. Kaverin V. A. *Baron Brambeus: istoriya Osipa Senkovskogo, zhurnalista, redaktora “Biblioteki dlya chteniya”* [Baron Brambeus: The Story of Osip Senkovsky, Journalist, Editor of “The Library for Reading”]. Leningrad, Izdatel'stvo pisateley v Leningrade Publ., 1929. 253 p. Available at: https://viewer.rusneb.ru/u/000199_000009_005403539?page=7&rotate=0&theme=white (accessed on July 31, 2025). (In Russ.)
 10. Karpov A. A. Anecdote About Two Russian Writers. In: *Russkaya literatura*, 2022, no. 4, pp. 136–143. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_49841718_55385568.pdf (accessed on July 31, 2025). DOI: 10.31860/0131-6095-2022-4-136-143. EDN: NSZGUT (In Russ.)
 11. *Kolleksiya znaniy: knizhnoe sobranie Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta* [Collection of Knowledge: the Book Collection of the St. Petersburg State University]. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2019. 208 p. (In Russ.)
 12. Korovin V. L. S. P. Shevyrev as a Historian of Ancient and Modern Russian Literature. In: *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya* [Lomonosov Philology Journal. Series 9: Philology], 2024, no. 5, pp. 9–19. Available at: https://vestnik.philol.msu.ru/issues/VMU_9_Philol__2024_05_1.pdf (accessed on July 31, 2025). DOI: 10.55959/MSU0130-0075-9-2024-47-05-1. EDN: FVJNZT (In Russ.)
 13. Koshelev A. V., Koshelev V. A. “A Kind of Fatigue, or Exhaustion Took Hold of Him...”. In: *Senkovskiy O. Sobranie sochineniy: v 5 tomakh* [Senkovsky O. The Collected Works: in 5 Vols]. Moscow, Dmitriy Sechin Publ., 2024, vol. 4, pp. 3–26. (In Russ.) (a)
 14. Koshelev A. V., Koshelev V. A. Comments. In: *Senkovskiy O. Sobranie sochineniy: v 5 tomakh* [Senkovsky O. The Collected Works: in 5 Vols]. Moscow, Dmitriy Sechin Publ., 2024, vol. 4, pp. 685–792. (In Russ.) (b)
 15. Levashev E. M., Teterina N. I. M. P. Mussorgsky. St. John's Eve on Bald Mountain: Texts and Contexts. Article One. In: *Khudozhestvennaya kul'tura* [Art and Culture Studies], 2021, no. 2, pp. 166–197. Available at: https://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/24d/hk_2021_2_166_197_levashev_teterina.pdf (accessed on July 31, 2025). EDN: HEAOBJ (In Russ.)
 16. Levinskaya O. L. Ass Metamorphoses in Greek and Roman Literature: Lucian, Apuleius, and Lucius of Patras. In: *Vestnik drevney istorii* [Journal of Ancient History], 2002, no. 1, pp. 25–32. Available at: <http://vdi.igh.ru/system/articles/pdfs/000/001/247/original/870e40968025a240d88486ac19e24f-106391fc30.pdf?1532356761> (accessed on July 31, 2025). (In Russ.)
 17. Levinskaya O. L. *Antichnaya Asinaria: istoriya odnogo syuzheta* [Ancient Asinaria: the History of a Plot]. Moscow, The Russian State University for

- the Humanities Publ., 2008. 204 p. (Ser.: *Orientalia et Classica: Papers of the Institute of Oriental and Classical Studies*; issue 21.) (In Russ.)
18. Mashinskiy S. I. Notes. In: *Poety kruzhdka N. V. Stankevicha [Poets of the N. V. Stankevich's Circle]*. Moscow, Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 1964, pp. 545–608. (Ser.: *The Poet's Library. Large Series. 2nd ed.*) (In Russ.)
 19. Nikolaev S. I. "The Tale of Lucian's Ass" in the Circle of Translated Classical Masterpieces in the Peter the Great Era. In: *XVIII vek [18th Century]*. St. Petersburg, Nauka Publ., 1991, collection 17, pp. 135–159. Available at: http://lib2.pushkinskiydom.ru/Media/Default/PDF/XVIII/Сборник_17_XVIII.pdf (accessed on July 31, 2025). (In Russ.)
 20. Nilova A. Yu. Formation of the Term "Poetry" in Russian Literary Studies of the 18th Century and the First Half of the 19th Century. In: *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of Petrozavodsk State University]*, 2023, vol. 45, no. 3, pp. 105–111. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_50419270_43685128.pdf (accessed on July 31, 2025). DOI: 10.15393/uchz.art.2023.891. EDN: VOLVLR (In Russ.)
 21. Pertsov N. V., Pil'shchikov I. A. "An Immortal Defamation" (On One of Pushkin's Last Burlesque Works). In: *Philologica*, 2003/2005, vol. 8, no. 19/20, pp. 57–88. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_22734049_20704476.pdf (accessed on July 31, 2025). EDN: TDMSMZ (In Russ.)
 22. Polonskaya K. Dispute About Belinsky. In: *Voprosy literatury*, 1968, no. 6, pp. 118–137. (In Russ.)
 23. Prozorov P. I. *Sistematicheskii ukazatel' knig i statey po grecheskoy filologii, napechatannykh v Rossii s XVII stoletiya po 1892 god na russkom i inostrannykh yazykakh. S pribavleniem za 1893, 1894 i 1895 gody [Systematic Index of Books and Articles on Greek Philology, Published in Russia from the 17th Century to 1892, in Russian and Foreign Languages. With Additions for 1893, 1894 and 1895]*. St. Petersburg, Academy of Sciences Publ., 1898. 374 p. Available at: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003122022?page=1&rotate=0&theme=white (accessed on July 31, 2025). (In Russ.)
 24. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 10 tomakh [The Complete Works: in 10 Vols]*. Leningrad, Nauka Publ., 1979, vol. 10: Letters. 711 p. (In Russ.)
 25. Ratnikov K. V. *Kholopy ili sobesedniki? Professorskie voyazhi v Porech'e: ideologicheskaya strategiya grafa S. S. Uvarova i ego edinomyshlennikov [Serves or Interlocutors? Professors' Voyages in Porechye: Ideological Strategy of Count S. S. Uvarov and His Associates]*. Chelyabinsk, Okolitsa Publ., 2006. 236 p. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_19862662_50482919.pdf (accessed on July 31, 2025). EDN: PBEXSV (In Russ.)
 26. Sadykhova A. A. The Short Novel "Šanfari's Death" by Józef Julian Sękowski: Translation, Retelling or Stylization? In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2023, vol. 21, no. 1, pp. 56–90. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1676983663.pdf (accessed on July 31, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2023.12002. EDN: CZLBHB (In Russ.)

27. Smirnova E. L. Greco-Roman Antiquity in “The Library for Reading” Journal of 1834–1840. In: *Schole. Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaya traditsiya* [Schole. Ancient Philosophy and the Classical Tradition], 2023, vol. 17, no. 2, pp. 1161–1195. Available at: <https://classics.nsu.ru/schole/assets/files/17-2-smirnova.pdf> (accessed on July 31, 2025). DOI: 10.25205/1995-4328-2023-17-2-1161-1195. EDN: HIFETP (In Russ.)
28. Strel'nikova I. P. “Metamorphoses” of Apuleius. In: *Antichnyy roman* [The Ancient Novel]. Moscow, Nauka Publ., 1969, pp. 332–364. (In Russ.)
29. Tikheev Yu. Plato Among Moscovite “Lovers of Wisdom”. In: *Logos*, 2011, no. 4 (83), pp. 131–139. Available at: http://www.intelros.ru/pdf/logos/4_2011/9.pdf (accessed on July 31, 2025). EDN: RVRFCH (In Russ.)
30. Tsvetkova N. V. Model of Russian Culture in S. P. Shevryov's Works of Early 1840s. In: *Literaturovedcheskiy zhurnal* [The Journal of Literary History and Theory], 2022, no. 1 (55), pp. 32–54. Available at: http://litzhur.ru/files/elibrary_48204972_34227273.pdf (accessed on July 31, 2025). DOI: 10.31249/litzhur/2022.55.02. EDN: GVECFG (In Russ.)
31. Chernyshevskiy N. G. Essays on Gogol's Period of Russian Literature. In: *Chernyshevskiy N. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 15 tomakh* [Chernyshevsky N. G. The Complete Works: in 15 Vols]. Moscow, Goslitizdat Publ., 1947, vol. 3, pp. 5–309. (In Russ.)
32. Bowie E. Literary Milieux. In: *The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel*. Cambridge, Cambridge University Press Publ., 2008, pp. 17–38. (In English)
33. Mason H. Greek and Latin Versions of the Ass-Story. In: *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* [The Rise and Fall of the Roman World]. Berlin, New York, Walter de Gruyter Publ., 1994, vol. 34 (2), pp. 1666–1707. DOI: 10.1515/9783110851403-018 (In English)
34. Schwartz E. *Fünf Vorträge über den griechischen Roman* [Five Lectures on the Greek Novel]. Berlin, De Gruyter Mouton Publ., 1943. 158 p. (In German)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Смирнова Екатерина Леонидовна, Ekaterina L. Smirnova, PhD (Historian), Associate Professor of the Department of Foreign History of the Institute of History, Political and Social Sciences, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, 185910, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0579-8774>; e-mail: esmirnova@petsru.ru.

Литинская Евгения Петровна, Evgeniya P. Litinskaya, PhD (Philologist), Associate Professor of the Department of Classical Literature, Russian Literature and Journalism of the Institute of Philology, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, 185910, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5901-7187>; e-mail: litgenia@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 30.08.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 30.10.2025

Принята к публикации / Accepted 01.11.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15802

EDN: GXYXFN



Беглый пугачёвец атаман Шука (об исторической основе одного предания)

С. Ю. Королёва^{1✉}, А. Б. Ипполитова²

¹ *Пермский государственный национальный
исследовательский университет
(г. Пермь, Российская Федерация)*

e-mail: petel@yandex.ru✉

² *Институт славяноведения,
Российская академия наук
(г. Москва, Российская Федерация)*

e-mail: alhip@yandex.ru

Аннотация. В фольклорных жанрах реальные имена, события и культурные факты включаются в стереотипные повествовательные структуры, которые иногда значительно древнее вставленных элементов. Эта особенность фольклорной поэтики не снимает вопроса о реальной основе конкретных сюжетов. Установление такой основы, в т. ч. через сопоставление с данными исторических документов, позволяет увидеть как работу уже известных повествовательных матриц, так и появление новых нарративных шаблонов. Материалом исследования, представленного в этой статье, послужили 30 вариантов преданий о первых жителях Шукинско-го починка — будущего русско-коми-пермяцкого села Кува в Пермском крае. Согласно наиболее популярной версии, основателями селения стали беглые пугачёвцы под предводительством атамана Шуки. От прозвища героя устная традиция производит название починка и распространенную кувинскую фамилию Шукин. Привлечение переписных документов показало, что фамилия действительно имеет местное происхождение. Как и селение, она возникла значительно раньше Пугачёвского восстания, но в предании в качестве точки отсчета выбирается узнаваемое событие «большой» истории. Одной из причин, по которой первые жители считаются бывшими пугачёвцами, разбойниками, беглыми солдатами или ссыльными, может быть документально подтвержденное наличие беглых крестьян и рекрутов среди жителей починка в середине XVIII в. Сюжет по-своему объясняет появление русских жителей на коми-пермяцкой земле и удлиняет время их пребывания на этой территории.

Ключевые слова: Урал, Емельян Пугачёв, фольклор, историзм, поэтика, предания, фольклорная генеалогия, писцовая книга, переписная книга, ревизская сказка, разбойник, первопоселенец

Для цитирования: Королёва С. Ю., Ипполитова А. Б. Беглый пугачёвец атаман Шука (об исторической основе одного предания) // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 71–96. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15802. EDN: GXYXFN

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15802

EDN: GXYXFN

The Fugitive Pugachevite Ataman Shchuka (on the Historical Foundation of One Legend)

Svetlana Yu. Korolyova¹✉, Aleksandra B. Ippolitova²

¹ Perm State University
(Perm, Russian Federation)

e-mail: petel@yandex.ru✉

² Institute of Slavic Studies,
Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russian Federation)

e-mail: alhip@yandex.ru

Abstract. In folklore genres, real names, events, and cultural facts are incorporated into stereotypical narrative structures that are sometimes much older than the inserted elements. This feature of folklore poetics does not eradicate the question of the real-life basis of particular plots. Establishing this basis, through comparison with cadastral and census documents among other things, allows us to see both the work of already known narrative matrices and the emergence of new narrative patterns. Data for this research includes 30 versions of legends about the first inhabitants of Shchukinsky Pochinok — the future Russian-Komi-Permyak village of Kuva in the Perm region. According to the most popular version, the founders of the village were the fugitive Pugachevites led by ataman Shchuka. From the hero's nickname, oral tradition derives the first name of the village and the surname Shchukin, common in Kuva. The comparison with census documents shows that the surname is indeed of local origin. Like the village, it arose much earlier than the Pugachev Rebellion, but in the legend, a recognizable event of the “big” history is chosen as a starting point. One of the reasons why the first inhabitants are considered to be former Pugachevites, robbers, runaway soldiers or exiled persons may be the documented presence of runaway peasants and recruits among the inhabitants of Shchukinsky Pochinok in the middle of the 18th century. The plot explains in its own way the appearance of Russian settlers on the Komi-Permyak land and extends the time of their stay in this territory.

Keywords: Ural, Emelyan Pugachev, folklore, historicism, poetics, legends, folklore genealogy, land register, census book, revision tale, robber, pioneer settler

For citation: Korolyova S. Yu., Ippolitova A. B. The Fugitive Pugachevite Ataman Shchuka (on the Historical Foundation of One Legend). In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [*The Problems of Historical Poetics*], 2025, vol. 23, no. 4, pp. 71–96. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15802. EDN: GXYXFN (In Russ.)

Современные исследования (квази)исторического фольклора

Часть русско-коми-пермяцкого села Кува́, расположенную на возвышенности, жители называют Щукино. В местной устной традиции бытуют предания, согласно которым задолго до появления села, возникшего при заводе, здесь уже существовал Щукинский починок. Основал его беглый пугачёвец атаман Щука со своими товарищами.

Можно ли говорить об исторической основе этого топонимического предания? И если да, до какой степени она может быть конкретизирована? На разных этапах развития фольклористического знания ответы на эти вопросы были бы различными. Если в начале прошлого века способность фольклора выступать в качестве исторического источника, пусть и специфического, почти не оспаривалась, то развитие структурной семиотики и последующих аналитических подходов показало, что устная традиция доносит «не столько информацию о прошлом, сколько матрицы общественного сознания, зачастую имеющие мифологический генезис» [Неклюдов, 2007: 77–78]. Обнаружилось, что историзм песенного эпоса, как и прозаических преданий, по большому счету заключается в том, что подлинные имена, топонимы и отдельные культурные реалии включаются в «весьма устойчивые и гораздо более древние повествовательные структуры» [Неклюдов, 2007: 79]. После этого «попытки соотнести фольклор и реальность на долгие годы стали выглядеть <...> антинаучными» [Белянин, Закревская: 61]. Задаваться вопросом, как именно устные тексты связаны с исторической действительностью, все еще считается не принятым [Белянин, Закревская: 63].

Однако вопрос о природе фольклорного (квази)историзма не был полностью исчерпан. Более того, сейчас интерес к этому аспекту фольклорной поэтики вновь усилился, в том числе под влиянием активно развивающихся смежных социогуманитарных направлений — исследований памяти, устной истории, изучения масс-медиа. Этим фактором отчасти определяются и актуальные аналитические ракурсы. Один из них направлен на выявление конкретных механизмов, превращающих воспоминания о пережитом событии и их пересказы в фольклорные сюжеты¹. Другой подход применяется к текстам о событиях и исторических лицах, относящихся к далекому прошлому (Степан Разин, бояре Романовы, Петр I и др.): в этом случае предметом изучения становятся использованные в повествовании готовые нарративные схемы [Неклюдов, 2016], [Захарова] и/или современные функции преданий [Куприянов, 2018a]. В таком аспекте могут рассматриваться не только аутентичные произведения, давно укорененные в локальном фольклоре, но и сюжеты, возникшие в последние десятилетия — сконструированные по запросу региональных элит, под влиянием брендинга территорий и иных текущих социокультурных процессов (курган *Олегова могила* у Старой Ладogi [Панченко, Петров, Селин], образ Рюрика в устной традиции российского Северо-Запада [Селин], фигура царицы Евдокии Стрешневой в современном фольклоре Калужской области [Куприянов, 2018b] и мн. др.).

В этой ситуации сопоставление преданий о локальных персонажах с историческими документами является тем подходом, который исследователи выбирают, кажется, нечасто. Между тем он показывает свою продуктивность, поскольку позволяет надежно подтвердить функционирование уже известных специалистам фольклорных повествовательных матриц, а также выявить новые. Даже отрицательный результат бывает показательным. Так, историк В. В. Кузнецов исследует тверское предание о «каком-то не то князе, не то богатыре Фоме», который жил в селе Фомино Городище и перекидывался

¹ Этот подход продуктивен, к примеру, по отношению к устным нарративам о Второй мировой войне ([Welzer], [Энгелькинг], [Белянин, Закревская]).

через реку палицами с богатыркой Аксиньей. Но ни одного фоминского князя с таким именем не обнаруживается [Кузнецов: 91–92]. Это может свидетельствовать либо о вымышленности персонажа, либо о фольклорной тенденции наделять «простых» основателей селений другим социальным статусом (обычно — более высоким). Изменение социальных характеристик героя-первопоселенца показано в исследовании Н. В. Петрова: анализ устных нарративов об основателе д. Исполиновка помог установить смену сословной (сын священника → купец, богатырь) и профессиональной (уездный писарь → лесник) принадлежности, произошедшей в фольклоре с вполне реальным человеком, жившим в Вологодской губернии во второй половине XIX в. [Петров]. В семейных нарративах переселенцев может сознательно заменяться исходная территория их проживания. На примере сюжета, бытующего в зоне коми-русских контактов, редкий случай выявил А. А. Чувьуров: два жителя севернорусского с. Усть-Цильма, основавшие новое селение, сохраняют в местных преданиях свои фамилии, но считаются выходцами из Сибири [Чувьуров: 83–87]. В коми-пермяцкой устной традиции сформировался свой набор сюжетов, связываемых с первоосельниками: строя дома, герои перебрасывают друг другу один топор, заканчивают жизнь «чудским» самопогребением в ямах и т. п. Привлечение документов показывает, однако, что даже в таких заведомо мифологизированных преданиях иногда сохраняются настоящие имена первых жителей. При этом реальные родственные связи заменяет один доминирующий мотив: первооснователи сел и деревень чаще всего считаются братьями ([Королёва, Четина: 142–147], [Королёва]).

Как и упомянутые выше работы, наше исследование нацелено на выявление исторической основы преданий об основании поселения. Материалом послужили сюжеты, бытующие в конкретной микролокальной традиции — фольклоре села Кува Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Основные записи были сделаны в 2022 и 2023 гг. в экспедиции Лаборатории теоретической и прикладной фольклористики ПГНИУ. Семейный рассказ о Щукинском починке и его первых жителях был записан в 2007 г. в экспедиции ПФИЦ УрО РАН (рук. А. В. Черных). Один текст извлечен из архивной рукописи, еще несколько

вариантов — из публикаций местных СМИ. Всего учтено 30 текстов. Для их анализа привлекаются документы 1623–1850 гг. — писцовые, переписные, ландратские книги и ревизские сказки. Большую помощь в работе с ними оказала краевед Светлана Николаевна Копытова, которой авторы выражают свою искреннюю признательность.

Нас интересует, какие факты фольклорной истории подтверждаются, а какие опровергаются документальными источниками. Привлечение переписных документов позволяет также предположить, по каким причинам сюжет о беглых пугачёвцах использовался местными жителями для рассказа о собственном прошлом. Устойчивость преданий заставляет задуматься и об актуальной прагматике этих устных нарративов.

Варианты преданий о Щукинском починке и их функции

Село Кува — бывший Кувинский чугуноплавильный завод, указ о его строительстве был подписан графом С. Г. Строгановым в 1852 г. Селение сразу формировалось как смешанное, с преобладанием русских жителей. Это были мастеровые с семьями, переселенные с Билимбаевского и других уральских строгановских заводов. Гораздо меньшую часть составляли иньвенские коми-пермяки — уроженцы соседних деревень. Документы подтверждают, что ко времени строительства предприятия там располагался починок Щукин. Он, в частности, значился в межевых книгах Иньвенской дачи 1792–1793 гг. как «селение с 4-мя дворами с 29 жителями обоего пола»². Завод просуществовал полвека и был закрыт из-за убыточности в 1909 г. Тем не менее в Куве долго сохранялась развитая для своего времени инфраструктура, работали артели, в советское время был колхоз и несколько мелких промышленных предприятий. В 1960-х гг. в селе проживало полторы тыс. чел., русское население преобладало. Постепенно ситуация изменилась. Сейчас в Куве около тысячи человек, она всё ещё считается русской, но основные ее жители — коми-пермяки, выходцы из бывших подзаводских деревень и их потомки. Заводское прошлое

² Кривощёков И. Я. Указатель к карте Соликамского уезда Пермской губернии. Екатеринбург: Тип. В. Н. Алексеева и П. Н. Галина, 1897. С. 84.

сохраняется в коллективной памяти кувинцев как своего рода «золотой век». Все эти подробности необходимы постольку, поскольку позволяют лучше понять роль интересующих нас преданий в устной традиции Кувы.

В полевых записях обнаруживается несколько версий, повествующих о появлении здесь первых жителей. Наиболее рационализированные (и, очевидно, поздние) нарративы учитывают заводское прошлое села. Основателями Щукинского починка иногда считают переселенных заводских рабочих:

«Щукинской починок раньше, там дальше Кува. Фамилия у них Шукины, из-за чего Шукины — я не знаю. <...> Может, приезжие какие-то были. Приехали сюда, когда вот завод тут был. Вначале здесь они, видимо, как бы открыли [поселение], а потом туда спустились»³.

В единичных случаях утверждается, что Щукино было названо в честь Гурия Малахеевича Щукина (1855–1935) — местного уроженца, заводского куренного смотрителя и садовода, причастного к закладке кувинских садов и лесопарков. Учитывая, что в XVIII в. Щукино уже существовало, оба эти варианта являются анахронизмами.

В большинстве рассказов основание починка относится к более отдаленному, дозаводскому времени. Промышленное предприятие появилось здесь поздно, в середине XIX в., так что подобные предания позволяют жителям Кувы удлинить историю своего села. Кроме того, в современной устной традиции нарративы о Щукинском починке манифестируют этническую принадлежность первопоселенцев (русские vs коми-пермяки), которую сегодняшние рассказчики считают «изначальной». Можно сказать, что фольклорная история ретроспективно выражает отношения между селом и окрестными деревнями: в преданиях починок — будущая Кува — либо возникает так же, как остальные селения, либо появляется необычным, исключительным образом, как бы изначально имея особую судьбу.

Версия «обычного» возникновения починка опирается на одну из самых популярных фольклорных ситуаций —

³ Щукина В. И., 1955 г. р., коми-пермячка, род. в д. Васюкова, прожив. в с. Кува; зап. в 2023 г.

основание соседних деревень братьями [Соколова, 1972: 211–212]. Но схема эта трансформируется: четыре брата-коми-пермяка, пришедших из какой-то местной деревни, становятся основателями одного селения:

«Это Шукинский починок тут был. Они тут все коми-пермяки были, русских-то вообще не было. Потом только, со временем [появились], а Шукинский починок — это коми-пермяцкий. Четыре домика было. <...> [А Шукины — это кто?] А вот четыре брата они были вроде бы. Вот они и это, тут жили, деревенские»⁴.

«Необычные» варианты базируются на другой известной фольклорной схеме, которая наделяет первожителей (одного или нескольких) особыми социальными признаками: они являются этническими «чужаками», считаются беглыми/сосланными с других территорий и т. п. По мнению Н. А. Криничной, ситуации, когда основателями селения выступает социально однородная группа, характерны для сравнительно поздних преданий, возникших в XVIII–XIX вв. [Криничная: 12–13]. В кувинском фольклоре таких версий две.

В семье, имевшей тесные связи с соседним Юрлинским районом, рассказывают, что будущее село основали московские стрельцы, сосланные на Урал Петром I:

«Петровские стрельцы были. Они чё-то там при Петре I заделали, и их сюда послали. И были только две избышки. А тут уж они в землянках сначала жили. <...> До Шукино еще тут жили. А потом уже людей-то стали посылать, руду-то нашли»⁵.

Сюжет о ссыльных/беглых стрельцах, отсылающий к стрелецкому бунту конца XVII в., широко бытует у русских-юрлинцев, однако в кувинской традиции он составляет «фольклорную маргиналию» в том смысле, что не воспринимается другими рассказчиками как «свой» и не воспроизводится ими.

Наиболее популярная версия, как уже говорилось, связывает возникновение Шукинского починка с более поздним

⁴ Чугаева Н. Д., 1961 г. р., коми-пермячка, род. в д. Васюкова, прожив. в с. Кува; зап. в 2023 г.

⁵ Малаховских Н. П., 1939 г. р., русская, род. и прожив. в с. Кува; зап. в 2022 г.

историческим событием — Пугачёвским восстанием (бунтом) 1773–1775 гг.:

«И вот один из наших старожиллов рассказывал, что будто бы — это легенда, конечно, — что пугачёвцы, они бежали в далекие леса, когда их Екатерина II разгромила, так скажем, это восстание, и здесь поселились. <...> И что первое поселение называлось Шишкóвичи. Типа, мол, очень много было сосен, шишки валяются... А потом, когда [тайное поселение] обнаружили, назвали Щукинский починок, потому что привел атаман Щука своих людей. Ну, сколько их там было человек, может, несколько, два, три, пять человек. Потом, может, обзавелись семьями, дети появились»⁶.

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва нашла широкое отражение в песенном и прозаическом фольклоре народов Поволжья и Урала. Тема эта изучена (см., напр.: [Соколова, 1953: 45–56]), в т. ч. на материале горнозаводских традиций [Ахметшин: 214–246]. В современных исследованиях разрабатываются некоторые частные ее аспекты ([Волков], [Фазлутдинов], [Кульсарина]). Кувинское предание о беглых пугачёвцах может быть названо периферийным элементом этой тематической области фольклора. События Пугачёвского восстания не коснулись северной части Пермской губернии (где была расположена будущая Кува), но в них были вовлечены южные территории: пугачёвцы осаждали Екатеринбург, Кунгур, Сысерть, взяли Осу и множество других селений. Восставших поддержали приписанные к заводам крестьяне (так, из одного только строгановского завода в Билимбае к войску Пугачёва присоединилось около трехсот мастеровых и рабочих). Часть предприятий была разрушена и лишь некоторые отбились от повстанцев⁷. Вовлеченность региона в драматичные события способствовала тому, что в устной традиции Урала *пугачёвское время* (*пугачёв год*, *пугачёвщина*) служили для населения одной из важных точек хронологического отсчета [Соколова, 1970: 113], [Чагин: 158–160].

⁶ Кладов А. М., 1957 г. р., русский, род. и прожив. в с. Кува; зап. в 2023 г.

⁷ Металлургические заводы Урала в XVII–XX вв.: энциклопедия / гл. ред. В. В. Алексеев. Екатеринбург: Академкнига, 2001. С. 33, 41, 71, 95, 406, 445, 468, 522–523.

Предания о том, что беглые участники Пугачёвских походов скрывались в том или ином месте и/или стали основателями деревень, известны по всему Пермскому Прикамью и на соседних территориях⁸. В какой-то мере они опираются на исторические факты. После подавления восстания и казни Пугачёва с его ближайшими помощниками преследование бывших повстанцев по приказу императрицы было прекращено⁹. Но это не избавляло их от социальной стигматизации (клеймо «изменников» сторонники Пугачёва и их потомки носили даже в середине XIX в.) [Чагин: 158]. Естественно, что многие из них воспользовались возможностью «затеряться» на окраинных территориях.

В одном из кувинских вариантов предание о беглом атамане Щуке оказывается частью семейной истории:

«Первые поселенцы здешних мест были Щукины. Где школа, там микрорайон Щукино называется. <...> Первые поселенцы были предки моих родителей. Там стояли три дома. Примерно после разгрома Пугачёва <...>. Его команда разбежалась. Атаман Щука у них был, эти щукинцы поселились в этих краях. Они, видимо, уральские тоже были, в свои места подались, в необжитые лесные места»¹⁰.

В семейных преданиях родоначальник нередко считается переселенцем, создателем фамилии, а также производного от его имени или прозвища топонима — географического названия, как бы утверждающего единство рода и поселения. Точкой отсчета, с которой связывается жизнь предка, может выступить известное событие, особенно если оно обеспечивает причастность семейного героя к какой-либо исторической личности [Разумова: 198, 206, 243, 313]. Черты, типичные для семейных нарративов, присутствуют и в этом рассказе об атамане Щуке.

⁸ См., к примеру, вятские варианты: История Вятского края в преданиях, легендах и песнях / сост. А. А. Ивановой. М.: Изд-во Московского гос. ун-та, 2006. № 158, 159. С. 50–51.

⁹ Указ не распространялся на крепостных, а беглым солдатам и государственным крестьянам предписывал в отведенные сроки вернуться на место службы или прежнего проживания [Александр: 144–145].

¹⁰ Козлов М. А., 1931 г. р., коми-пермяк, прожив. в с. Кува; зап. А. В. Черных в 2007 г.

Устойчивость кувинского сюжета может объясняться тем, что в советское время Пугачёвское восстание и его предводители героизировались. Сегодня поддерживающим фактором является узнаваемость исторического события, известного как минимум из школьных курсов истории и литературы (например, «Капитанской дочки» А. С. Пушкина). Самые развернутые варианты предания записаны от выходца из семьи потомственных заводчан. Рассказчица унаследовала сказительский талант от бабушки, в репертуаре которой были сказки и поучительные истории, поэтому повествование об атамане Щуке обрастает у нее множеством подробностей (в т. ч. почерпнутых из литературы). Появляется в нем и четко выраженный конфликт: жители соседней коми-пермяцкой деревни не хотят, чтоб пришлый русский Щука и его брат женились на местных девушках:

«А вот мне бабушка рассказывала, <...> что это еще со времен Пугачёва все было. <...> И когда по распоряжению Екатерины II царская охранка их здесь всех разогнала. И Пугачёва на лобном месте в Москве, значит, четвертовали там, отрубили ему голову, казнили. <...> И вот есть такое предположение, что некие казаки приехали, прибежали через леса. Поскольку здесь были непроходимые леса, топи. <...> И были два брата, видно, по прозвищу Щука [был] атаман. И вот они обосновались как раз вот в том месте, на холме. <...> Вокруг были деревни, это места поселений коми-пермяков. <...> И девушки-то начали на них заглядываться, что какие-то интересные люди появились. Совершенно иного воспитания, иной культуры. И, значит, поскольку они два молодца, видимо, были, они стали девушек присватывать. И у них возникло как бы такое соперничество. У коми-пермяцких мальчиков, мужчин, вот с этими поселенцами. <...> И, значит, пошли вот войной, войнушкой на этих на двух. Тогда вышел атаман Щука и сказал: "Братья мои, мы пришли к вам надолго. Давайте будем мириться, да дружиться, да родниться. И будем мы с вами два дружных народа. Мы отсюда никуда не уйдём, вы не надейтесь. А давайте выдайте за нас девушек своих, и будем мы жить мирно и благополучно, и, значит, детей растить и дальше это поселение развивать". <...> И потом как раз один брат тут поселился, в Щукино, а второй брат женился и перешел туда [в коми-пермяцкую деревню Вая-Пашню]. И там тоже очень много Щукиных»¹¹.

¹¹ Россомагина В. Б., 1948 г. р., русская, род. в с. Кува, прожив. в г. Кудымкар; зап. в 2022 г.

По предположению рассказчицы, именно братья или их потомки нашли местную руду, что в дальнейшем привело к строительству завода.

В этой версии множество примечательных деталей. Пугачёвцы оказываются братьями. Они не простые крестьяне, а казаки (повышение социального статуса) и по сути «культурные герои». Роль культуртрегеров подчеркивается мотивом *terra nullius* — «ничейной земли», «пустой» не только в физическом (незаселенность), но и в культурном смысле [Эткинд*: 144–148]¹²: беглые русские строят дом там, где до них была непроходимая тайга и топи (этот мотив неоднократно встречается и в других кувинских рассказах о Щукинском починке¹³). Возникший матримониальный конфликт имеет этническую подоплеку, но разрешается призывом к объединению и дружбе народов («*И будем мы с вами два дружных народа*»). Отдельные детали можно считать проявлением индивидуального творчества рассказчицы. Но в целом этот нарратив не расходится с традицией, отражая коллективные идеи и ценности местного сообщества и выполняя тем самым одну из значимых функций фольклора ([Stern: 9, 22], [Bell: 69–70]).

В рассмотренных фольклорных текстах фигура Емельяна Пугачёва играет служебную роль: он выступает как временной маркер, указывающий на возможный период возникновения селения, и связывает Куву с «большой» историей. Далекое прошлое важно для рассказчиков постольку, поскольку помещается ими в актуальный контекст — на этот механизм исследователи указывали уже не раз ([Assmann: 130], [Bird: 522]). Сюжет о беглых пугачёвцах на самом деле объясняет настоящее, а именно наличие русского села на коми-пермяцких землях. Предание создает «фольклорный прецедент» первого

¹² *А. М. Эткинд внесен Министерством юстиции России в список иностранных агентов.

¹³ Вот еще примеры его выражения: «*А здесь вообще никто не жил*»; «*Здесь еще ничего не было на Урале-то*»; «*А здесь была тайга сплошная, вечная*»; «*Здесь вообще пустые земли [были], даже Пётр I не знал, что тут земли какие-то такие*»; «*Здесь было когда-то вообще болото на этом месте*»; «*Здесь дебри такие были, никто тут не жил. Два дома построили, и потом завод сделали, руду добывали*» и т. д. «Настоящая» культура, согласно этой точке зрения, приходит сюда только вместе с русскими жителями и строительством завода.

появления русских жителей, сдвигая приход глубже в прошлое и как бы придавая их пребыванию здесь дополнительную легитимность.

Историческая основа преданий о Щукинском починке

Привлечение переписных документов позволяет выяснить, в какую эпоху на самом деле возник починок и как звали его первых жителей¹⁴. Оказывается, это селение имеет более давнюю историю, чем утверждает устная традиция. Впервые оно упоминается в переписной книге 1716 г. как безымянный «*починок за Кувой речкой*». В селении два двора, и оба пустуют:

«Двор пуст Дмитрея Артемьева сына Ладанова. Он, Дмитрий, з детьми Ильею, Григорьем и со внуком Яковом, с Ъриною, женою Авдотьею и з детьми ево Васильем, Катериною, Татьяною, з Григорьевою женою Авдотьею и з дочерью ево Агафьею <...> скитаются в мире. Двор пуст бобыля Федора Иванова сына Беляева з женою Марьею и з детьми Максимом, Леонтьем, Татьяною, Татьяною ж, Матроною, Прасковьею бежал в 713-м году»¹⁵.

Упоминание беглой семьи указывает на то, что починок существовал уже в 1713 г. — то есть за 60 лет до Пугачёвского восстания. Его первыми жителями, отразившимися в документе, были семьи Ладановых и Беляевых. Щукины среди первопоселенцев не упомянуты.

В переписи, проведенной четыре года спустя, в 1720 г., обе семьи вновь числятся в починке за Кувой речкой. Вместе

¹⁴ Эта часть исследования, проведенная авторами статьи совместно с С. Н. Копытовой, в популярной форме представлена на краеведческом сайте «История Кувы»: [Копытова С. Н.] Эволюция топонима: от починка за Кувой речкой до Кувинского завода // История Кувы [Электронный ресурс]. URL: <https://kuvahistory.ru/categories/culture/geografiya/evolyufiya-toponima-ot-pochinka-za-kuvoy-rechkoj-do-kuvinskogo-zavoda/> (25.01.2025).

¹⁵ Книга переписная церковнослужителей, подъячих, приказчиков, крестьян, варнишных работников соленных промыслов, половников, подварников и другого населения вотчин именитых людей Строгановых в Соликамском уезде // РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376. Ч. II. Л. 1037 об. Для удобства читателей здесь и далее документы цитируются в упрощенной орфографии: вышедшие из употребления буквы заменяются современными, Ъ в конце слов опускается, титла раскрываются, выносные буквы вносятся в строку. Буквенное обозначение чисел заменено цифрами. Знаки препинания расставлены по нормам современной пунктуации.

с ними указаны и пять новых семейств: Чюгаевы, Тупицыны, Надымовы и две семьи по фамилии Щукины¹⁶. Селение растёт медленно, состав фамилий меняется. Постепенно там остаются только родственные семьи, все члены которых носят одну фамилию — Щукины. По всей видимости, это и стало причиной, по которой в ревизской сказке 1782 г. появляется второе название: *починок за Кувой рекой, она <так!> же Щукина*¹⁷. Починок разрастается до небольшой деревни и позднее составляет ядро заводского поселка. В неофициальном обиходе Кувинский завод продолжает называться Щукино даже в конце XIX в.¹⁸

Согласно кувинским преданиям, основатели починка были русскими. Найти подтверждение или опровержение этого утверждения в переписях невозможно, поскольку этническая принадлежность православного населения в них не указывалась. Кем были первопоселенцы Ладановы и Беляевы, а также первые пришедшие сюда Щукины, неизвестно. В краеведческих и исторических публикациях о Кувинском заводе, отражающих ситуацию середины XIX в., Щукино упоминается среди коми-пермяцких деревень¹⁹.

Важное место в фольклорной истории села занимает топонимический мотив. В большинстве текстов название починка выводится из прозвища или фамилии первопоселенца: «*А потом уже основатель-то этого села был атаман Щука. И оттуда Щукино пошло*»; «*И вот поселились там два брата по прозвищу Щука. <...> И от этого пошло название Щукинское поселение*»; «*около маленькой речки и решили устроить себе приют беглецы Щукины. <...> В честь первых жителей этой деревни, она называлась Щукино*» и т. п. В. К. Соколова отмечает, что в преданиях подобный тип объяснения топонимов самый

¹⁶ Сказки о государственных черносошных, монастырских крестьянах и крестьянах баронов Строгановых <...> Соликамского у. [Первая ревизия. 1720] // РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3300. Л. 559 об., 560.

¹⁷ Ревизские сказки 1782 г. Пермского наместничества Соликамской округи <...> вотчин графа А. С. Строганова о состоящих дворовых людях, промысловых работниках и крестьянах. [Четвертая ревизия] // ГАПК. Ф. 13. Оп. 1. Д. 31. Л. 659.

¹⁸ Кривощёков И. Я. Указатель к карте Соликамского уезда Пермской губернии... С. 84.

¹⁹ Там же. С. 84; Металлургические заводы Урала в XVII–XX вв. С. 279.

частотный и, по-видимому, самый древний. Он оказывается и наиболее достоверным, хотя в сюжетной части таких историй много вымысла [Соколова, 1972: 208, 211, 232]. В случае со Шукинским починком ревизские сказки подтверждают отантропонимическое происхождение названия, но фамилия, которая легла в его основу, принадлежит не первооснователям селения, а группе родственных семей, какое-то время единолично там хозяйствовавших. В XVI–XIX вв. у популярности отыменных топонимов имелась сугубо прагматическая причина. Использование земли, рек и озер облагалось оброком или податью, что требовало их точного учета; для удобства названия поселений и угодий в переписи нередко приводились в соответствие с именами, прозвищами или фамилиями владельцев земельных участков [Полякова: 8]. Именно это и произошло со Шукинским починком.

Еще один мотив, присутствующий в кувинских преданиях, касается фамилии *Шукин*. Считается, что она произошла от прозвища *Шука* уже после того, как его носитель обосновался на здешней земле. Фамилия эта до сих пор широко распространена в селе и окрестностях. Однако она могла прийти сюда вместе со своими владельцами «в готовом виде». Был ли у фольклорного *атамана Шуки* реальный прототип — носитель прозвища, тоже помогают установить писцовые и переписные книги²⁰.

Будущий Шукинский починок впервые упоминается в 1716 г., но история местного рода Шукиных начинается значительно раньше. В писцовой книге 1623–1624 гг. фигурирует «*деревня Кува, Утева тож, на реке на Куве*» (современное село Отево²¹), а среди ее жителей числится некто *Васка Тимофеев*²² — это и есть будущий родоначальник интересующего нас семейства.

²⁰ Атаман Шука был среди донских казаков — участников Булавинского восстания 1707–1708 гг. Но слишком большая географическая удаленность говорит о том, что совпадение случайно и нужного носителя прозвища необходимо искать ближе.

²¹ Расстояние между Отево и Кувой составляет 23,6 км по прямой, см. *Илл. 1*.

²² Список с переписных книг городов Соликамска и Чердыни с уездами, учинённых писцами Иваном Яхонтовым 7087 (1579) и Михайлом Кайсаровым с товарищи 7131 и 7132 (1623 и 1624) годов // РГБ. Ф. 256. Д. 308. Л. 143 об.

Прозвища у него пока нет, либо оно не нашло отражения в документе. В переписной книге 1647 г. рядом с Утевой указан новый «починок Новоселок ис тое ж Утевы деревни», и первым в списке жителей значится тот же крестьянин *Васка Тимофеев сын Шука*²³ — теперь уже с прозвищем. Как видим, этот человек жил гораздо раньше, чем утверждают кувинские предания, — в середине XVII в., более чем за сто лет до Пугачёвского восстания, — и в другом селении. В переписной книге 1678 г. находим сына Васки Шуки:

*«Починок на роднике за полем, а в нем во дворе Петрушка Васильев сын Шукин. У него дети Ивашка да Спирка. У Ивашки дети Ивашка ж 14 [лет] да Микитка 3 [года]. У него ж, Петрушки, внук Никитка Петров сын Шукин»*²⁴.

Прозвище отца становится фамилией сына, внуков и правнуков, происходит это в последней трети XVII в. Семью можно считать местной, она проживает относительно недалеко от той территории, где позднее возникнет Шукино.

Почему же первый Шукин, перебравшийся в будущую Куву, считается участником Пугачёвского восстания? И можно ли реконструировать возможные причины, по которым кувинцы для рассказа о начале своего села используют фольклорные образы сосланных стрельцов / беглых рекрутов / беглых ссыльных / разбойников / пугачёвцев? Для этого проследим последующие перипетии, отразившиеся в переписях.

До 1713 г. Шукины так и проживают в починок у родника на Заполье, а потом разделяются. Ландратские книги 1716 г. фиксируют, что семья Ивана Петрова сына Шукина остается на прежнем месте. Но его племянника здесь больше нет:

*«Двор пуст Никифора Петрова сына Шукина, з женою Федорою и з детьми Стефаном, Стафеем, Григорьем, Понкрантьем, Павлом, Прасковьею, Маврою бежал в 713-м году»*²⁵.

²³ Переписная книга воеводы Прокопья Козмича Елизарова 7155 (1647) г. по вотчинам Строгановых // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 474. Л. 204.

²⁴ Переписная книга г. Соликамска и Соликамского уезда, переписи Ф. Бельского [1678] // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 442. Л. 756 об.

²⁵ Ландратские книги по Соликамскому уезду [1716] // РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376. Л. 1030.



Илл. 1. Фрагмент карты, на которой отмечены Кувинский завод, села Отевское и Кудымкарское.

Инвьевский лесной округ. Владения его сиятельства графа С. А. Строганова. 1903–1904 гг., сост. съемщик С. Никулин.
Из картографической коллекции И. Я. Кривошекова.
Музей истории ПГНИУ

Fig. 1. Fragment of a map showing the Kuvinsky plant, villages Otevsкое and Kudymkarsкое.
Invensky forest district. Patrimony of His Excellency Count S. A. Stroganov. 1903–1904, cartographer S. Nikulin.
From the cartographic collection of I. Ya. Krivoshchekov.
Perm State University

Правнук Васки Щуки сбежал в поисках лучшей доли и обосновался в другом селении — том самом починке за Кувой речкой, который основали семьи Ладановых и Беляевых. Беглецы обнаруживаются в первой ревизской сказке 1720 г.:

«Никифор Петров сын Щукин, сорока лет. У него дети Стефан, двадцати года, Стафий, пятнадцати, Григорей, тринадцати, Панкратей, десяти, Павел, семи лет»²⁶.

Также в починке живут семьи Ладановых, Беляевых, Чюгаевых, Тупицыных, Надымовых.

²⁶ Сказки о государственных черносошных, монастырских крестьянах и крестьянах баронов Строгановых <...> Соликамского у. // РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3300. Л. 596.

Третья ревизская сказка показывает, что в промежутке между 1748 и 1762 гг. в селении, где проживают Щукины, происходит несколько драматических событий. Из деревни сбегает три брата Угрюмовых, 22-х, 14-и и 8-и лет. Крестьянин Конан Тупицын, 24-х лет, отдан в рекруты. Молодой парень Тимофей Чюгаев «сослан по делу по указу в [с]сылку». Родившийся сиротой Мартемьян Чюгаев «переведен в Сибирскую губернию на Билимбаинской <...> завод». Такая же участь выпадает Козме Евстафьеву сыну Щукину, отправленному на другой строгановский завод — Саткинский²⁷. Для деревни, где жило всего 20 мужчин (включая детей), концентрация неординарных событий довольно высокая. Ревизия, проведенная 20 лет спустя, также фиксирует несколько происшествий. Два жителя починка отданы в рекруты. Но есть и пополнение: в селение приехала семья *Тихона Савина сына Щукина, «бывшего в переводе из одного села Сибирской губернии на Билимбаинском <...> заводе и оттоль отпущенном за старостию»*²⁸. Бывший рабочий строгановского завода принадлежал к той ветви Щукиных, которая осталась в починке у родника на Заполье, но под старость приехал жить туда, куда постепенно перебрались все его родственники. Проведя часть жизни при уральском заводе, Тихон Щукин и его семейство, по всей видимости, должны были испытать влияние заводской культуры и в какой-то мере «обрусеть». Их переселение с другой стороны Уральских гор произошло не позднее 1773 г., до Пугачёвского восстания. Не исключено, что в дальнейшем появление новой семьи Щукиных было переосмыслено местным сообществом в категориях фольклорного нарратива (как приход «беглых», «пугачёвцев» и т. п.).

Итак, в истории Щукинского починка был своего рода кризисный период, когда среди жителей появились переведенные на завод, отданные в рекруты, отправленные в ссылку и беглые крестьяне. Это может служить объяснением, почему в преданиях первопоселенцы наделяются маргинальным

²⁷ Сказки о помещичьих крестьянах Строганова, рабочих и мастеровых людях железоделательных и медных заводов Строганова <...> Соликамского у. // РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3319. Л. 341–342.

²⁸ Ревизские сказки 1782 г. Пермского наместничества Соликамской округи вотчин графа А. С. Строганова <...> // ГАПК. Ф. 13. Оп. 1. Д. 31. Л. 659–662.

социальным статусом, соотносящимся с реальными случаями из жизни селения и в то же время хорошо освоенным фольклором. В 1948 г. от старожилов записаны варианты, в которых первыми жителями названы беглые Щукины — либо из «солдат, которым надоела солдатская служба», либо из «ссылных в Сибирь и на Урал в рудники»²⁹. В некоторых текстах Щука — простой разбойник:

«Был какой-то разбойник Щука. Гулял он так по лесам, как говорится, ну, вот здесь и остановился. Вот первые домики-то он и построил здесь и назвал, название-то ему дали Щукинский починок»³⁰.

Персонажами этого же ряда являются беглые пугачёвцы — с тем важным отличием, что связь их с местными топонимом позволяет «представить окружающий ландшафт как арену, где разворачиваются те или иные исторические события» [Березович: 204].

Память о случаях, нарушающих обычный ход жизни, должна была закрепиться в устной традиции локального сообщества, но при этом не могла сохранить фактографическую точность. Механизмы фольклорной трансмиссии нацелены на передачу «не столько информации о подлинных лицах и событиях, сколько заключенных в фольклорных рассказах сообщений "культурной памяти", отобранных, структурированных и интерпретированных в соответствии с матрицами коллективного сознания своей эпохи» [Неклюдов, 2016: 15]. По этой причине народная (фольклорная) история — это всегда история символическая: локальные (квази)исторические нарративы гораздо больше говорят не о фактах прошлого, а о том, «как люди формируют свое чувство места и культурную идентичность» [Bird: 519, 542–543]. И здесь снова нужно вспомнить, что предания об основании Щукинского починка бытовали в смешанном русско-коми-пермяцком селении при Кувинском заводе. Можно предположить, что образ беглых пугачёвцев был

²⁹ История села Кувы. Воспоминания старожилов села Кувы Кудымкарского района, записанные воспитанником Юмского детдома // Коми-Пермяцкий окружной государственный архив. Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 30. Л. 2 об., 3.

³⁰ Чакилева Т. В., 1960 г. р., род. и прожив. в с. Кува; зап. в 2023 г.

особенно близок русским заводчанам: большинство из них были выходцами из Билимбая, который в годы бунта был взят повстанцами. Для тех же, кто жил на берегу Кувы до массового прихода сюда русских семей (и появления новых, «чужих» фамилий), было важно сохранить память о своем поселении как более раннем, а о фамилии Щукины — как сугубо местной, исконной. По-видимому, обе эти интенции и смогли найти воплощение в устном предании о беглом пугачёвце — атамане Щуке.

Список литературы

1. Александер Дж. Т. Емельян Пугачёв и крестьянское восстание на окраине России в 1773–1775 гг. Уфа: Галиуллин Д. А., 2011. 164 с. (Сер.: Башкортостан в зарубежных исследованиях.)
2. Ахметшин Б. Г. Горнозаводской фольклор Башкортостана и Урала. Уфа: Китап, 2001. 287 с.
3. Белянин С. В., Закревская Е. А. Как история становится фольклором: механизмы фольклоризации историй о войне и холокосте // Фольклор: структура, типология, семиотика. 2023. Т. 6. № 3. С. 61–87 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_54801745_11272714.pdf (01.03.2025). DOI: 10.28995/2658-5294-2023-6-3-61-87. EDN: PPHGKV
4. Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Мифопоэтический образ пространства. М.: КомКнига, 2010. 238 с. EDN: PXCWZR
5. Волков Е. В. К вопросу об участии оренбургских казаков в Пугачёвском восстании: историография и фольклор // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. 2024. Т. 24. № 2. С. 6–13 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_65633579_74819009.pdf (01.03.2025). DOI: 10.14529/ssh240201. EDN: XNLLXI
6. Захарова О. В. Петр I в преданиях XVIII–XX вв.: сюжеты, мотивы, проблема жанра // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 75–87 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44701606_93847329.pdf (01.03.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9202. EDN: PMKZWS
7. Королёва С. Ю. Антропонимы в фольклорных преданиях о первопоселенцах (на материале Северного Прикамья) // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: мат-лы V Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 07–11 сентября 2022 г.) / отв. ред. О. Д. Сурикова. Екатеринбург: УрФУ, 2022. С. 134–140 [Электронный ресурс]. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/116961/1/978-5-7996-3508-4_2022_024.pdf (01.03.2025). EDN: FYKYWO
8. Королёва С. Ю., Четина Е. М. Юкся, Пукся, Бора, Мока и другие «чудские родители» (о почитании первых насельников Верхнего Прикамья) // Арт. 2016. № 3. С. 131–150. EDN: UKNZUF

9. Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб.: Наука, 1991. 325, [2] с. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/pre/dan/iya/1.htm#2> (01.03.2025).
10. Кузнецов В. В. Существовал ли верхневолжский эпос? // Древняя Тверь — реальная и книжная / отв. ред. М. В. Строганов. Тверь: Научная книга, 2006. С. 90–103.
11. Кульсарина И. Г. Мотивы и образы башкирских исторических преданий и легенд в русской литературе XX века // Вестник Башкирского университета. 2011. Т. 16. № 4. С. 1282–1286 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_17315436_55827767.pdf (01.03.2025). EDN: OOXTNB
12. Куприянов П. С. Бояре Романовы в «исторической памяти»: опыт полевого исследования // Жизнь и научный путь этнографа: мат-лы чтений памяти И. В. Власовой / отв. ред. А. В. Буганов, А. В. Фролова. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2018. С. 144–163. (a)
13. Куприянов П. С. Исторический персонаж как локальный бренд, или Сказочная история Дуняши Стрешневой // Воображаемая территория: от локальной идентичности до бренда / отв. ред. Н. В. Петров. М.: Неолит, 2018. С. 107–133 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41233316_81495950.pdf (01.03.2025). EDN: GQRRWJ (b)
14. Неклюдов С. Ю. Заметки об «исторической памяти» в фольклоре // АБ-60: сб. ст. к 60-летию А. К. Байбурина / ред. Н. Б. Вахтин, Г. А. Левинтон. СПб.: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге, 2007. С. 77–86. (Сер.: Studia Ethnologica.) EDN: PHDKGX
15. Неклюдов С. Ю. Легенда о Разине: персидская княжна и другие сюжеты. М.: Индрик, 2016. 552 с. (Сер.: Литература как традиция; 2.)
16. Панченко А. А., Петров Н. И., Селин А. А. «Дружина пирует у берега...»: на границе научного и мифологического мировоззрения // Русский фольклор: мат-лы и исслед. / отв. ред. А. Н. Розов. СПб.: Наука, 1999. Т. 30. С. 82–91. EDN: BSHWG
17. Петров Н. В. Дело об Исполине: история нарратива, человека и праздника // Genius Loci: сб. ст. в честь 75-летия С. Ю. Неклюдова / отв. ред. О. Б. Христофорова. М.: Форум, 2016. С. 404–434. (Сер.: Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика.) EDN: TQHFHL
18. Полякова Е. Н. Развитие пермских отыменных топонимов в Прикамье XVI–XVII вв. (по материалам писцовых и переписных книг) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. № 4 (10). С. 7–16 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_15124034_58203561.pdf (01.03.2025). EDN: MSYYID
19. Разумова И. А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М.: Индрик, 2001. 374 с. EDN: YGVOVN
20. Селин А. А. Образ Рюрика в современном пространстве Северо-Запада России // Историческая экспертиза. 2016. № 4. С. 89–110. EDN: XWVIAZ

21. Соколова В. К. Песни и предания о крестьянских восстаниях Разина и Пугачева // Русское народно-поэтическое творчество: мат-лы для изучения общественно-политических воззрений народа / [отв. ред. В. К. Соколова, В. И. Чичеров]. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 17–56. (Сер.: Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия; т. 20.)
22. Соколова В. К. Русские исторические предания. М.: Наука, 1970. 288 с.
23. Соколова В. К. Типы восточнославянских топонимических преданий // Славянский фольклор: [сб. ст.] / отв. ред. Б. Н. Путилов, В. К. Соколова. М.: Наука, 1972. С. 202–233.
24. Фазлутдинов И. И. Образ Емельяна Пугачева в татарском историческом фольклоре // Филология и культура. 2024. № 2 (76). С. 214–219 [Электронный ресурс]. URL: <https://filkult.elpub.ru/jour/article/view/632/513> (01.03.2025). DOI: 10.26907/2782-4756-2024-76-2-214-219. EDN: DBEBNN
25. Чагин Г. Н. Исторические знания народов Урала в XIX — начале XXI века. Екатеринбург: Сократ, 2011. 256 с. EDN: QPVZPR
26. Чувьюров А. А. Историческая память в преданиях о первопоселенцах верхнепечорских коми // Словесность и история. 2020. № 2. С. 80–95 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44049015_31852853.pdf (01.03.2025). DOI: 10.31860/2712-7591-2020-2-80-95. EDN: KITTRL
27. Энгелькинг А. Сказ полесского села, или О фольклоризации памяти о Второй мировой войне // Славяноведение. 2018. № 6. С. 27–46 [Электронный ресурс]. URL: <https://ras.jes.su/slav/s207987840000997-5-1-en> (01.03.2025). DOI: 10.31857/S0869544X0001763-2. EDN: YQJRDV
28. Эткинд А. М. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: НЛО, 2013. 448 с.
29. Assmann J. Collective Memory and Cultural Identity // *New German Critique*. 1995. No. 65. С. 125–133 [Электронный ресурс]. URL: <https://dn790000.ca.archive.org/0/items/CollectiveMemoryAndCulturalIdentity/Collective%20Memory%20and%20Cultural%20Identity.pdf> (01.03.2025).
30. Bell D. S. A. Mythscape: Memory, Mythology, and National Identity // *British Journal of Sociology*. 2003. Vol. 54. No. 1. P. 63–81. DOI: 10.1080/0007131032000045905. EDN: DZBSBT
31. Bird S. E. It Makes Sense to Us: Cultural Identity in Local Legends of Place // *Journal of Contemporary Ethnography*. 2002. Vol. 31. No. 5. P. 519–547. DOI: 10.1177/089124102236541. EDN: JNEADF
32. Stern S. Ethnic Folklore and the Folklore of Ethnicity // *Studies in Folklore and Ethnicity*. 1977. Vol. 36. No. 1. P. 7–32. DOI: 10.2307/1498212
33. Welzer H. Re-Narrations: How Pasts Change in Conversational Remembering // *Memory Studies*. 2010. Vol. 3. No. 1. P. 5–17. DOI: 10.1177/1750698009348279

References

1. Alexander J. T. *Emel'yan Pugachyov i krest'yanskoe vosstanie na okraine Rossii v 1773–1775 gg.* [*Emelyan Pugachev and the Peasant Uprising on the Periphery of Russia in 1773–1775*]. Ufa, Galiullin D. A. Publ., 2011. 164 p. (Ser.: Bashkortostan in Foreign Research.) (In Russ.)
2. Akhmetshin B. G. *Gornozavodskoy fol'klor Bashkortostana i Urala* [*Mining folklore of Bashkortostan and Ural*]. Ufa, Kitap Publ., 2001. 287 p. (In Russ.)
3. Belyanin S. V., Zakrevskaya E. A. How History Becomes Folklore: Folklorization Mechanisms of War and Holocaust Stories. In: *Fol'klor: struktura, tipologiya, semiotika* [*Folklore: Structure, Typology, Semiotics*], 2023, vol. 6, no. 3, pp. 61–87. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_54801745_11272714.pdf (accessed on March 1, 2025). DOI: 10.28995/2658-5294-2023-6-3-61-87. EDN: PPHGKV (In Russ.)
4. Berezovich E. L. *Russkaya toponimiya v etnolingvisticheskom aspekte. Mifopoeticheskiy obraz prostranstva* [*Russian Toponymy in Ethnolinguistic Aspect. Mythopoetic Image of Space*]. Moscow, KomKniga Publ., 2010. 238 p. EDN: PXCWZR (In Russ.)
5. Volkov E. V. On the Participation of Orenburg Cossacks in the Pugachev Rebellion: Historiography and Folklore. In: *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Sotsial'no-gumanitarnye nauki* [*Bulletin of the South Ural State University. Ser.: Social Sciences and the Humanities*], 2024, vol. 24, no. 2, pp. 6–13. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_65633579_74819009.pdf (accessed on March 1, 2025). DOI: 10.14529/ssh240201. EDN: XNLLXI (In Russ.)
6. Zakharova O. V. Peter the Great in the Folklore Legends of the 18th — Early 20th Centuries: Plots, Motifs, Problem of Genre. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [*The Problems of Historical Poetics*], 2021, vol. 19, no. 1, pp. 75–87. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_44701606_93847329.pdf (accessed on March 1, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9202. EDN: PMKZWS (In Russ.)
7. Korolyova S. Yu. Anthroponyms in Folklore Legends About the First Settlers (Based on Material from the Northern Prikamye). In: *Etnolingvistika. Onomastika. Etimologiya: materialy V Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Ekaterinburg, 07–11 sentyabrya 2022 g.)* [*Ethnolinguistics. Onomastics. Etymology: Materials of the 5th International Scientific Conference (Ekaterinburg, September 7–11, 2022)*]. Ekaterinburg, Ural Federal University Publ., 2022, pp. 134–140. Available at: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/116961/1/978-5-7996-3508-4_2022_024.pdf (accessed on March 1, 2025). EDN: FYKYWO (In Russ.)
8. Korolyova S. Yu., Chetina E. M. Yuksya, Puksya, Bora, Moka, and Other “Chud Parents” (About Veneration of the First Inhabitants of the Upper Prikamye). In: *Art*, 2016, no. 3, pp. 131–150. EDN: UKNZUF (In Russ.)
9. Krinichnaya N. A. *Predaniya Russkogo Severa* [*Folklore Legends of the Russian North*]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1991. 325 p. Available at: <https://www.booksite.ru/fulltext/pre/dan/iy/1.htm#2> (accessed on March 1, 2025). (In Russ.)

10. Kuznetsov V. V. Did the Upper Volga Epic Exist? In: *Drevnyaya Tver' — real'naya i knizhnaya* [Ancient Tver in the Reality and in the Literature]. Tver, Nauchnaya kniga Publ., 2006, pp. 90–103. (In Russ.)
11. Kul'sarina I. G. Motifs and Images of Bashkir Historical Legends in the Russian Literature of the 20th Century. In: *Vestnik Bashkirskogo universiteta* [Bulletin of Bashkir University], 2011, vol. 16, no. 4, pp. 1282–1286. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_17315436_55827767.pdf (accessed on March 1, 2025). EDN: OOXTNB (In Russ.)
12. Kupriyanov P. S. Boyars Romanovs in “Historical Memory”: Experience of Field Research. In: *Zhizn' i nauchnyy put' etnografa: materialy chteniy pamyati I. V. Vlasovoy* [Life and Scientific Path of an Ethnographer: Materials of Readings in Memory of I. V. Vlasova]. Moscow, Institute of Ethnology and Anthropology RAS Publ., 2018, pp. 144–163. (In Russ.) (a)
13. Kupriyanov P. S. A Historical Character as a Local Brand, or the Fairy Tale Story of Dunyasha Streshneva. In: *Voobrazhaemaya territoriya: ot lokal'noy identichnosti do brenda* [Imaginary Territory: from Local Identity to Brand]. Moscow, Neolit Publ., 2018, pp. 107–133. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_41233316_81495950.pdf (accessed on March 1, 2025). EDN: GQRRWJ (In Russ.) (b)
14. Neklyudov S. Yu. Notes on “Historical Memory” in Folklore. In: *AB-60: sbornik statey k 60-letiyu A. K. Bayburina* [AB-60: Collection of Articles for the 60th Anniversary of A. K. Baiburin]. St. Petersburg, European University at Saint Petersburg Publ., 2007, pp. 77–86. (Ser.: Studia Ethnologica.) EDN: PHDKGX (In Russ.)
15. Neklyudov S. Yu. *Legenda o Razine: persidskaya knyazhna i drugie syuzhety* [The Legend of Razin: the Persian Princess and Other Stories]. Moscow, Indrik Publ., 2016. 552 p. (Ser.: Literature as Tradition; 2.) (In Russ.)
16. Panchenko A. A., Petrov N. I., Selin A. A. “The Squad Is Feasting by the Shore...”: on the Border of Scientific and Mythological Worldview. In: *Russkiy fol'klor: materialy i issledovaniya* [Russian Folklore: Materials and Researches]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1999, vol. 30, pp. 82–91. EDN: BSIHWG (In Russ.)
17. Petrov N. V. The Case of the Giant: the History of Narrative, Man, and Holiday. In: *Genius Loci: sbornik statey v chest' 75-letiya S. Yu. Neklyudova* [Genius Loci: Collection of Articles for the 75th Anniversary of S. Yu. Neklyudov]. Moscow, Forum Publ., 2016, pp. 404–434. (Ser.: Tradition — Text — Folklore: Typology and Semiotics.) EDN: TQHFHL (In Russ.)
18. Polyakova E. N. Development of Perm Postnominal Toponyms in Prikamye in the 16th — 17th Centuries (on Cadastres and Census Books). In: *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2010, no. 4 (10), pp. 7–16. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_15124034_58203561.pdf (accessed on March 1, 2025). EDN: MSYYID (In Russ.)
19. Razumova I. A. *Potaennoe znanie sovremennoy russkoy sem'i. Byt. Fol'klor. Istoriya* [Secret Knowledge of the Modern Russian Family. Everyday Life. Folklore. History]. Moscow, Indrik Publ., 2001. 374 p. EDN: YGVOVN (In Russ.)

20. Selin A. A. The Image of Rurik in the Modern Space of North-West Russia. In: *Istoricheskaya ekspertiza [Historical Expertise]*, 2016, no. 4, pp. 89–110. EDN: XWVIAZ (In Russ.)
21. Sokolova V. K. Songs and Legends About the Peasant Rebellions of Razin and Pugachev. In: *Russkoe narodno-poeticheskoe tvorchestvo: materialy dlya izucheniya obshchestvenno-politicheskikh vozzreniy naroda [Russian Folk Poetry: Materials for Studying the Socio-Political Views of the People]*. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1953, pp. 17–56. (Ser.: Proceedings of N. N. Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and Anthropology. New Series; vol. 20.) (In Russ.)
22. Sokolova V. K. *Russkie istoricheskie predaniya [Russian Historical Legends]*. Moscow, Nauka Publ., 1970. 288 p. (In Russ.)
23. Sokolova V. K. Types of East Slavic Toponymic Legends. In: *Slavyanskiy fol'klor: sbornik statey [Slavic Folklore: Collection of Articles]*. Moscow, Nauka Publ., 1972, pp. 202–233. (In Russ.)
24. Fazlutdinov I. I. The Image of Emelyan Pugachev in Tatar Historical Folklore. In: *Filologiya i kul'tura [Philology and Culture]*, 2024, no. 2 (76), pp. 214–219. Available at: <https://filkult.elpub.ru/jour/article/view/632/513> (accessed on March 1, 2025). DOI: 10.26907/2782-4756-2024-76-2-214-219. EDN: DBEBNN (In Russ.)
25. Chagin G. N. *Istoricheskie znaniya narodov Urala v XIX — nachale XXI veka [Historical Knowledge of the Peoples of the Urals in the 19th — Early 21st Centuries]*. Ekaterinburg, Sokrat Publ., 2011. 256 p. EDN: QPVZPR (In Russ.)
26. Chuv'yurov A. A. Historical Memory in Legends about Upper Pechora Komi Pioneers. In: *Slovesnost' i istoriya [Texts and History]*, 2020, no. 2, pp. 80–95. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_44049015_31852853.pdf (accessed on March 1, 2025). DOI: 10.31860/2712-7591-2020-2-80-95. EDN: KITTRL (In Russ.)
27. Engel'king A. The Tale of a Polessia Village, or on the Folklorisation of the Memory on World War Two. In: *Slavyanovedenie [Slavic Studies]*, 2018, no. 6, pp. 27–46. Available at: <https://ras.jes.su/slav/s207987840000997-5-1-en> (accessed on March 1, 2025). DOI: 10.31857/S0869544X0001763-2. EDN: YQJRDV (In Russ.)
28. Etkind A. M. *Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt Rossii [Internal Colonization. Imperial Experience of Russia]*. Moscow, NLO Publ., 2013. 448 p. (In Russ.)
29. Assmann J. Collective Memory and Cultural Identity. In: *New German Critique*, 1995, no. 65, pp. 125–133. Available at: <https://dn790000.ca.archive.org/0/items/CollectiveMemoryAndCulturalIdentity/Collective%20Memory%20and%20Cultural%20Identity.pdf> (accessed on March 1, 2025). (In English)
30. Bell D. S. A. Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity. In: *British Journal of Sociology*, 2003, vol. 54, no. 1, pp. 63–81. DOI: 10.1080/0007131032000045905. EDN: DZBSBT (In English)
31. Bird S. E. It Makes Sense to Us: Cultural Identity in Local Legends of Place. In: *Journal of Contemporary Ethnography*, 2002, vol. 31, no. 5, pp. 519–547. DOI: 10.1177/089124102236541. EDN: JNEADF (In English)

32. Stern S. Ethnic Folklore and the Folklore of Ethnicity. In: *Studies in Folklore and Ethnicity*, 1977, vol. 36, no. 1, pp. 7–32. DOI: 10.2307/1498212 (In English)
33. Welzer H. Re-Narrations: How Pasts Change in Conversational Remembering. In: *Memory Studies*, 2010, vol. 3, no. 1, pp. 5–17. DOI: 10.1177/1750698009348279 (In English)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Королёва Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы, зав. лабораторией теоретической и прикладной фольклористики, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ул. Букирева, 15, г. Пермь, Российская Федерация, 614068); ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4246-907X>; e-mail: petel@yandex.ru.

Svetlana Yu. Korolyova, PhD (Philology), Assistant Professor of Russian Literature Department, Head of the Laboratory of Theoretical and Applied Folkloristics, Perm State University (ul. Bukireva 15, Perm, 614068, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4246-907X>; e-mail: petel@yandex.ru.

Ипполитова Александра Борисовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела типологии и сравнительного языкознания, Институт славяноведения, Российская академия наук (Ленинский пр-т, 32А, г. Москва, Российская Федерация, 119334); ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8008-2330>; e-mail: alhip@yandex.ru.

Aleksandra B. Ippolitova, PhD (History), Senior Researcher of the Department of Typology and Comparative Linguistics, Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences (Leninskiy prospekt 32A, Moscow, 119334, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8008-2330>; e-mail: alhip@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 16.08.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 20.10.2025

Принята к публикации / Accepted 22.10.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16022

EDN: BUYNKL



Концепция народности Владимира Даля

К. Г. Тарасов

*Петрозаводский государственный университет
(г. Петрозаводск, Российская Федерация)*

e-mail: kogetar@yandex.ru

Аннотация. В статье приводится комплексный анализ концепции народности, являющейся системообразующим принципом всего творческого наследия Владимира Ивановича Даля. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к вопросам национальной идентичности в эпоху глобализации, а также тем, что, несмотря на обширную литературу о наследии Даля, его концепция народности как целостная философско-филологическая система до сих пор не получила исчерпывающего освещения. Автор статьи поставил целью восполнить этот пробел, представив далевское понимание народности в виде уникального синтеза научного подхода, художественного творчества и глубокого практического погружения в народную жизнь. Исследование основывается на современном междисциплинарном подходе, объединяющем философию культуры, литературоведение, лингвистику и этнографию. В статье прослеживается генезис понятия «народность» в литературной критике: от первых попыток его определения П. А. Вяземским и А. С. Пушкиным до полемики между официальной идеологией, славянофилами и «натуральной школой». Подробно рассматриваются философско-мировоззренческие основы далевского понимания «народного духа», которое формировалось под влиянием немецкой традиции, славянофильских идей и собственного эмпирического и практического опыта. Анализируются способы реализации этой концепции в художественной прозе и публицистике В. И. Даля с привлечением материалов «Толкового словаря живого великорусского языка» и сборника «Пословицы русского народа». Народность для Даля — живая, целостная система, выражающаяся в языке, фольклоре, быте, нравственных устоях, опирающихся на православие. Далевская методология, синтезирующая филологическую точность и этнографическую тщательность, позволила создать уникальную энциклопедию народного мировоззрения, сохранившую для последующих поколений духовную и языковую материю русской традиционной культуры.

Ключевые слова: В. И. Даль, народность, национальная идентичность, менталитет, русская литература, поэтика, этнопоэтика, литературный контекст, славянофилы, фольклор, этнография

Для цитирования: Тарасов К. Г. Концепция народности Владимира Даля // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 97–111. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16022. EDN: BUYNKL

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16022

EDN: BUYNKL

Vladimir Dahl's Concept of the Russian Folk Spirit

Konstantin G. Tarasov

*Petrozavodsk State University
(Petrozavodsk, Russian Federation)*

e-mail: kogetar@yandex.ru

Abstract. The article presents a comprehensive analysis of the concept of 'folk spirit', which is the system-forming principle of the entire creative heritage of Vladimir Ivanovich Dahl. The relevance of the study is determined by the growing interest in the issues of national identity in the era of globalization, as well as by the fact that, despite the extensive literature on Dahl's legacy, his concept of 'folk spirit' as an integral philosophical and philological system has not yet received comprehensive coverage. The author aims to fill this gap by presenting Dahl's understanding of 'folk spirit' as a unique synthesis of a scientific approach, artistic endeavor, and deep practical immersion in the life of the people. The research is based on a modern interdisciplinary approach that combines the philosophy of culture, literary criticism, linguistics, and ethnography. The article traces the genesis of the concept of 'folk spirit' in literary criticism: from the first attempts at its definition by P. A. Vyazemsky and A. S. Pushkin to the polemics between official ideology, the Slavophiles, and the "Natural School." The philosophical and worldview foundations of Dahl's understanding of the 'folk spirit' are examined in detail. This understanding was formed under the influence of German tradition, Slavophile ideas, and his own empirical and practical experience. The implementation of this concept in the fiction and journalistic works of V. I. Dahl is analyzed, drawing on materials from the "Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language" and the collection "Proverbs of the Russian People." For Dahl, 'folk spirit' is a living, integral system expressed in language, folklore, everyday life, and moral foundations and rooted in Orthodoxy. Dahl's methodology, which synthesizes philological accuracy and ethnographic thoroughness, allowed him to create a unique encyclopedia of the national worldview. This encyclopedia preserved the spiritual and linguistic substance of Russian traditional culture for future generations.

Keywords: V. I. Dahl, folk spirit, national identity, mentality, Russian literature, poetics, ethnopoetics, literary context, Slavophiles, folklore, ethnography

For citation: Tarasov K. G. Vladimir Dahl's Concept of the Russian Folk Spirit. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 97–111. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16022. EDN: BUYNKL (In Russ.)

Творчество Владимира Ивановича Даля, представляя собой синтез научного подхода и глубокого художественного проникновения в суть народной жизни, занимает исключительное место в истории русской литературы (и шире — культуры). В современную эпоху глобализации и стирания культурных границ обращение к наследию Даля приобретает особую значимость для понимания национальной идентичности и ее истоков. Его концепция народности, основанная на скрупулезном изучении «живого» языка, народного творчества и быта, предлагает не идеологическую конструкцию (какой, например, являлась «триада Уварова» «православие, самодержавие, народность»), а объективную, эмпирически и практически выверенную модель национального мировоззрения, формировавшуюся на протяжении всей жизни Даля и рассредоточенную по всем страницам его литературных произведений, публицистики и ключевых творений: «Толкового словаря живого великорусского языка» и сборника «Пословицы русского народа».

Несмотря на растущий в последнее время объем литературы о наследии В. И. Даля и неподдельный интерес к его творчеству, комплексный анализ его концепции народности как целостной философско-филологической системы остается актуальным и востребованным. Современные исследователи, как и исследователи прошлого столетия, в основном акцентируют внимание на лексикографическом подвиге Даля и значении Словаря [Байрамукова], [Бекасова]; на его этнографических работах [Соколова], [Тарасенко]; анализируют отдельные произведения, литературные циклы, особенности стиля писателя [Вечёркин], [Юнусов], не всегда рассматривая их в неразрывном единстве, подчиненном общей авторской идее и задачам. Особняком стоят последние монографии Н. Л. Юган, которая предлагает цельный взгляд на ряд периодов в творчестве Даля [Юган, 2011, 2018].

Первая половина XIX в. в России стала временем интенсивного поиска национальной и культурной идентичности. Окончание наполеоновских войн, восстание декабристов 1825 г. и последовавшая за ним реакция заставили мыслящую часть общества остро поставить вопросы о месте России в мировом

историческом процессе и о специфике ее духовного и социального уклада. История теоретического осмысления понятия «народность» в литературе берет свое начало в 1819 г. Именно тогда П. А. Вяземский, обсуждая в письмах со своим другом А. И. Тургеневым свое стихотворение «Первый снег», впервые предпринял попытку обосновать этот термин в литературном контексте. Вяземский не только использовал само понятие «народность», но и попытался раскрыть его содержание применительно к собственному творчеству [Святославский: 167].

Центральным понятием, вокруг которого выстраивалась эта полемика, и стала «народность». В небольшой заметке, датированной исследователями 1825 г., А. С. Пушкин писал:

«С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы — но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность» [Пушкин].

Чуть позже В. Г. Белинский замечает, что «"народность" есть альфа и омега нашего времени» и что «"народность" заменила собою и творчество, и вдохновение, и художественность, и классицизм, и романтизм, заключила в одной себе и эстетику и критику» [Белинский, 1954: 289]. Народность понималась не просто как фольклоризм, использование национальных тем, но как глубинная, сущностная категория, определяющая своеобразие национальной литературы. Дискуссия о народности была не столько спором о литературных приемах, сколько фундаментальным идеологическим и философским диалогом о прошлом, настоящем и будущем России. Характерным для 20-х гг. XIX в. является призыв В. Кюхельбекера, для которого народность была синонимом национальной самостоятельности, обратиться к народным источникам как основе для создания самобытной, неподражательной литературы [Кюхельбекер]. В это же время более разработанную теорию народности предложил Орест Сомов в цикле статей «О романтической поэзии». Автор разделил народность на два типа: местный тип, связанный с изображением конкретных нравов, обычаев, преданий и природы определенного народа, и общий романтический — обращенный к внутренней

жизни человека, но при этом преломленный через национальное сознание [Сомов]. На данном этапе народность понималась преимущественно как этнографический и эстетический феномен. Ее искали в стилизациях под фольклор, использовании исторических сюжетов, в изображении национального быта, и, как отмечает Л. Н. Житкова, «в русской литературно-критической практике 1820–1830-х гг., вплоть до позднего Белинского, понятия "народ" и "нация" воспринимались по преимуществу как тождественные» [Житкова: 45].

В 1830–1840-е гг. понятие народности, с одной стороны, было политизировано государственной идеологией и лоялистской дидактической литературой, линию которой развивали Ф. Булгарин и Н. Греч, а с другой — усилено социально-критической трактовкой В. Белинского и представителями «натуральной школы». По мысли критика, подлинными проявлениями народного духа являлись ее основные установки: внимание к «маленькому человеку», интерес к бытописанию, физиологическому очерку, критике социальных проблем. Так же, но с философско-религиозных позиций трактовали официальную народность славянофилы, для которых она была воплощением особого исторического пути России, основанного на православии, соборности, крестьянской общине и отсутствии классовой вражды. Как справедливо отмечает С. В. Рымарь, «введению в активный научный оборот категории народности русская словесность и общественно-политическая мысль были обязаны прежде всего славянофилам» [Рымарь: 20].

Концепция народности Даля формировалась в 1830–1850-х гг. Европейский и русский романтизм, с его интересом к национальной старине, фольклору, оказал на Даля первостепенное влияние. В западноевропейской литературной мысли конца XVIII — первой половины XIX в. концепция народности стала предметом активной дискуссии. Изначально ее рассматривали применительно к народному творчеству, а позднее распространили на авторскую литературу. Тем не менее в западной традиции данная категория не обрела онтологического статуса и объективной ценности, оставшись в сфере литературоведения с весьма нечетко очерченными границами.

В одной из своих работ, посвященных в том числе проблеме понимания и определения народности, Даль, предположительно, цитирует трактат Гердера «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791):

«Один из глубоких мыслителей Германии, говоря о философии истории, о значении человечества, сказал: "Не человек, не народ составляет человечество, а все народы земли вместе. Каждый народ по себе односторонен, он усваивает общую задачу частно, относя ее к личности своей. Чем менее в нем народности, тем он ничтожнее, тем менее приблизится к решению этой всеобщей задачи; он растеряется в общностях, не сосредоточит сил своих в себе и в народности своей"»¹.

Романтики, в том числе русские, видели в народе хранителя «органической», не испорченной цивилизацией культуры. Для Даля, как и для романтиков, народ был носителем «духа» — живого, творческого начала. Однако в отличие от многих романтиков, склонных к идеализации, Даль подошел к делу как ученый-прагматик. Его романтизм был не созерцательным, а деятельным: он видел свою миссию в том, чтобы не воспевать народность в абстрактных категориях, а собирать, фиксировать и систематизировать ее материальные проявления.

Герой одной из далевских повестей Ивася, отправляясь в поездку по России, ставит перед собой следующие задачи:

«1) Собирать по пути все названия местных урочищ, расспрашивать о памятниках, преданиях и поверьях, с ними соединенных, — с тем, чтобы применить это впоследствии к бытописанию России, которое необходимо должно во многих случаях поясниться этими памятниками старины.

2) Разузнавать и собирать, где только можно, народные обычаи, поверья, суеверья, песни, сказки, пословицы, поговорки и все, что принадлежит к этому разряду, и все это тщательно записывать.

3) Вносить в памятную книжку свою все народные слова, выражения, речения, обороты языка и наречий его, общие

¹ См. «Полтора слова о нынешнем русском языке» (С. 34). Здесь и далее произведения В. И. Даля цитируются в современной орфографии и пунктуации по электронному ресурсу «В. И. Даль. Полное собрание сочинений в прижизненных публикациях» (см.: [Даль]) с указанием названия произведения и страницы в круглых скобках.

и местные, но не употребительные доселе в так называемом образованном нашем языке и слоге» (Савелий Граб, или Двойник: 137–138).

Вторым ключевым фактором, повлиявшим на мировоззрение Даля, были личные и профессиональные связи со славянофилами. Связи эти сформировались в 1840–1850-е гг., в период активного становления и публичного заявления славянофильства как общественной мысли. Даль, к этому времени уже известный писатель и начинающий лексикограф, нашел в их идеях созвучный своим собственным устремлениям философский язык. По наблюдению исследователя, «славянофильство имело влияние на довольно обширный литературный круг. Так или иначе со славянофилами соприкоснулись Гоголь и С. Аксаков, Языков и Боратынский, Тютчев и А. Толстой, Тургенев и Островский, Даль и К. Павлова» [Кошелев: 164]. В. И. Даль сближала со славянофилами общая установка на ценность самобытной русской культуры, укорененной в народной, прежде всего крестьянской, стихии. Он активно публиковался в славянофильских изданиях и с воодушевлением принял идею М. П. Погодина издавать «Москвитянин»:

«Да здравствует Москвитянин с руками, с ногами и с головою»; «Я всей душой готов, многоуважаемый Михайло Петрович, помогать всеми силами вашему общему делу...»².

Центральным для славянофилов был романтический концепт «народного духа» (Volksgeist) — метафизической субстанции (см., например, работу «О некоторых современных собственно литературных вопросах» [Аксаков]). Даль предпринял попытку демистификации этой абстрактной категории. Для него «народный дух» стал материальным, воплощенным в конкретных языковых и литературных фактах: в «живом великорусском» слове и самобытном языке его произведений. В статье «Словесная речь» встречаем такое утверждение:

² Даль В. И. Письмо к М. П. Погодину от 19 ноября 1840 г. // В. И. Даль. Документы. Письма. Воспоминания. Оренбург: Оренбург. книж. изд-во, 2008. С. 76, 77.

«В народном языке находим мы все то, чего у нас недостает в языке письменном и чего недостает в нас самих: русский дух» (Словесная речь: 24).

Отметим, что довольно четко выраженная программа создания самобытной национальной литературы, сформулированная Далем в статье «Полтора слова о нынешнем русском языке», славянофилами не оспаривалась:

«Итак, родная словесность, без которой не может быть и самобытного писателя, в высшем значении слова, требует родного духа и родного языка. Первый появится, когда все русское сделается нам доступным, сделается своим, родным; тут необходимо полное и совершенное знание русского ума и русского сердца; знание русского — не одного простонародного — быта, духовного и телесного. Для второго, для языка, надобно знать основательно все русские слова и выражения, надобно знать русский язык гораздо короче и лучше всех других; надобно мыслить, думать по-русски...» (Полтора слова о нынешнем русском языке: 14).

Несмотря на кажущееся идейное родство, между Далем и славянофилами существовало принципиальное методологическое различие, которое не позволяет говорить об их окончательном тождестве. Славянофилы (в особенности К. С. Аксаков) часто идеализировали народ, видя в нем прежде всего носителя высокой духовности. Даль же видел народность во всей ее полноте и противоречивости. Его Словарь и сборник «Пословицы русского народа» (если считать эти труды своеобразной базой данных «народного духа») включают не только высокие духовные понятия, но и лексику, связанную с бытом, ремеслами, пороками, социальной сатирой. Составитель фиксировал народную речь такой, какая она есть: с ее грубоватостью, иронией, практицизмом. Даль сознательно противопоставил свой Словарь академическим лексиконам, базировавшимся на литературной традиции. Он видел в диалектах, просторечии, профессиональных жаргонах не «порчу» языка, а, напротив, неиссякаемый источник его жизненной силы. Кроме того, он не просто давал дефиниции словам, а погружал их в контекст живой речи, иллюстрируя, как правило, пословицами и поговорками. Даль был убежден, что

народная мудрость, народный дух и народная картина мира закодированы именно в этих устойчивых выражениях. В этой связи его сборник пословиц необходимо рассматривать не как дополнение к Словарю, а как его концептуальную основу.

Еще одним важнейшим фактором, повлиявшим на формирование далевской концепции народности, является разнообразный жизненный опыт В. И. Даля. Будущий создатель Словаря родился в многокультурной среде Луганского завода, что оказало решающее влияние на его языковое сознание. Его отец, обрусевший датчанин Йохан Кристиан Даль, был человеком европейски образованным, знавшим несколько языков. Мать, Мария Фрейтаг, имела немецкие и французские корни и свободно говорила на пяти языках. Эта многоязычная атмосфера с ранних лет воспитывала в Дале лингвистическую чуткость и осознание того, что язык — это ключ к пониманию национального характера. Служба в разных российских губерниях, участие в военных кампаниях, общение с представителями разных сословий и национальностей, изучение фольклора и народного быта дали ему впоследствии уникальный материал, положенный в основу размышлений о народности. Говоря о связи жизненного опыта и концепции народности Даля, нельзя не затронуть его отношения к православию, так как «Православие не только катехизис, но и образ жизни, мировосприятие и миропонимание народа. В этом недогматическом смысле говорят о православной культуре и литературе, о православном человеке, народе, мире и т. п.» [Захаров: 7]. Осенью 1871 г., незадолго перед кончиной, Даль принимает православие, — как он сам считал, «истинную веру»:

«Я всю жизнь искал истины и теперь нашёл её"...»; «Православие — великое благо для России, несмотря на множество суеверий русского народа. Но ведь все эти суеверия не что иное, как простодушный лепет младенца ещё неразумного, но имеющего в себе ангельскую душу. Сколько я ни знаю, нет добрее нашего русского народа и нет его правдивее, если только обращаться с ним правдиво... А отчего это? Оттого что он православный... Поверьте мне, что Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней православие...» [Мельников-Печерский: 59, 57].

Важность понимания православия в народе подчеркивал в «Дневнике Писателя» и Ф. М. Достоевский:

«И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа русского...» [Достоевский: 19].

То, что Даль любит и понимает русский народ как никто другой, заметил И. С. Тургенев:

«В наших глазах, тот заслуживает это название (народный. — К. Т.), кто, по особому ли дару природы, вследствие ли много-тревожной и разнообразной жизни, как бы вторично сделался русским, проникнулся весь сущностью своего народа, его языком, его бытом» [Тургенев: 277].

Этот факт отмечает и В. Г. Белинский:

«К особенностям его (Даля. — К. Т.) любви к Руси принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого *крестьянином* и *мужиком*» [Белинский, 1956: 80].

Впервые Даль предпринял попытку определить народность в статье «Полтора слова о нынешнем русском языке» (1842):

«Народность эту понимать можно в двояком смысле: народность, или ближе родимость, языка собственно — не одних слов, а духа — и родимость сущности, содержания, мысли, предмета, свойскость языка и свойскость ума и сердца» (Полтора слова о нынешнем русском языке: б).

Итоговая формула далевского понимания народности очень проста и в то же время содержательна. Она зафиксирована в одной из последних «картин русского быта» «Обмиранье», опубликованной в журнале Михаила Каткова «Русский Вестник» в 1868 г.: «один язык, одна речь, один народный дух» (Обмиранье: 1).

Таким образом, концепция народности в понимании В. И. Даля представляет собой целостную философско-филологическую систему, объединяющую язык, фольклор, быт и духовные ценности русского народа. В отличие от абстрактных теоретических построений современников, эта концепция

базируется на эмпирических наблюдениях и практическом опыте автора. Метод Даля (его отношение к слову) в результате позволил создать уникальную энциклопедию народного мировоззрения, ключевым элементом которой стало понимание языка как носителя национального духа. Особую значимость приобретает тот факт, что далевское понимание народности формировалось на пересечении немецкой философской традиции, славянофильских идей и государственной идеологии и в результате оказалось уникальным явлением в русской культуре.

Список литературы

1. Аксаков К. С. О некоторых современных собственно литературных вопросах / сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. В. А. Кошелева // Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. С. 43–74. (Сер.: История эстетики в памятниках и документах.)
2. Байрамукова А. И. Последние произведения В. И. Даля в русле метафилологии // Textus. 2010. № 13 (1). С. 320–324 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27877466_60943276.pdf (10.09.2025). EDN: VDAZSB
3. Бекасова Е. Н. В. И. Даль: лингвистические предвидения // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2022. Т. 26. № 3. С. 10–20 [Электронный ресурс]. URL: <https://philol-journal.sfedu.ru/index.php/sfuphilol/article/view/1755/1592> (10.09.2025). DOI: 10.18522/1995-0640-2022-3-10-20. EDN: МН1JFYJ
4. Белинский В. Г. <Статьи о народной поэзии>. Статья 1. Общая идея народной поэзии // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: АН СССР, 1954. Т. 5: Статьи и рецензии 1841–1844. С. 289–310.
5. Белинский В. Г. <Рецензии, январь 1847 г.> Повести, сказки и рассказы казака Луганского. Четыре части. СПб. 1846 г. // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: АН СССР, 1956. Т. 10: Статьи и рецензии 1846–1848. С. 79–83.
6. Вечёркин И. А. К вопросу авторской идиостилистики: В. И. Даль // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. 2022. № 1 (55). С. 224–231 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_48683784_63159768.pdf (10.09.2025). EDN: AGOSRW
7. Даль В. И. Полное собрание сочинений в прижизненных публикациях. Петрозаводск, 1999–2002 // PHILOLOG.RU [Электронный ресурс]. URL: <https://philolog.ru/vdahl/texts/texts.htm> (10.09.2025).
8. Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1881. Январь // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 27. С. 5–41.

9. Житкова Л. Н. Народность как эстетическая категория в русской литературной критике XIX в. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 2 (127). С. 45–51 [Электронный ресурс]. URL: <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/25789/1/iurg-2014-127-05.pdf> (10.09.2025). EDN: STADTF
10. Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 5–30 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2472> (10.09.2025). EDN: RUYKBH
11. Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840–1850-е годы). Л.: Наука, 1984. 196 с.
12. Кюхельбекер В. К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 453–459. (Сер.: Лит. памятники.)
13. Мельников-Печерский П. И. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале / отв. ред. В. П. Нерознак, сост. Р. Н. Клейменова // В. И. Даль и Общество любителей российской словесности. СПб.: Златоуст, 2002. С. 5–66.
14. Пушкин А. С. <О народности в литературе> // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 19 т. М.: Воскресенье, 1996. Т. 11: критика и публицистика 1819–1834. С. 40.
15. Рымарь С. В. Русская народность // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 33 (287). С. 19–26 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18807975_83722054.pdf (10.09.2025). EDN: PVOYMN
16. Святославский А. В., Нгуен Т. Т. Н. Категория народности литературы как предмет осмысления в истории русской критики XIX в. // Два века русской классики. 2024. Т. 6. № 2. С. 164–183 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/images/2024-6-2/9_.pdf (10.09.2025). DOI: 10.22455/2686-7494-2024-6-2-164-183. EDN: LEQVSZ
17. Соколова В. Ф. «Школа В. И. Даля» в русской литературе 40–70-х гг. XIX века // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 1 (55): в 2 ч. Ч. 1. С. 68–70 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25080807_44584634.pdf (10.09.2025). EDN: VCVXWF
18. Сомов О. О романтической поэзии // Литературно-критические работы декабристов. М.: Худож. лит., 1978. С. 234–272.
19. Тарасенко Т. П. Специфика идиостиля В. И. Даля в повести «Цыганка» (лексико-стилистический аспект) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 5 (71): в 3 ч. Ч. 3. С. 157–162 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29312735_28335854.pdf (10.09.2025). EDN: YRLSIV
20. Тургенев И. С. Повести, сказки и рассказы Казака Луганского. Санкт-Петербург. В Гутенберговой тип. 1846. Четыре части: [рецензия] // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1978. Т. 1. С. 277–280.

21. Юган Н. Л. В. И. Даль и русская литература 30–60-х гг. XIX в. Луганск: ЛНУ им. Тараса Шевченко, 2011. 400 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://thelib.net/1823821-dal-i-russkaja-literatura-30-60-godov-19-veka.html?ysclid=mhrnjvxtgu690815483> (10.09.2025). EDN: QWXEXV
22. Юган Н. Л. Жанровая парадигма творчества В. И. Даля. Київ: Інтерсервіс, 2018. 423 с.
23. Юнусов И. Ш. Проблема национального характера в физиологических очерках В. И. Даля в контексте синтеза документального и художественного // Филология и культура. 2014. № 3 (37). С. 274–282 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22939605_15989968.pdf (10.09.2025). EDN: THZRGZ

References

1. Aksakov K. S. On Some Contemporary Literary Issues. In: *Aksakov K. S. Estetika i literaturnaya kritika [Aksakov K. S. Aesthetics and Literary Criticism]*. Moscow, Iskustvo Publ., 1995, pp. 43–74. (Ser.: The History of Aesthetics in Monuments and Documents.) (In Russ.)
2. Bayramukova A. I. V. I. Dahl's Later Works in the Field of Metaphilology. In: *Textus*, 2010, no. 13 (1), pp. 320–324. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_27877466_60943276.pdf (accessed on September 10, 2025). EDN: VDAZSB (In Russ.)
3. Bekasova E. N. V. I. Dahl: Linguistic Foresight. In: *Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki [Proceedings of Southern Federal University. Philology]*, 2022, vol. 26, no. 3, pp. 10–20. Available at: <https://philol-journal.sfedu.ru/index.php/sfuphilol/article/view/1755/1592> (accessed on September 10, 2025). DOI: 10.18522/1995-0640-2022-3-10-20. EDN: MHJFYJ (In Russ.)
4. Belinskiy V. G. <Articles About Folk Poetry>. Article 1. General Idea of Folk Poetry. In: *Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh [Belinskiy V. G. The Complete Works: in 13 Vols]*. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1954, vol. 5: Articles and Reviews 1841–1844, pp. 289–310. (In Russ.)
5. Belinskiy V. G. <Reviews, January 1847>. Short Novels, Fairy Tales, and Stories of the Cossack Lugansky. Four Parts. St. Petersburg, 1846. In: *Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh [Belinskiy V. G. The Complete Works: in 13 Vols]*. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1956, vol. 10: Articles and Reviews 1846–1848, pp. 79–83. (In Russ.)
6. Vechorkin I. A. To the Question of the Author's Idiostyle: V. I. Dahl. In: *Vestnik Luganskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Vladimira Dallya [Vestnik. Lugansk Vladimir Dahl State University]*, 2022, no. 1 (55), pp. 224–231. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_48683784_63159768.pdf (accessed on September 10, 2025). EDN: AGOSRW (In Russ.)
7. Dal' V. I. Polnoe sobranie sochineniy v prizhiznennykh publikatsiyakh. Petrozavodsk, 1999–2002. In: *Philolog.ru*. Available at: <https://philolog.ru/vdahl/texts/texts.htm> (accessed on September 10, 2025). (In Russ.)

8. Dostoevskiy F. M. "A Writer's Diary". 1881. January. In: *Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [Dostoevsky F. M. *The Complete Works: in 30 Vols*]. Leningrad, Nauka Publ., 1984, vol. 27, pp. 5–41. (In Russ.)
9. Zhitkova L. N. Folk Origins as an Aesthetic Category in 19th Century Russian Literary Criticism. In: *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki* [Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts], 2014, no. 2 (127), pp. 45–51. Available at: <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/25789/1/iurg-2014-127-05.pdf> (accessed on September 10, 2025). EDN: STADTF (In Russ.)
10. Zakharov V. N. Orthodoxal Aspects of Russian Ethnopoetics Literature. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1998, issue 5, pp. 5–30. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2472> (accessed on September 10, 2025). EDN: RUYKBH (In Russ.)
11. Koshelev V. A. *Esteticheskie i literaturnye vozzreniya russkikh slavyanofilov (1840–1850-e gody)* [Aesthetic and Literary Views of Russian Slavophiles (1840–1850s)]. Leningrad, Nauka Publ., 1984. 196 p. (In Russ.)
12. Kyukhel'beker V. K. On the Direction of Our Poetry, Especially Lyric Poetry, in the Last Decade. In: *Kyukhel'beker V. K. Puteshestvie. Dnevnik. Stat'i* [Küchelbecker V. K. *Travel. Diary. Articles*]. Leningrad, Nauka Publ., 1979, pp. 453–459. (Ser.: Literary Monuments.) (In Russ.)
13. Mel'nikov-Pecherskiy P. I. Memories of Vladimir Ivanovich Dahl. In: *V. I. Dal' i Obshchestvo lyubiteley rossiyskoy slovesnosti* [V. I. Dahl and the Society of Friends of Russian Literature]. St. Petersburg, Zlatoust Publ., 2002, pp. 5–66. (In Russ.)
14. Pushkin A. S. On Folk Spirit in Literature. In: *Pushkin A. S. Polnoe sobranie sochineniy: v 19 tomakh* [Pushkin A. S. *The Complete Works: in 19 Vols*]. Moscow, Voskresen'e Publ., 1996, vol. 11: Criticism and Journalism 1819–1834, p. 40. (In Russ.)
15. Rymar' S. V. Russian Folk Spirit. In: *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Chelyabinsk State University], 2012, no. 33 (287), pp. 19–26. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_18807975_83722054.pdf (accessed on September 10, 2025). EDN: PVOYMN (In Russ.)
16. Svyatoslavsky A. V., Nguyen T. T. N. The Category of Nationality of Literature as a Subject of Comprehension in the History of Russian Criticism of the 19th Century. In: *Dva veka russkoy klassiki* [Two Centuries of Russian Classics], 2024, vol. 6, no. 2, pp. 164–183. Available at: https://rusklassika.ru/images/2024-6-2/9_.pdf (accessed on September 10, 2025). DOI: 10.22455/2686-7494-2024-6-2-164-183. EDN: LEQVSZ (In Russ.)
17. Sokolova V. F. "The School of V. I. Dahl" in the Russian Literature of the 40–70s of the 19th Century. In: *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philology. Theory and Practice]. Tambov, Gramota Publ., 2016, no. 1 (55): in 2 parts, part 1, pp. 68–70. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_25080807_44584634.pdf (accessed on September 10, 2025). EDN: VCVXWF (In Russ.)

18. Somov O. About Romantic Poetry. In: *Literaturno-kriticheskie raboty dekabristov* [Literary Critical Works of the Decembrists]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1978, pp. 234–272. (In Russ.)
19. Tarasenko T. P. The Specificity of V. I. Dahl's Individual Style in the Short Novel "Gypsy" (Lexico-Stylistic Aspect). In: *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philology. Theory and Practice]. Tambov, Gramota Publ., 2017, no. 5 (71): in 3 parts, part 3, pp. 157–162. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_29312735_28335854.pdf (accessed on September 10, 2025). EDN: YRLSIV (In Russ.)
20. Turgenev I. S. Short Novels, Fairy Tales, and Stories of the Cossack Lugansky. St. Petersburg. In the Gutenberg Printing House. 1846. Four Parts: Review. In: *Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 30 tomakh. Sochineniya: v 12 tomakh* [Turgenev I. S. The Complete Works and Letters: in 30 Vols. Works: in 12 Vols]. 2nd ed., corrected and supplemented. Moscow, Nauka Publ., 1978, vol. 1, pp. 277–280. (In Russ.)
21. Yugan N. L. *V. I. Dal' i russkaya literatura 30–60-kh gg. XIX v.* [V. I. Dahl and Russian Literature of the 1830s — 1860s]. Lugansk, Taras Shevchenko National University of Lugansk Publ., 2011. 400 p. Available at: <https://thelib.net/1823821-dal-i-russkaja-literatura-30-60-godov-19-veka.html?ysclid=mhrnjvxtgu690815483> (accessed on September 10, 2025). EDN: QWXEXV (In Russ.)
22. Yugan N. L. *Zhanrovaya paradigma tvorchestva V. I. Dal'ya* [The Genre Paradigm of V. I. Dahl's Works]. Kiev, Interservis Publ., 2018. 423 p. (In Russ.)
23. Yunusov I. Sh. The Issue of National Character in Physiological Essays of Vladimir Dahl in the Context of Non-Fiction and Fiction Synthesis. In: *Filologiya i kul'tura* [Philology and Culture], 2014, no. 3 (37), pp. 274–282. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_22939605_15989968.pdf (accessed on September 10, 2025). EDN: THZRGZ (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Тарасов Константин Геннадьевич, Konstantin G. Tarasov, PhD (Филологический факультет Петрозаводского государственного университета), кандидат филологических наук, Associate Professor of the Department of Classical Philology, Russian Literature and Journalism of the Institute of Philology, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, 185910, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1037-4973>; e-mail: kogetar@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 13.09.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 30.10.2025

Принята к публикации / Accepted 30.10.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15942

EDN: ELQBWG



О многомерности Акакия Акакиевича, или Почему в русской литературе нет образа «маленького человека»

И. А. Есаулов

Литературный институт им. А. М. Горького

(г. Москва, Российская Федерация)

Московский государственный институт международных отношений

(г. Москва, Российская Федерация)

Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

e-mail: ivan.esaulov@icloud.com

Аннотация. В статье пересматривается концепт «маленький человек» — как по отношению к герою гоголевской повести «Шинель» Акакию Акакиевичу, так и по отношению к другим персонажам вершинных произведений русской литературы. Гоголевский персонаж, как давно замечено, выполняет не только страдательную функцию, он в высшей степени отличается от того, что передавалось марксистским штампом — «типичные характеры в типичных обстоятельствах», обозначая так называемый «критический» реализм. В статье акцентируются нетипичные черты Акакия Акакиевича, свидетельствующие о его многомерности, несводимости к «типу». Если романтическая линия в изображении своего персонажа Гоголем уже отмечалась, как и житийная традиция, то традиция юродства по отношению к этому персонажу, в сущности, не рассматривалась. В статье полемически отвергаются новейшие попытки осуждения персонажа, которые исходят из буквалистски-законнических установок приложения к художественной литературе чуждых ей критериев. Истолкование сущности персонажа связано с рецептивной активностью исследователей: в одном случае он служит своего рода одномерной «иллюстрацией» социологических представлений о «должной» позиции литератора по отношению к исторической России (при этом многомерность в изображении человека редуцируется до репрезентации «типа»), в другом к нему прилагается явно не подразумеваемая Гоголем законническая «мера». В том и другом случаях подлинное понимание отсутствует. Не только Акакий Акакиевич, но и другие герои вершинных произведений русской литературы сопротивляются исследовательскому стремлению их «опредметить». Концепция «маленького человека» не определяет главного в русской литературе, она не только затемняет смысл ее произведений, но и уведит исследователей на ложный путь в их толковании, второстепенное и маргинальное представляя как основное и главное. Ведущий вектор русской классики не «гуманистический», но христианский, который хотя

и осложнен парафрастическим соединением православного предания с европейской культурой, но в своей глубине отечественная классика наследует все-таки именно православной традиции, в пределах которой «маленького человека» быть не может, ибо она — христоцентрична.

Ключевые слова: русская литература, аксиология, христианская традиция, юродство, Гоголь, повесть, «Шинель», антропология, маленький человек

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, № 24-18-00636 «Русская литературная критика как целостный феномен: многообразие исторических форм и взаимная дополнительность ценностно-методологических оснований», <https://rscf.ru/project/24-18-00636/>; Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского).

Для цитирования: Есаулов И. А. О многомерности Акакия Акакиевича, или Почему в русской литературе нет образа «маленького человека» // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 112–132. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15942. EDN: ELQBWG

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15942

EDN: ELQBWG

On the Multidimensionality of Akaki Akakievich, or Why There Is No Image of a “Little Man” in Russian Literature

Ivan A. Esaulov

*The Maxim Gorky Literature Institute
(Moscow, Russian Federation)*

*Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University)
(Moscow, Russian Federation)*

*Russian Christian Humanitarian Academy Named After F. M. Dostoevsky
(Saint Petersburg, Russian Federation)*

e-mail: ivan.esaulov@icloud.com

Abstract. The article revises the concept of the “little man” — both in relation to the character of Gogol’s short novel “The Overcoat” Akaki Akakievich, and in relation to other characters of the crowning works of Russian literature. Gogol’s character, as has long been noted, does not merely have a passive role, he is significantly different from what was conveyed by the Marxist cliché — “typical characters in typical circumstances,” which denotes the so-called “critical” realism. The article emphasizes the atypical features of Akaki Akakievich, indicating his multidimensionality, irreducibility to a “type.” The romantic plot line in Gogol’s depiction of his character has already been noted, as well as the hagiographic tradition, while the tradition of “foolishness for

Christ” in relation to this character has not essentially been considered. The article polemically rejects the most recent attempts to condemn this character, which stem from the literalist and legalistic attitudes of applying criteria alien to fiction. The interpretation of the essence of the character is connected with the receptive activity of researchers: in one case, he serves as a kind of one-dimensional “illustration” of sociological ideas about the “proper” position of a writer in relation to historical Russia (in this case, the multidimensionality of a person’s depiction is reduced to the representation of a “type”), in another case, a legalistic “measure” that is clearly not implied by Gogol, is applied to him. In both cases, there is no genuine understanding. Not only Akaki Akakievich, but also other characters of the crowning works of Russian literature resist the researchers’ desire to “objectify” them. The concept of the “little man” does not define the main concept in Russian literature, it not only obscures the meaning of its works, but also leads researchers down a false path in their interpretation, presenting the secondary and marginal as the main and essential. The main vector of Russian classics is not “humanistic”, but Christian. While complicated by the paraphrastic connection of Orthodox tradition with European culture, at its heart, Russian classics are still successors to the specifically Orthodox tradition, within which there can be no “little man”, for it is Christocentric.

Keywords: Russian literature, axiology, Christian tradition, foolishness for Christ, Gogol, short novel, “The Overcoat”, anthropology, the little man

Acknowledgments. The research was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 24-18-00636 “Russian Literary Criticism as a Holistic Phenomenon: Diversity of Historical Forms and Mutual Complementarity of Value-Methodological Foundations”, <https://rscf.ru/project/24-18-00636/>; Russian Christian Humanitarian Academy Named After F. M. Dostoevsky).

For citation: Esaulov I. A. On the Multidimensionality of Akaki Akakievich, or Why There Is No Image of a “Little Man” in Russian Literature. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 112–132. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15942. EDN: ELQBWG (In Russ.)

Акакию Акакиевичу суждена была долгая посмертная жизнь — не только в повести «Шинель», но и в разнообразных, иногда взаимоисключающих, ее интерпретациях. Чаще всего ему приходилось быть своего рода наглядным пособием, или, другими словами, смиренно репрезентировать образ некоего «маленького человека». И это обозначение, отсутствующее в самом гоголевском тексте, Акакий Акакиевич принимал с таким же смирением, как и то, что сослуживцы «сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом» [Гоголь: 143].

Но если в повести Гоголя персонажу в конце концов удалось таки поймать за воротник то «значительное лицо» [Гоголь:

163], которое его так сильно обидело, то со странной репутацией «маленького человека» (которую он приобрел в нашем филологическом цехе), дело обстоит куда более печально. Полагаю, что пришло время освободить, наконец, Акакия Акакиевича от этой этикетки (или, лучше сказать, клейма).

Гоголевский персонаж — именно в силу своей многомерности — отнюдь не соответствует этой словесной этикетке. И дело не только в том, что «генеральская шинель» оказалась ему в итоге, как подчеркивается в тексте, «*совершенно по плечам*» (курсив мой. — *И. Е.*) [Гоголь: 173]. Вспомним при этом, что генерал-то был отнюдь не «маленьким»: он имел «*богатырскую наружность*» (курсив мой. — *И. Е.*). Но и этого богатыря-генерала наш персонаж «поймал за воротник» [Гоголь: 173], что вряд ли было бы по силам Акакию Акакиевичу, оставаясь он сам «маленьким человеком». Дело, однако, и не в том только, что смиреннейший персонаж оказывается сначала бунтарем, а затем и мстителем.

Дело в том, что есть еще более существенное обстоятельство, не позволяющее Акакия Акакиевича так характеризовать: в отличие от всех своих товарищей, сослуживцев-чиновников, он и в своей *земной* жизни имел одну особенность.

Его литературные сотоварищи — Евгений из «Медного всадника», Самсон Вырин из «Станционного смотрителя» — еще могут, хотя и с некоторой натяжкой, о которой ниже, воплощать определенный «типаж». А вот у гоголевского персонажа, помимо низкого — в социальном отношении — чина титулярного советника, который он сам же решительно не желал повышать, имеется и нечто необыкновенное: *свой собственный* иной мир, максимально далекий от прозаической повседневности.

Если другие чиновники — филистеры, обыватели, то Акакий Акакиевич — *романтик*, наследующий именно романтической традиции. Этим он, как романтик, и отличается от «толпы».

«Он не думал вовсе о своем платье <...>. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник...» [Гоголь: 145].

Переписывание для него не внешняя «служба», но погружение в особую вселенную:

«Там <...> ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир...» [Гоголь: 144].

Он любит (вполне бескорыстно, до самозабвения) *сам процесс письма*, живет им:

«Наслаждение выразалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами...» [Гоголь: 144].

Никакого прагматического смысла эта любовь (как и всякая настоящая любовь) не имеет. Как мы помним, иной раз Акакий Акакиевич и у себя дома «снял нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя» [Гоголь: 145].

Если «чиновный народ» после службы предается пошлomu досугу, как и полагается «толпе» в романтических произведениях¹, романтик Акакий Акакиевич еще не подозревая, что его «назначат» маленьким человеком, продолжает жить в совершенно другом измерении, в другом мире², и «когда всё стремится развлечься», «написавшись *в-сласть*, он ложился спать, *улыбаясь заранее* при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог даст переписывать завтра» (курсив мой. — И. Е.) [Гоголь: 146]. И, что особенно важно подчеркнуть, Акакий Акакиевич, «*умел быть довольным своим жребием*» (курсив мой. — И. Е.) [Гоголь: 146].

¹ Ср.: «... чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенков; кто на вечер истратит его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет, просто, к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний; <...> все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, <...> или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента...» [Гоголь: 146].

² Поэтому представлению о том, будто бы «ничтожный Акакий Акакиевич <...> мало чем отличается от окружающего мира» [Виноградов: 230, 232], противоречит сам текст гоголевской повести.

Романтические *черты* гоголевского персонажа были уже справедливо отмечены в свое время (см.: [Манн, 1978: 384–386], [Маркович: 81–87]). К сожалению, это не привело исследователей к переосмыслению того, что, со ссылкой на В. Г. Белинского³, и было названо «маленьким человеком».

Так что мы имеем все основания подчеркнуть: если «маленькому человеку» полагается «репрезентировать» жизнь определенного слоя общества, то гоголевский персонаж замечателен ровно *противоположным*: он резко *выделяется* из общего ряда как в своей земной жизни, так и в посмертном существовании.

Нельзя не сказать и о том, что в нашем литературоведении с некоторого времени стала проявляться и другая тенденция — сурового *осуждения* Акакия Акакиевича (см., например: [Бухаркин], [Виноградов]). Это может показаться скверным анекдотом, но попрекают его именно за *шинель*, за то, что, гоголевскими словами, «перед самым концом жизни» у него «мелькнул светлый гость в виде шинели, *ожививший* на миг бедную жизнь...» (курсив мой. — *И. Е.*) [Гоголь: 169].

Согласно назидательно-законнической логике, слишком уж Акакий Акакиевич прилепился к своей новой шинели, слишком уж радуется ей, а надо бы, очевидно, оставаться «маленьким человеком» и символизировать угнетенный народ своим старым *капотом*, зачем он не замерзает в нем насмерть? Зачем он вместо этого так доволен своей новой шинелью, прямо-таки как «подругой» [Гоголь: 154], зачем любитесь «сукном и подкладкой» [Гоголь: 158] — вместо того, чтобы углубиться в духовные запросы? Зачем так возлюбил земное, что после обретения новой шинели «после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал⁴ на постели, пока не потемнело» [Гоголь: 158]?

³ В. Г. Белинский писал: «Сделайся наш городничий генералом — и, когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку... тогда из комедии могла бы выйти трагедия для "маленького человека"...» [Белинский: 468].

⁴ Дабы посильнее заклеить гоголевского персонажа, уличить его в отсутствии должной «жертвенности» по отношению к службе [Виноградов: 224], привлекается и черновая редакция «Шинели», в которой Акакий Акакиевич в свободное от службы время «отлеживался во всю волю на кровати» [Гоголь: 448]. При этом совершенно игнорируется и шуточный тон Гоголя

Самого Н. В. Гоголя, который лучшие годы своей жизни провел в роскошной Италии и любил пить кофе в *Греко*, лучшей римской кофейне, отчего-то не попрекают «земным, слишком земным», а вот его персонажа попрекают — *шинель*⁵: то есть тем, что у него единственно-то и появилось — как защита от «сильного врага всех получающих четыреста рублей в год жалования» [Гоголь: 147].

Такого рода филологическое законничество, суть которого — инкриминировать и без того обижаемому Акакию Акакиевичу еще и бездуховность⁶, сближается с претензиями Макара

в окончательной редакции («так немножко посибаритствовал»), и, главное, то, что в этой последней редакции писатель смягчает первоначальный вариант. В целом тенденция привлекать в качестве решающего аргумента отброшенные автором варианты (равно как и уравнивать канонический художественный текст с массивом биографических сведений, у которых были самые разные прагматические функции) не представляется научно продуктивной — и возвращает литературоведение к уже как будто преодоленному в истории филологии «биографизму» (см. подробнее: [Есаулов, 2010; 2021: 36–37]).

⁵ Ср.: «История Акакия Акакиевича становится развернутой иллюстрацией к евангельским словам: он, вопреки предостережению, стремится собирать богатства на земле...» [Бухаркин: 118]. В гоголевском тексте действительно имеется целый перечень всех «богатств», которые собрал «на земле» персонаж: «...пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот» [Гоголь: 168].

⁶ Ср.: «...Акакий Акакиевич прежде всего человек, выбравший мир, а не Бога, земное, а не небесное» [Бухаркин: 119]. Равно как инкриминированное персонажу «неисполнение высоких, священных обязанностей государственной службы», по формулировке И. А. Виноградова (однако никак не подтверждаемой текстом самой гоголевской повести). Так, совершенно игнорируется, что на месте Акакия Акакиевича после его кончины «сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее» [Гоголь: 169], иными словами, *гораздо хуже* справлявшийся со своими «обязанностями» переписчика. Как представляется Виноградову, «исполнение служебных обязанностей — в их подлинном <...> значении — решило бы <...> и проблему "шинели", проблему материального достатка» [Виноградов: 222, 221], однако в том-то и дело, что *шинель* в поэтическом мире Гоголя отнюдь не сводится к «материальному достатку» (как и *переписывание* для персонажа также далеко не является только лишь средством заработка). Замечу, что и «тему "мертвой души" рядового, "маленького" человека», по мнению цитируемого мной исследователя, «основополагающую тему повести» [Виноградов: 229], он «доказывает» не рассмотрением поэтики самого произведения в его целом, а словно бы поверх текста, преимущественно обращаясь к нехудожественным источникам. Поэтому резко критикуя

Девушкина, который желал бы прямого назидательного авторского добавления: мол, почему бы не показать *прямо*, что персонаж «верил в Бога и умер <...> оплаканный» [Достоевский: 63].

«Значительное лицо», генерал, и тот «скоро по уходе бедного распеченного в-пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения <...>. ...он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему» [Гоголь: 171]. С позиций же филологического законничества (см. типологически сходный вариант: [Есаулов, 2008: 628–660]) несчастный Акакий Акакиевич *распекается* даже и за «какую-то даму», за которой было «побежал было вдруг» персонаж [Виноградов: 230] «неизвестно почему», невзирая на то, что «однакож он *тут же остановился* и пошел опять по-прежнему *очень тихо* (курсив мой. — И. Е.)» [Гоголь: 160], то есть преодолел искушение. Можно сказать, вспомнив гоголевский текст, в осуждении героя доминирует «строгость, строгость и — строгость» [Гоголь: 164].

Между тем помимо романтической линии, резко осложняющей «страдательную» функцию героя, в гоголевской повести имеется и еще одна традиция, на которую неоднократно обращалось внимание, — *житийная* (см., например: [Driessen], [Турбин: 82], [Гончаров: 160]). Наиболее концептуально убедительно ее проводит В. М. Маркович, подчеркивая в персонаже «очевидную предызбранность для будущего жизненного пути, безбрачие, отказ от жизненных благ и мирских соблазнов, исполнение черных работ, бегство от суеты, уклонение от любых возможностей возвышения, уединение, молчание, непреоборимую внутреннюю сосредоточенность на своей задаче» [Маркович: 83].

Конечно, эти житийные черты так или иначе осложняются и трансформируются (см., например: [Дилакторская: 163–165]), революционно-демократическую линию в истолковании «Шинели», Виноградов парадоксальным образом вполне соглашается с Н. Г. Чернышевским, цитируя его известные строки о том, что «Акакий Акакиевич <...> был круглый невежда и совершенный идиот» [Чернышевский: 857]. В огласовке же Виноградова герой — «ничтожный Башмачкин»: как ему представляется, повесть написана о «ничтожном чиновнике Акакии Акакиевиче» [Виноградов: 229]. В двух разных вариантах мы видим умаление и «опредмечивание» личности, низведение ее до «маленького человека».

как это вообще происходит чаще всего в художественной литературе Нового времени (см.: [Есаулов, 2005, 2009]). Однако же укорять Акакия Акакиевича тем, что в отличие от святого Акакия (из сорока мучеников Севастийских), он обрел новую шинель, а не замерз насмерть в старой, как замерзли мученики во льду Севастийского озера [Виноградов: 231], вряд ли продуктивно. Кажется, никто ведь и не утверждал, что гоголевский Акакий Акакиевич — *святой*, речь идет исключительно о наследовании *художественным текстом* Гоголя житийной традиции, а не о законническом назидательном «примере», прямой иллюстрации катехизиса.

Вот только какой именно житийной традиции наследует в данном случае Гоголь? По-видимому, речь идет о традиции *юрродства* [Есаулов, 2017: 385–409], которой наследует и другой известный *переписчик* (и опять отнюдь не «маленький человек») — князь Мышкин (см.: [Есаулов, Тарасов, Сытина: 73–101]). У М. Н. Эпштейна имеется давняя работа, где, при сопоставлении этих двух переписчиков, удачно сформулировано, что они представляют собой «вариацию одного типа» [Эпштейн: 80], — вот только какого именно «типа» (помимо общей любви к переписыванию)? По-видимому, это особый тип смиренного юродства⁷.

Какова цель юродивого? Живя в «аду» здешнего падшего мира, заставить плакать над смешным, а тем самым содействовать спасению души; не только собственной, но, прежде всего, своих падших братьев во Христе. Достигается ли это в «Шинели»?

На «значительное лицо» происшествие с шинелью оказало «сильное впечатление» [Гоголь: 173]; используя другую терминологию, оно его *вразумило*. Но то же самое можно сказать и об «одном молодом человеке», который «по примеру других, позволил было себе посмеяться» над Акакием Акакиевичем, но затем, «как будто всё переменилось перед ним и показалось в другом виде» [Гоголь: 143–144]. Итак, «мертвые» прежде «души» персонажей оживали: и решающей причиной тому становится именно Акакий Акакиевич.

⁷ См. общую работу по теме, указывающую на богатую православную традицию: [Дорофеева: 158–195].

Замечу, что и косноязычие гоголевского персонажа часто являлось также особенностью как раз *юродивых*. Так, осколок этого косноязычия, от которого не избавился и *посмертно* Акакий Акакиевич, мы видим в последней в тексте тираде персонажа: «...наконец я тебя *того*, поймал за воротник» (курсив мой. — *И. Е.*) [Гоголь: 172]. Собственно, по этому слову — «того» — и можно *вербально* опознать в покойнике Акакия Акакиевича⁸. Так что затруднения с речью (не только устной, но и письменной — потому Акакий Акакиевичу и сложно «переменить кое-где глаголы из первого лица в третье» [Гоголь: 144]) — в русской культурной традиции вполне может отсылать читателя к косноязычию юродивых.

Теперь вернемся к той словесной этикетке, которая в нашем литературоведении обрела статус термина, — «маленький человек». Словарная статья с таким названием, за авторством Ю. В. Манна, имеется в «Литературной энциклопедии терминов и понятий» (а также в Большой российской энциклопедии). В качестве опоры на предшественников указан Белинский. В качестве примеров приводятся как раз «Шинель», «Станционный смотритель», «Бедные люди» (см.: [Манн, 2001]).

Однако сам историко-литературный материал (во всяком случае, в русской литературе) сопротивляется тесной увязке «психологии героя» с его «положением в социальной иерархии» [Манн, 2001]. Например, уже у Пушкина Самсон Вырин, помимо понятного читательского сочувствия, также обнаруживает некую многомерность, не случайно в эпиграфе к повести из стихотворения «Станция» П. А. Вяземского «коллежский

⁸ Эта речевая детализация позволяет скорректировать интерпретацию Ю. В. Манна, согласно которой «нигде призрак чиновника прямо не выступает как призрак Башмачкина, но везде — в виде явления, опосредованного психологическим состоянием встречавших его лиц»; «повествование не опирается на сколько-нибудь определенную идентификацию центрального персонажа и его двойника» [Манн, 2002: 195]. Точно так же требует уточнения и другое оценочное суждение нашего заслуженно известного и авторитетного гоголеведа: «Характерно, кстати, что о достоинствах почерка Акакия Акакиевича ничего не говорится» [Манн, 2002: 194]. Выше — в другой связи — я уже обращал внимание на то, что сменивший Башмачкина «новый чиновник» выводил буквы «не таким прямым почерком (по сравнению с Акакием Акакиевичем. — *И. Е.*), а гораздо наклоннее и косее» [Гоголь: 169]: так что речь у Гоголя идет именно о «достоинствах почерка» своего героя.

регистратор» иронически подан как «почтовой станции диктатор» (пушкинский же герой вполне всерьез и пытается стать подобным «диктатором» судьбы дочери, будучи не готов «отпустить» свою «зablудшую овечку», не желая принимать ее собственного счастья с Минским). Самсон Вырин потому неправ, что пытается законническими лекалами мерить судьбу собственной дочери, ориентируясь на самом деле не на евангельскую притчу — с ее чудом возвращения, — а на ее оскопленное, обрезанное, законническое, бюргерское подобие на немецких картинках: для него собственная дочь — не личность, которая может все-таки быть счастливой с любимым и любящим человеком, а всего только *дочь станционного смотрителя*, т. е. определяется лишь своей социальной ролью. Однако ни он сам, ни его дочь этой «ролью» не определяются и к ней не сводятся (см.: [Есаулов, 2012]; подробнее: [Есаулов, 2020a]).

Другой пушкинский персонаж — Евгений из «Медного всадника» — в своем «бунте» бросает вызов Петру как воплощению государственности, он становится в один ряд с бунтующими волнами, то есть с хтоническим хаосом, грозящим в поэме Пушкина великолепному имперскому Петербургу. Хотя для Евгения в равной мере враждебными оказываются как бушующая водная стихия, так и жестко умиряющая ее неподвижная твердь, символом которой является «лик державца полумира» [Пушкин: 395], однако же нельзя не отметить, что бунт Евгения направлен не на «древнего душегубца», а именно на его усмирителя. Евгений в момент бунта становится союзником «разъяренных вод»: угрозу Петру «шепнул он, злобно задрожав» (ср. «...злые волны, / Как воры, лезут в окна»; «Еще кипели злобно волны») [Пушкин: 395, 387, 390]. Герой, страданиям которого невозможно не посочувствовать, одновременно изображается Пушкиным и «как обуянный силой черной», тогда как Петр, напротив, ассоциируется с противоположным духовным вектором («строитель чудотворный») [Пушкин: 395]. Не случайно венчающая «град Петров» «Адмиралтейская игла» — в отличие от «тьмы ночной» — «светла» [Пушкин: 381]. В этом же духовном контексте дерзновенно реализованная Петром возможность для России

«Ногою твердой стать при море» [Пушкин: 381] означает предельное обострение жесткого противоборства света и тьмы. Водная стихия, которая сравнивается со зверем («...ревела, / Котлом клокоча и клубясь, / И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась» [Пушкин: 386]), требует для себя столь же мощного противодействия и усмирения. Побежденная некогда Петром стихия моря грозит взять реванш («Пред нею / Всё побежало, всё вокруг / Вдруг опустело» [Пушкин: 386]). Тогда как Евгений впадает в гибельное оцепенение и бездействие, поддавшись «зверю»: «...как будто околдован, / Как будто к мрамору прикован, / Сойти не может» [Пушкин: 389]. Однако — это ясно уже из «Вступления» — возможный реванш будущей стихии моря равнозначен духовному поражению России. Устойчивость и неколебимость «Петра творения» именно та «твердыня» России, которая противостоит неуправляемой стихии — с ее «бездной», «мраком» и «мглой»: «...стой / Неколебимо, как Россия, / Да умирится же с тобой / И побежденная стихия» [Пушкин: 381–382] (см. подробнее: [Есаулов, 1994]).

Редукция героев Пушкина, Гоголя и Достоевского до «маленького человека» была призвана акцентировать жестокий социум, показать персонажей в качестве жертв «недолжной» русской действительности, стать своего рода вечным укором — словно бы от лица русской литературы — «царизму» и, в конечном итоге, самому Государству Российскому.

Герои при подобной редукции лишаются собственной многомерности, объективируются и овнешняются, из *субъектов* художественного мира они превращаются в *предмет* для всевозможных, преимущественно социологических, манипуляций — то есть лишаются самодостаточности, воспринимаясь как функции, иными словами, насильственно превращаются в «типические характеры в типических обстоятельствах» [Маркс, Энгельс: 6–7].

Приходится сделать вывод, что сама концепция «маленького человека», ставшая распространенной после критических упражнений Белинского и его последователей, является ложной. Сводя представление о человеке к его социальной роли, к его месту в социальной иерархии, она вступает в противоречие с *христианским* пониманием образа человека. Ср.

противоположное по смыслу евангельское повествование о «маленьком» Закхее (Лк. 19:1–10). Сама эта концепция — один из продуктов революционно-демократической мифологии (см.: [Есаулов, 1998]), по известным причинам слишком долго господствовавшей в нашей филологической науке.

Надо сказать, что в последние десятилетия мы видим убедительную корректировку подобной редуцированной установки. Так, В. Н. Захаров подчеркивает, что в художественном мире Достоевского нет ни «лишних», ни «маленьких» людей: «У него каждый человек велик. Даже Макар Девушкин, социально ничтожный герой первого романа Достоевского. Каждый безмерен и значим, у каждого — свое лицо» [Захаров, 1989: 44]⁹. И в самом деле, Достоевский художественно убедительно показал (вероятно, как никто до него), что любой человек может быть и добрым, и злым, и талантливым, и бездарным. Он только лишь не может быть, собственно, «маленьким» (а может лишь *казаться* таковым). Однако можно ли утверждать, что такой подход к человеку присущ исключительно гению Достоевского? Представляется, что он характеризует русскую литературу как таковую — в ее *вершинных* проявлениях.

Русская словесность Нового времени возникла как парафраз двух потоков — европейской литературы и православной культуры (см.: [Есаулов, 2019]). В ее произведениях память православной традиции проявляется в *уже секулярном* мире, но это такая секулярность, которая все-таки так или иначе помнит о своих христианских истоках, которые обнаруживаются текстуально.

Поэтому персонаж в вершинных произведениях русской словесности не может быть вполне объективирован, овнешнен,

⁹ В других формулировках: «"Маленький человек" оказался "большим". Уникальна динамика развертывания духовного величия "маленького человека" (да и само понятие "маленький человек" меньше всего подходит любым героям Достоевского — у них нет "предела", "потолка")» [Захаров, 1989: 40]; «У Достоевского <...> *каждый безмерен, каждый Шекспир, каждый гений, в каждом человеке есть образ Божий, каждый способен сознать себя в словах и Слове*» [Захаров, 2018: 7]; «Героев Достоевского часто называют "маленьким людьми". С социальной точки зрения это, может быть, и верно, но в онтологическом смысле это не так <...>. Каждый герой конгениален автору» [Захаров, 2019: 237–238]. См. также: [Захаров, 2013: 5–87].

обезличен, как бы выведен за пределы христианского представления о человеке, он не сводится к своей словно бы заведомо *страдательной* функции «маленького человека». В отечественной литературе — в ее магистральном векторе — человек вовсе не является «маленьким»: «простым», то есть одномерным существом, которое, будучи вполне объективировано, словно бы не может быть *личностью*, то есть лишен божественного Лица.

Концепция «маленького человека» не определяет *главного* в русской литературе, она еще может быть уместной по отношению к персонажам второстепенных авторов, их всевозможным антонам горемыкам: к Пушкину же, Гоголю и Достоевскому это понятие неприменимо: оно не только затемняет смысл их произведений, но уводит исследователей на ложный путь в их толковании, второстепенное и маргинальное представляя как основное и главное.

Как «Мертвые души» не являются романом, но поэмой [Есаулов, 2020b], основной вектор русской классики не «гуманистический», но христианский, который хотя и осложнен парафрастическим соединением православного предания с европейской культурой, но в своей глубине наследует все-таки именно *православной* традиции, в которой «маленького человека» быть не может, ибо она — христоцентрична.

До сих пор, к сожалению, в системе нашего образования принято считать, что фраза «Все мы вышли из "Шинели" Гоголя» акцентирует несомненный приоритет изображения «маленького человека» для новой русской литературы.

Однако наша культура богаче подобных редуцированных ее истолкований, которые уже исчерпали свой созидательный потенциал и превратились в клише для механического заучивания. Поэтому от них давно пора освободиться. Например, поздний И. С. Шмелев полемически подчеркивал, что эта литература вышла не из гоголевской «Шинели», а «из духовной сущности русского народа, из томлений его по "правде Божией" на земле...» [Шмелев: 543].

Однако эта прекрасная писательская формулировка, на мой взгляд, все-таки не совсем точная, а потому нуждается в филологическом уточнении. Шмелев исходит, если использовать

тартуско-московский литературоведческий сленг, из того, что «купель Православия» и «Шинель» являются своего рода членами бинарной оппозиции, когда одно заведомо исключает другое. Однако это не так.

Гоголевская «Шинель» также вышла, прежде всего, «из купели Православия», поскольку в повести обнаруживается мерцание гораздо более древней традиции, нежели романтическая. Сама же эта традиция православного юродства подразумевает испытание: способны ли мы увидеть в Акакии Акакиевиче, как это смог «молодой человек», своего брата во Христе — либо же только овнешненного «маленького человека»? Какой мерой мы мерим героя, такой отмерится и нам.

Список литературы

1. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 3. 684 с.
2. Бухаркин П. Е. Риторика и смысл: очерки. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. 168 с. EDN: ZSKHIB
3. Виноградов И. А. «Я брат твой». О повести Н. В. Гоголя «Шинель» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 214–239 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2643> (10.07.2025). EDN: RUYKXP
4. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 3. 725 с.
5. Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1997. 340 с. EDN: RQDAXP
6. Дилакторская О. Г. Фантастическое в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1986. 204 с.
7. Дорофеева Л. Г. Человек смиренный в агиографии Древней Руси (XI — первая треть XVII века). Калининград: Аксиос, 2013. 436 с. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20223535_45398995.pdf (10.07.2025). EDN: RAOISR
8. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972. Т. 1. 519 с.
9. Есаулов И. А. Мифопоэтика морской стихии в русской литературе (некоторые наблюдения) // Морской вектор в судьбах России: история, философия, культура. IV Крымские Пушкинские чтения. Симферополь, 1994. С. 28–30.
10. Есаулов И. А. Революционно-демократическая мифология как фундамент советской истории русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Вып. 5. С. 191–201 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2492> (10.07.2025). EDN: RUYKFN

11. Есаулов И. А. Христианская традиция и художественное творчество // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. Вып. 7. С. 17–28 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2565> (10.07.2025). EDN: RUYLIT
12. Есаулов И. А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. Вып. 8. С. 606–660 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=3471> (10.07.2025). EDN: RUYMSN
13. Есаулов И. А. Традиция и предание как принципы понимания художественного текста // Теория традиции: христианство и русская словесность. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. С. 21–40.
14. Есаулов И. А. Биография, творчество и понимание Гоголя: теоретические проблемы // Н. В. Гоголь и русская литература: к 200-летию со дня рождения великого писателя. Девятые Гоголевские чтения: сб. докладов Междунар. науч. конф., Москва, 1–5 апреля 2009 года. М.: Фестпартнер, 2010. С. 68–74.
15. Есаулов И. А. О сокровенном смысле «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. Вып. 10. С. 25–30 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1457947949.pdf (10.07.2025). EDN: PIXFGR
16. Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. 550 с.
17. Есаулов И. А. Парафраз и становление новой русской литературы (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. С. 30–66 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1561976111.pdf (10.07.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2019.6262. EDN: XDDAMV
18. Есаулов И. А. О любви. Радикальные интерпретации. Магадань: Новое время, 2020. 216 с. (a)
19. Есаулов И. А. Родное и вселенское в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя: парафрастический контекст понимания // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 175–210 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582894223.pdf (10.07.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2020.7322. EDN: SPIJIS (b)
20. Есаулов И. А. Мимесис, катарсис, парафрасис в художественном творчестве и некоторые эстетические установки Гоголя // Гоголь и мировая художественная культура. Двадцатые Гоголевские чтения: сб. науч. ст. по мат-лам Междунар. науч. конф., Москва, 8–10 октября 2020 года. М.; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2021. С. 31–38 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49931377_37664620.pdf (10.07.2025). EDN: PVKYWJ
21. Есаулов И. А., Тарасов Б. Н., Сытина Ю. Н. Анализ, интерпретации и понимание в изучении наследия Достоевского. М.: Индрик, 2021.

- 336 с. [Электронный ресурс]. URL: http://russian-literature.com/sites/default/files/pdf/analiz_dost.2021_mak.pdf (10.07.2025).
22. Захаров В. Н. Что открыл Достоевский в «Бедных людях»? // Достоевский и современность: тезисы выступлений на «Старорусских чтениях». Новгород, 1989. С. 37–41.
 23. Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. 456 с.
 24. Захаров В. Н. Кто гений? Кто Шекспир? Из антропологических открытий Достоевского // Русская словесность. 2018. № 2. С. 3–8 [Электронный ресурс]. URL: http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=81458&SECTION_ID=46 (10.07.2025). EDN: PHBWRM
 25. Захаров В. Н. Антропологический принцип Достоевского // Междисциплинарный синтез гуманитарных наук в эпоху социокультурных и исторических трансформаций: опыт «Русского пути»: сб. мат-лов Всеросс. конф. с междунар. участием, Санкт-Петербург, 29–31 мая 2019 года. СПб.: Изд-во РХГА, 2019. С. 234–243. EDN: QWMZLF
 26. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М. Худож. лит., 1978. 398 с. EDN: UENMKF
 27. Манн Ю. В. Маленький человек // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 2001. С. 494–495.
 28. Манн Ю. В. Заметки о «неевклидовой геометрии» Гоголя, или «Сильные кризисы, чувствуемые целую массой» // Вопросы литературы. 2002. № 4. С. 170–200 [Электронный ресурс]. URL: <https://voplit.ru/article/zametki-o-neeuklidovoj-geometrii-gogolya-ili-silnye-krizisy-chuvstvuyemye-tseloyu-massoyu/> (10.07.2025). EDN: RGEACZ
 29. Маркович В. М. Петербургские повести Н. Гоголя. Л.: Худож. лит., 1989. 208 с.
 30. Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве: [сб.]: в 2 т. М.: Искусство, 1967. Т. 1. 584 с.
 31. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 4. 595 с.
 32. Турбин В. Н. Пушкин. Гоголь. Лермонтов: об изучении литературных жанров. М.: Просвещение, 1978. 239 с.
 33. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. М.: Гослитиздат, 1950. Т. 7: Статьи и рецензии. 1860–1861. 1094 с.
 34. Шмелев И. С. Творчество А. П. Чехова // Шмелев И. С. Собр. соч.: в 5 т. М.: Рус. кн., 1999. Т. 7 (доп.). С. 542–552.
 35. Эпштейн М. Н. Парадоксы новизны: о литературном развитии XIX–XX вв. М.: Сов. писатель, 1988. 416 с.
 36. Driessen F. C. Gogol as a Short-Story Writer: a Study of His Technique of Composition. The Hague; London: Mouton and Co, 1965. 243 p. (Ser.: Slavistische drukken en herdrukken; 57.)

References

1. Belinskiy V. G. *Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh* [The Complete Works: in 13 Vols]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1953, vol. 3. 684 p. (In Russ.)
2. Bukharkin P. E. *Ritorika i smysl: ocherki* [Rhetoric and Meaning: Essays]. St. Petersburg, Saint Petersburg State University Publ., 2001. 168 p. EDN: ZSKHIB (In Russ.)
3. Vinogradov I. A. "I Am Your Brother". On N. V. Gogol's Short Novel "Overcoat". In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2001, issue 6, pp. 214–239. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2643> (accessed on July 10, 2025). EDN: RUYKXP (In Russ.)
4. Gogol' N. V. *Polnoe sobranie sochineniy: v 14 tomakh* [The Complete Works: in 14 Vols]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1938, vol. 3. 725 p. (In Russ.)
5. Goncharov S. A. *Tvorchestvo Gogolya v religiozno-misticheskom kontekste* [Gogol's Works in a Religious and Mystical Context]. St. Petersburg, The Herzen State Pedagogical University of Russia Publ., 1997. 340 p. EDN: RQDAXP (In Russ.)
6. Dilaktorskaya O. G. *Fantasticheskoe v "Peterburgskikh povestyakh"* N. V. Gogolya [The Fantastic in N. V. Gogol's "Petersburg Tales"]. Vladivostok, Far Eastern Federal University Publ., 1986. 204 p. (In Russ.)
7. Dorofeeva L. G. *Chelovek smirennyy v agiografii Drevney Rusi (XI — pervaya tret' XVII veka)* [The Humble Man in the Hagiography of Ancient Rus' (11th — First Third of the 17th Century)]. Kaliningrad, Aksios Publ., 2013. 436 p. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_20223535_45398995.pdf (accessed on July 10, 2025). EDN: RAOISR (In Russ.)
8. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972, vol. 1. 519 p. (In Russ.)
9. Esaulov I. A. Mythopoetics of the Sea Element in Russian Literature (Some Observations). In: *Morskoy vektor v sud'bach Rossii: istoriya, filosofiya, kul'tura: materialy IV Krymskikh Pushkinskikh chteniy, g. Feodosiya, 12–17 sentyabrya 1994 g.* [The Maritime Vector in the Fate of Russia: History, Philosophy, Culture: Proceedings of the 4th Crimean Pushkin Readings, Feodosia, September 12–17, 1994]. Simferopol, The Crimean Research Centre for the Humanities Publ., 1994, pp. 28–30. (In Russ.)
10. Esaulov I. A. Revolutionary-Democratic Mythology as the Basis of Soviet History of Russian Literature. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1998, issue 5, pp. 191–201. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2492> (accessed on July 10, 2025). EDN: RUYKFN (In Russ.)
11. Esaulov I. A. Christian Tradition and Art Creation. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2005, issue 7, pp. 17–28. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2492>

- pro/journal/article.php?id=2565 (accessed on July 10, 2025). EDN: RUYLIT (In Russ.)
12. Esaulov I. A. On the Scylla of the Liberal Progressivism and the Charybdis of Dogmatic Regional Government in the Study of Russian Literature. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2008, issue 8, pp. 606–660. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=3471> (accessed on July 10, 2025). EDN: RUYMSN (In Russ.)
 13. Esaulov I. A. Tradition and Legend as Principles of Understanding a Literary Text. In: *Teoriya traditsii: khristianstvo i russkaya slovesnost' [Theory of Tradition: Christianity and Russian Literature]*. Izhevsk, Udmurt State University Publ., 2009, pp. 21–40. (In Russ.)
 14. Esaulov I. A. Biography, Works and Understanding of Gogol: Theoretical Problems. In: *N. V. Gogol' i russkaya literatura: k 200-letiyu so dnya rozhdeniya velikogo pisatelya. Devyatye Gogolevskie chteniya: sbornik dokladov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Moskva, 1–5 aprelya 2009 goda [N. V. Gogol and Russian Literature: on the 200th Anniversary of the Great Writer's Birth. The Ninth Gogol Readings: a Collection of Papers from the International Scientific Conference, Moscow, April 1–5, 2009]*. Moscow, Festpartner Publ., 2010, pp. 68–74. (In Russ.)
 15. Esaulov I. A. On the Sacred Meaning of “Station Master” by Alexander Pushkin. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2012, issue 10, pp. 25–30. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1457947949.pdf (accessed on July 10, 2025). EDN: PIXFGR (In Russ.)
 16. Esaulov I. A. *Russkaya klassika: novoe ponimanie [Russian Classics: New Understanding]*. 3rd ed., corrected and supplemented. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2017. 550 p. (In Russ.)
 17. Esaulov I. A. Paraphrasis and the Establishment of the New Russian Literature (to the Problem Statement). In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2019, vol. 17, no. 2, pp. 30–66. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1561976111.pdf (accessed on July 10, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2019.6262. EDN: XDDAMV (In Russ.)
 18. Esaulov I. A. *O lyubvi. Radikal'nye interpretatsii [About Love. Radical Interpretations]*. Magadan, Novoe vremya Publ., 2020. 216 p. (In Russ.)
 19. Esaulov I. A. The Native and the Universal in the “Dead Souls” by N. V. Gogol: a Paraphrastic Context of Understanding. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2020, vol. 18, no. 1, pp. 175–210. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582894223.pdf (accessed on July 10, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2020.7322. EDN: SPIJIS (In Russ.) (b)
 20. Esaulov I. A. Mimesis, Catharsis, Paraphrasis in Artistic Works and Some Aesthetic Principles of Gogol. In: *Gogol' i mirovaya khudozhestvennaya kul'tura. Dvadtsatye Gogolevskie chteniya: sbornik nauchnykh statey po materialam Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Moskva, 8–10 oktyabrya 2020 goda [Gogol and World Artistic Culture. The Twentieth Gogol Readings:*

- a Collection of Research Papers Based on the Proceedings of the International Scientific Conference, Moscow, October 8–10, 2020*]. Moscow, Novosibirsk, Novosibirskiy izdatel'skiy dom Publ., 2021, pp. 31–38. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49931377_37664620.pdf (accessed on July 10, 2025). EDN: PVKYWJ (In Russ.)
21. Esaulov I. A., Tarasov B. N., Sytina Yu. N. *Analiz, interpretatsii i ponimanie v izuchenii naslediya Dostoevskogo* [Analysis, Interpretation and Understanding in the Study of Dostoevsky's Heritage]. Moscow, Indrik Publ., 2021. 336 p. Available at: http://russian-literature.com/sites/default/files/pdf/analiz_dost.2021_mak.pdf (accessed on July 10, 2025). (In Russ.)
 22. Zakharov V. N. What Did Dostoevsky Discover in “Poor People”? In: *Dostoevskiy i sovremennost': tezisy vystupleniy na “Starorusskikh chteniyakh”* [Dostoevsky and Modernity: Speech Thesis of the Studies in Staraya Russa]. Novgorod, 1989, pp. 37–41. (In Russ.)
 23. Zakharov V. N. *Imya avtora — Dostoevskiy: ocherk tvorchestva* [The Author's Name Is Dostoevsky: An Essay on Creative Works]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p. (In Russ.)
 24. Zakharov V. N. Who Is a Genius, Who Is Shakespeare? From the Anthropological Discoveries of Dostoevsky. In: *Russkaya slovesnost'*, 2018, no. 2, pp. 3–8. Available at: http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=81458&SECTION_ID=46 (accessed on July 10, 2025). EDN: PHBWRM (In Russ.)
 25. Zakharov V. N. Dostoevsky's Anthropological Principle. In: *Mezhdistsiplinarnyy sintez gumanitarnykh nauk v epokhu sotsiokul'turnykh i istoricheskikh transformatsiy: opyt “Russkogo puti”: sbornik materialov Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Sankt-Peterburg, 29–31 maya 2019 goda* [Interdisciplinary Synthesis of the Humanities in the Era of Socio-cultural and Historical Transformations: The Experience of the “Russian Way”: Proceedings of the All-Russian Conference with International Participation, St. Petersburg, May 29–31, 2019]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2019, pp. 234–243. EDN: QWMZLF (In Russ.)
 26. Mann Yu. V. *Poetika Gogolya* [Gogol's Poetics]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1978. 398 p. EDN: UENMKF (In Russ.)
 27. Mann Yu. V. Little Man. In: *Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy* [Literary Encyclopedia of Terms and Concepts]. Moscow, Intelvak Publ., 2001, pp. 494–495. (In Russ.)
 28. Mann Yu. V. Notes on Gogol's “Non-Euclidean Geometry”, or “Strong Crises Felt by the Entire Mass”. In: *Voprosy literatury*, 2002, no. 4, pp. 170–200. Available at: <https://voplit.ru/article/zametki-o-neeuklidovoj-geometrii-gogolya-ili-silnye-krizisy-chuvstvemye-tseloyu-massoyu/> (accessed on July 10, 2025). EDN: RGEACZ (In Russ.)
 29. Markovich V. M. *Peterburgskie povesti N. V. Gogolya* [St. Petersburg Short Novels by N. V. Gogol]. Leningrad, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1986. 210 p. (In Russ.)

30. Marx K., Engels F. *Ob iskusstve: sbornik: v 2 tomakh* [About Art: a Collection: in 2 Vols]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1967, vol. 1. 584 p. (In Russ.)
31. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 10 tomakh* [The Complete Works: in 10 Vols]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1963, vol. 4. 595 p. (In Russ.)
32. Turbin V. N. *Pushkin. Gogol'. Lermontov: ob izuchenii literaturnykh zhanrov* [Pushkin. Gogol. Lermontov: on the Study of Literary Genres]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1978. 239 p. (In Russ.)
33. Chernyshevskiy N. G. *Polnoe sobranie sochineniy: v 15 tomakh* [The Complete Works: in 15 Vols]. Moscow, Goslitizdat Publ., 1950, vol. 7. 1094 p. (In Russ.)
34. Shmelyov I. S. The Works of A. P. Chekhov. In: *Shmelyov I. S. Sobranie sochineniy: v 5 tomakh* [Shmelyov I. S. Collected Works: in 5 Vols]. Moscow, Russkaya kniga Publ., 1999, vol. 7 (additional), pp. 542–552. (In Russ.)
35. Эпштейн М. Н. *Paradoksy novizny: o literaturnom razvitii XIX–XX vv.* [Paradoxes of Novelty: On Literary Development in the 19th–20th Centuries]. Moscow, Sovetskiy pisatel' Publ., 1988. 416 p. (In Russ.)
36. Driessen F. C. *Gogol as a Short-Story Writer: a Study of His Technique of Composition*. The Hague, London, Mouton and Co Publ., 1965. 243 p. (Ser.: Slavic Printings and Reprints; 57.) (In English)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Есаулов Иван Андреевич, доктор филологических наук, профессор, Литературный институт им. А. М. Горького (Тверской бульвар, 25, г. Москва, Российская Федерация, 123104); Московский государственный институт международных отношений (Проспект Вернадского, 76, г. Москва, Российская Федерация, 119454); Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского (наб. реки Фонтанки, 15, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191023); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5065-2088>; e-mail: ivan.esaulov@icloud.com

Ivan A. Esaulov, PhD (Philology), Professor, The Maxim Gorky Literature Institute (Tverskoy bul'var 25, Moscow, 123104, Russian Federation); Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) (Prospekt Vernadskogo 76, Moscow, 119454, Russian Federation); Russian Christian Humanitarian Academy Named After F. M. Dostoevsky (nab. reki Fontanki 15, Saint-Petersburg, 191023, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5065-2088>; e-mail: ivan.esaulov@icloud.com

Поступила в редакцию / Received 20.07.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 25.09.2025

Принята к публикации / Accepted 27.09.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15442

EDN: GYGAOA



Поэтика аутентичного текста М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно! — и некому руку подать...» (1840)

И. А. Киселева

*Государственный университет просвещения
(г. Москва, Российская Федерация)*

e-mail: irina-sever03@yandex.ru

Аннотация. Объектом исследования стали хранящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) автограф стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно! — и некому руку подать...» (1840), с авторской правкой, а также история его публикаций — от первой, в «Литературной газете» (1840), до научных изданий XX–XXI вв. Цель исследования связана с выявлением специфики лермонтовского мышления, особенностей его миропонимания, запечатленных в дефинитивном тексте стихотворения. Аргументирована необходимость пересмотра традиционного подхода при подготовке произведения к печати. Сопоставление его автографа с прижизненными публикациями в «Литературной газете» и первом сборнике стихотворений (1840), а также в последующих научных изданиях выявило, что текст воспроизводился неточно: со значительным отступлением от авторской пунктуации (значимые тире зачастую были удалены или перенесены, добавлены многоточия, восклицательный знак в конце стихотворения заменен многоточием) и даже лексической заменой. Обращение к автографу стихотворения позволяет выявить целесообразность знакомства читателей с аутентичным текстом, который дополняет картину лермонтовского мироощущения и углубляет понимание произведения. Анализ конструируемых поэтом многочисленных антитез, внимание к авторской пунктуации позволили в результате исследования преодолеть штампы восприятия стихотворения и дать его трактовку, согласующуюся с мирозерцанием Лермонтова. В статье выявлены смысловые центры текста, связанные с выражением духовно-душевного состояния лирического героя, для последнего — определены ценностные константы его душевной жизни. Прочтение стихотворения в аутентичном виде позволило приблизиться к пониманию душевного устройства поэта, особенностей его мышления и раскрыть духовные смыслы лермонтовского шедевра.

Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, «И скучно и грустно», черновой автограф, текстология, издательская традиция, авторская пунктуация, художественный образ, онтология

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 24-28-00207 «Лирика М. Ю. Лермонтова 1840 года: текстология, аксиология, поэтика», <https://rscf.ru/project/24-28-00207/>).

Для цитирования: Киселева И. А. Поэтика аутентичного текста М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно! — и некому руку подать...» (1840) // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 133–157. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15442. EDN: GYGAOA

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15442

EDN: GYGAOA

The Poetics of M. Yu. Lermontov's Authentic Text “So Dull, So Sad! — and No One to Lend a Hand...” (1840)

Irina A. Kiseleva

*State University of Education
(Moscow, Russian Federation)*

e-mail: irina-sever03@yandex.ru

Abstract. The object of research is the autograph of Lermontov's poem “So Dull, So Sad! — and No One to Lend a Hand...” (1840), which is stored in the Russian State Archive of Literature and Art (RGALI) and contains the author's edit, as well as the history of its publication: from the first in “Literaturnaya gazeta” (1840) to scientific publications in the 20th — 21st centuries. The purpose of research is to identify the specifics of Lermontov's thinking, the features of his worldview captured in the definitive text of the poem. The need to revise the traditional approach to preparing a work for publication is discussed. A comparison of the autograph with the publications of the poem in “Literaturnaya gazeta” and the first collection of poems (1840), as well as in subsequent scientific publications, revealed that the text was reproduced inaccurately, with significant divergences from the author's punctuation (significant dashes were often removed or moved, ellipses were added, the exclamation mark at the end of the poem was removed), conjunctions and a pronominal were replaced with adverbs. It demonstrates that turning to the autograph of the poem “So Dull, So Sad! — and No One to Lend a Hand...” allows to identify the expediency of introducing readers to the authentic text, which complements the representation of Lermontov's worldview and deepens the understanding of the text. The analysis of the numerous antinomies constructed by the poet and attention to the author's punctuation allowed to overcome the clichés of the poem's perception and provide an interpretation consistent with Lermontov's worldview. The article identifies the semantic centers of the poem associated with the expression of the spiritual and mental state of the lyrical hero, and defines the value constants of his spiritual life. Reading the poem in its authentic form allows us to get closer to understanding the poet's mental state, the peculiarities of his thinking and reveal the spiritual meanings of Lermontov's masterpiece.

Keywords: M. Yu. Lermontov, “So Dull, So Sad”, draft autograph, textual criticism, publishing tradition, author’s punctuation, artistic image, ontology

Acknowledgments. The research was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 24-28-00207, <https://rscf.ru/project/24-28-00207/>).

For citation: Kiseleva I. A. The Poetics of M. Yu. Lermontov’s Authentic Text “So Dull, So Sad! — and No One to Lend a Hand...” (1840). In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics], 2025, vol. 23, no. 4, pp. 133–157. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15442. EDN: GYGAOA (In Russ.)

Стихотворение «И скучно и грустно! — и некому руку сподать...» (1840) является одним из шедевров лермонтовской лирики. Его черновой автограф с авторской правкой¹ сохранился в составе коллекции С. А. Рачинского на одной странице с наброском стихотворения «Посреди небесных тел...» (1840). На обороте листа находится черновой автограф стихотворения «К портрету» (1840) (см.: [Киселева, Поташова, 2024a]). Впервые это произведение появилось в «Литературной газете» за 1840 г.², с незначительными изменениями вошло в первое прижизненное собрание стихотворений Лермонтова (1840) и сразу же получило отклики в литературной критике. В. Г. Белинский, выделяя его наряду с «Казачьей колыбельной песней» (1838) и «Молитвой» («В минуту жизни трудную...») (1839), признавал, что «Пушкин умер не без наследника» [Белинский: 231]. Совершенно справедливо полагая, что истина сама по себе уже есть «высочайшая нравственность», критик писал, что «из того же самого духа поэта, из которого вышли такие безотрадные, леденящие сердце человеческое звуки, из того же самого духа вышла» и лермонтовская традиционная молитвенная лирика — «мелодия надежды, примирения и блаженства в жизни жизнью» [Белинский: 185]. Духовное содержание стихотворения отмечали и в литературоведении XX в. Г. Д. Гачев рассматривал его как знаковый текст, отражающий идею зарождения передачи в художественном слове «диалектики души», как погружение на «дно внутреннего

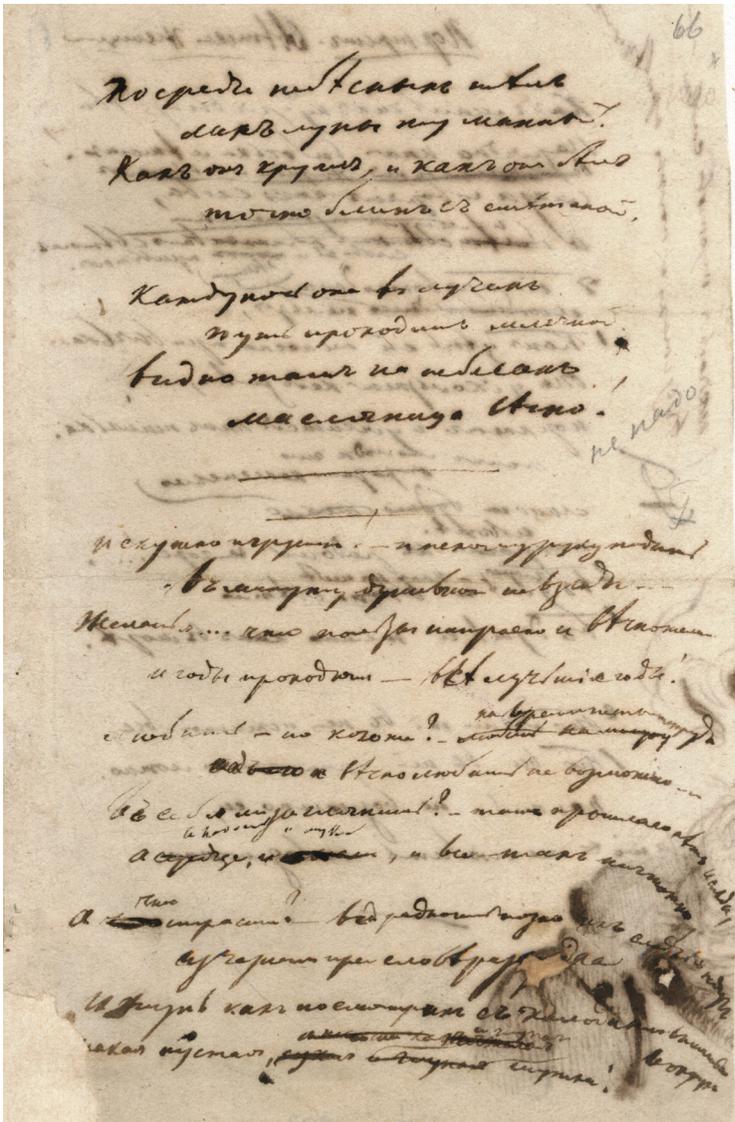
¹ Лермонтов М. Ю. И скучно и грустно... // РГАЛИ. Ф. 427 (Рачинские). Оп. 1. Ед. хр. 986 (Альбом автографов, собранных Сергеем Александровичем Рачинским). Крайние даты: 19 октября 1816 — 8 мая 1869. Л. 66.

² Литературная газета. 1840. № 6. 20 января. Стлб. 133. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения ЛГ.

мира», считая, что Лермонтов в нем «сразу включает ток внутренней жизни, обнажает борьбу взаимно-противоречивых влечений и мыслей» [Гачев: 267]. В современной науке с ее тяготением к структурно-семантическому анализу наметились тенденции к изучению грамматики данной элегии; ценными представляются те из них, в которых форма текста ставится в непосредственную связь с его содержанием. Так, например, И. Н. Лукьяненко отмечает, что употребление в нем Лермонтовым бессубъектных предложений «напрямую соотносится с одним из важнейших вопросов, решаемых им в последние годы жизни, — вопросом о свободе воли и предопределении судьбы человека» [Лукьяненко: 67]. Традиция рассмотрения стихотворения как результата духовных усилий поэта по осмыслению человеческого бытия и сама сила эмоционального воздействия произведения побуждают отнестись к его тексту с особым вниманием. При наблюдении над историей изданий стихотворения были выявлены некоторые расхождения, касающиеся преимущественно его пунктуации. Сравнение публикаций текста (в том числе прижизненной — в сборнике стихотворений Лермонтова 1840 г.) с автографом позволяет говорить о целесообразности знакомства читателей с рукописным первоисточником, который дополнит картину лермонтовского мироощущения и углубит понимание произведения: ведь читать текст в авторской пунктуации — «все равно что по нотам читать партитуру композитора» [Захаров, 1999: 195]. Реконструкция авторского синтаксиса позволит рассмотреть «поэтику стихотворения в неразрывной связи с авторским сознанием» [Киселева, Поташова, 2020: 131].

Далее представлены фрагмент листа с черновым автографом стихотворения Лермонтова «И скушно и грустно! — и некому руку подать...» (см. *Илл. 1*), а также транскрипция лермонтовской рукописи в сопоставлении с изданием в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова»³ (1840) и указанием разночтений с первой публикацией в «Литературной газете» (см. *Табл. 1*).

³ Стихотворения М. Лермонтова. СПб.: Тип. Ильи Глазунова и К°, 1840. С. 109–110. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *1840* и указанием страницы в круглых скобках.



Илл. 1. Черновой автограф стихотворения М. Ю. Лермонтова
«И скушно и грустно! — и некому руку подать...»⁴

Fig. 1. The draft autograph of M. Yu. Lermontov's poem
"So Dull, So Sad! — and No One to Lend a Hand..."

⁴ Место хранения автографа: РГАЛИ. Ф. 427 (Рачинские). Оп. 1. Ед. хр. 986. Л. 66.

Таблица 1 / Table 1

№ стиха	Черновой автограф (РГАЛИ. Ф. 427.1.986. Л. 66)	Публикация 1840 г. (сб. «Стихотворения М. Лермонтова»)
	(заглавие отсутствует)	И скучно, и грустно.
1	<i>И скушно и грустно! — и некому руку подать</i>	И скучно, и грустно, и некому руку подать (В ЛГ: И скучно!... и некому руку подать)
2	<i>въ минуту душевной невзгоды...</i>	Въ минуту душевной невзгоды...
3	<i>Желанья... что пользы напрасно и вѣчно желат<ь></i>	Желанья!.. что пользы напрасно и вѣчно желать?..
4	<i>и годы проходятъ — всѣ лучшіе годы! а. и годы проходятъ — въ б. и годы проходятъ — всѣ лучшія годы!</i>	А годы проходятъ — всѣ лучшіе годы!
5	<i>Любить — но кого же? — на время не стоитъ труда а. Любить — но кого же? — любить на минуту</i>	Любить... но кого же?.. на время — не стоитъ труда,
6	<i>а вѣчно любить не возможно... а. Начато: А долго и<ъ> б. Начато: надолго</i>	А вѣчно любить невозможно.
7	<i>Въ себя ли заглянишь? — тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда,</i>	Въ себя ли заглянешь? — тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:
8	<i>а радость и муки, и все — такъ ничтожно, а. а * сердце, и мысли, и все — такъ ничтожно, (*а не зачеркнуто)</i>	И радость, и муки, и все тамъ ничтожно... (В ЛГ: мука)
9	<i>Что страсти? — вед<ь> радно (sic!) иль поз<д>но ихъ сладкія (sic!) недугъ а. Начато: Что страсти? — вс<ъ> б. Начато: А * страсти? (*А не зачеркнуто)</i>	Что страсти? — вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ

10	<i>изчезнетъ при словѣ разсудка</i>	Исчезнетъ при словѣ разсудка;
11	<i>И жизнь какъ посмотришь<ъ> съ холоднымъ вниманьемъ<ъ> вокругъ</i>	И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ —
12	<i>такая пустая и глупая шутка! а. такая пустая, сухая и глупая шутка! б. такая пустая, и<ъ> несносна<ъ> какъ глупая шутка! в. такая пустая, тяжелая шутка!</i>	Такая пустая и глупая шутка...

Практически все научные издания воспроизводили вариант стихотворения, идентичный публикации в прижизненном сборнике, с редкими вариациями пунктуации в первом стихе (все научные издания советского времени следовали автографу и не ставили запятую между словами «и скучно и грустно», издание 2014 г. восстанавливает эту запятую [Лермонтов, 2014: 312]); в четырехтомном собрании сочинений (1961–1962; 2-е изд.: 1979–1981) впервые добавлена отсутствующая в прижизненном издании запятая в конце 11-го стиха, закрывающая вводную конструкцию [Лермонтов, 1961: 468; 1979: 426]. Наиболее близким к автографу (факсимиле которого публикуется тут же) является вариант Полного собрания сочинений 1935–1937 гг. под редакцией Б. М. Эйхенбаума, хотя и там есть разночтения с оригиналом, проявляющиеся в расстановке знаков препинания (в 3, 5, 8, 10, 11-м стихах), замене слов (союзов «и» на «а» — в начале 4-го стиха, «а» на «и» — в начале 8-го стиха; частицы «так» на местоименное наречие «там» в 8-м стихе — эта лексическая мена наблюдается во всех изданиях, начиная с обоих прижизненных) и постановке ударения в слове «нѣкому» в 1-м стихе (как в 1840). Только в издании 1935–1937 гг. сохранен лермонтовский вариант написания предикатива «скушно» [Лермонтов, 1936: 60],

отражающий произносительную норму⁵. В иных публикациях выявлены неоправданные пунктуационные мены относительно автографа в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12-м стихах: устранены или добавлены многоточия, восклицательные и вопросительные знаки, точки, знак тире, происходит вольная замена запятых, что практически всегда соответствует изданию в сборнике стихотворений 1840 г.

Проанализируем подробнее разночтения между черновым автографом стихотворения и его прижизненной публикацией в отдельном издании. В 1-м стихе прижизненного издания (1840: 109; а также в издании 2014 г. [Лермонтов, 2014: 312]) в первой части поставлена отсутствующая в автографе запятая; также заменены на запятую восклицательный знак и тире: «И скучно, и грустно, и некому руку подать» / «И скушно и грустно! — и некому руку подать».

В 3-м стихе добавлены восклицательный знак — в начале стиха и комбинация вопросительного знака с многоточием — в конце: «Желанья!.. что пользы напрасно и вѣчно желать?..» / «Желанья... что пользы напрасно и вѣчно желат<ь>».

В 4-м стихе начальный союз «и» заменен союзом «а»: «А годы проходить — всѣ лучшіе годы!» / «и годы проходят — всѣ лучшіе годы!».

В 5-м стихе при публикации в конце добавлена необходимая перед противительным союзом «а» запятая, не прочитывающаяся в рукописи (поскольку вторая часть стиха представляет собой запись над строкой с недописанными словами); знак тире перенесен в другую часть предложения, что принципиально меняет синтаксис стихотворения: «Любить... но кого же?.. на время — не стоить труда,» / «Любить — но кого же?.. на время не стоить труда».

В 7-м стихе запятая заменена точкой с запятой: «Въ себя ли заглянешь? — тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда;» / «Въ себя ли заглянишь? — тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда,».

⁵ Согласно «Частотному словарю языка М. Ю. Лермонтова», в таком написании это слово встречается в текстах поэта не менее 4 раз, наравне с общеупотребительным «скучно» [Частотный словарь]. В современных публикациях, если воспроизводить в данном случае оригинальную орфографию («скушно»), необходимо оговаривать это в примечании.

Самые значимые изменения, полностью меняющие грамматическую структуру предложения и заметно искажающие изначальный смысл текста, видим в 8-м стихе: «И радость, и муки, и все тамъ ничтожно...» / «*а радость и муки, и все — такъ ничтожно*». Замена начального союза («а» на «и») и хорошо читающейся в автографе усилительной частицы «*такъ*» на указательное наречие места «там» повлекла за собой и постановку других знаков препинания — при таком прочтении предложение прочитывалось как ряд трех однородных подлежащих при повторяющемся союзе «и», требующем постановки двух запятых (и радость, и муки, и всё там ничтожно). Изначальный рукописный текст имел совершенно другое членение: 1) описание внутреннего состояния лирического героя (7-й — первая половина 8-го стиха) (*Въ себя ли заглянишь? — тамъ прошло нѣтъ и слѣда, а радость и муки*); 2) анализ этого состояния (*и все — такъ ничтожно*).

В конце 10-го стиха при публикации был добавлен знак точка с запятой, который у Лермонтова обычно достаточно четко читается. Учитывая, что в автографе этот знак отсутствует, на его месте целесообразнее поставить точку: пауза там логична, а в рукописях Лермонтов нередко опускал знак точки в конце предложения как подразумеваемый; кроме того, в таком случае третья строфа уподобится по структуре двум первым, где первые два стиха представляют собой отдельные законченные предложения.

Исправления, внесенные в 11-й стих, стоит признать оправданной конъектурой: они связаны с выделением вводной конструкции, имеющей значение субъективной оценки («И жизнь, **какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ** —»), однако логичнее было бы выделить ее с двух сторон запятыми, чем вносить более эмоционально нагруженный знак тире.

Заключительный 12-й стих в черновом автографе заканчивается восклицательным знаком («*такая пустая и глупая шутка!*»), тогда как все издания, кроме подготовленного Б. М. Эйхенбаумом, ставят тут многоточие. Редакторские изменения в первом и двенадцатом стихах, образующих заголовочно-финальный комплекс стихотворения, значимы для его восприятия, а потому восстановление авторской пунктуации здесь представляется особенно важным.

В. Я. Брюсов так характеризовал редакторскую политику журнала XIX в. «Русский Архив»:

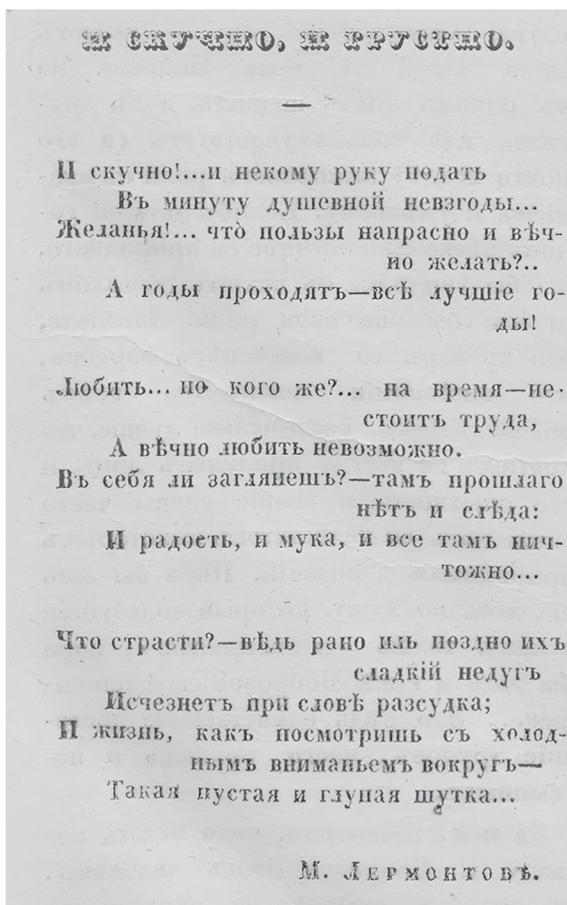
«Как издатель Бартенев принадлежал, бесспорно, не к нашей эпохе. Современные методы исследования и издания документов были ему чужды. Он почитал себя вправе не только сокращать, но порою даже подновлять печатаемый текст»⁶.

Вполне понятно, что по меркам XIX в. «подновлять» текст считалось вполне допустимым, и А. А. Краевский не был тут исключением, тогда как на современном этапе развития текстологии целесообразно «придерживаться доступного знания авторской воли» [Киселева, Поташова, 2024б: 289].

При жизни Лермонтова было опубликовано два варианта стихотворения «И скучно и грустно»: в «Литературной газете» и в первом издании сборника стихотворений Лермонтова (редактором в обоих случаях выступал А. А. Краевский). В более ранней публикации «Литературной газеты» (см. *Илл. 2*) редактор меняет стихотворный ритм и содержание первого стиха, используя четырехстопный амфибрахий (характерный для заключительных в каждой строфе стихов этого текста и предполагающий в рамках заданного стихотворения женскую клаузулу) вместо пятистопного амфибрахия с мужской клаузулой (который последовательно употребляется во всех нечетных стихах стихотворения). Также он устраняет лексему «грустно», оставляя ее лишь в заглавии: «И скучно!.. и некому руку подать» (*ЛГ*). Редактор смещает акценты в соответствии со своим пониманием текста, хотя следует отметить, что в обоих прижизненных изданиях стихотворению дано единое заглавие: «И скучно, и грустно». В автографе Лермонтова оба слова категории состояния также присутствуют («И скушно и грустно! — и некому руку подать»), однако они не разделены запятой: «и скучно и грустно» — это не перечисление, как посчитал, по всей вероятности, первый издатель стихотворения. И если в 1840 редактор ближе к аутентичному тексту, то в *ЛГ* (см. *Илл. 2*) он убирает избыточную, на его взгляд, характеристику, возможно, считая первое состояние («скучно») исчерпывающе ёмким для передачи основной идеи стихотворения.

⁶ Брюсов В. «Обломок старых поколений»: Петр Иванович Бартенев // Русская мысль. 1912. Кн. 12. С. 116 (2-я паг.) [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/005664_000048_RuPRLIB20000680?page=130&rotate=0&theme=white (12.03.2025).

Эту емкость он подчеркивает постановкой после слова «скучно» восклицательного знака (в первоисточнике стоявшего после конструкции «и скушно и грустно») с многоточием. Однако выбранная лексема «скучно» сама по себе не в состоянии отразить весь спектр состояний лирического героя, что почувствовал, вероятно, и редактор стихотворения, продолжив работу над ним и предложив новый вариант в первом собрании стихотворений поэта.



Илл. 2. Первая публикация стихотворения «И скучно, и грустно»
 (Литературная газета. 1840. № 6. 20 января. Стлб. 133)

Fig. 2. The first publication of the poem “So Dull, So Sad”
 (Literary Newspaper. 1840. No. 6. January 20. Column 133)

В романе «Герой нашего времени», который может рассматриваться как сюжетное развертывание лермонтовской элегии, отразившей «переживания поэтом человеческой богооставленности» [Гулин: 6], эти две основы не уравниваются. «Скучно» — это маркер байронического образа Печорина, его томление бездеятельностью, хотя в самом себе определение уже антиномично, в нем — сочетание желания деятельной жизни («Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится...» [Лермонтов, 1957; т. 6: 338]) и усталости от жизни («Что ж? умереть, так умереть: потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно» [Лермонтов, 1957; т. 6: 321]). Категория «грустно» в художественном мире Лермонтова имеет психологическую наполненность и рождает эмпатию по отношению к герою. Она используется как при характеристике образа Печорина («Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце» [Лермонтов, 1957; т. 6: 273]), так и при создании образов страдающих персонажей с однозначной оценкой — Максима Максимыча («Хорошо вам радоваться, а мне так право *грустно*, как вспомню»), Бэлы («Мало-по-малу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все *грустила*, напевала свои песни вполголоса...») и Мери («...ее большие глаза, исполненные неизъяснимой *грусти*, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду...» [Лермонтов, 1957; т. 6: 228, 220, 316] (выделено мной. — И. К.)). Именно сочетание онтологической и психологической составляющих слов категории состояния «скучно» и «грустно» отражает глубину лермонтовского текста. Лермонтов не ставит между ними запятую, потому что перед нами не перечисление, а констатация сложного состояния экзистенциальной тоски по идеалу любви и горечи от духовного одиночества.

Передачу этого сложного, отчасти антиномичного духовно-душевного состояния лирического героя поддерживает и 8-й стих («*а радость и муки, и все — такъ ничтожно*»), который является своеобразным зеркалом по отношению к 1-му стиху. В редакторских решениях публикации 8-го стиха в варианте «*И радость, и муки, и всё там ничтожно*» с постановкой

запятой между однородными подлежащими, соединенными повторяющимся союзом «и», также можно наблюдать следование стереотипу и очевидную логику, когда одни искажения влекут за собой, по законам грамматики, другие. Однако даже если рассматривать отсутствие запятой у автора как противоречащее грамматике, то это также насыщено смыслом. Тем более, что противоречия здесь нет, так как перед нами не просто перечисление, но акцентирование сложности душевного состояния человека, которое подчеркивает и имеющаяся в автографе усилительная частица «так» («а радость и муки, и все — *такъ ничтожно*»), тогда как выбранное редакторами наречие «там» (по аналогии с 7-м стихом: «*Въ себя ли заглянишь? — тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда*»), вместе с заменой начального союза («а» на «и») и постановкой после 7-го стиха двоеточия вместо авторской запятой («*Въ себя ли заглянешь? — тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда: / И радость, и муки, и все тамъ ничтожно...*»), смещает акценты в сторону уточняющего перечисления, устраняя дополнения смысла и снижая силу выраженной автором эмоции. Нельзя отрицать, что пунктуация, даже если она является авторской, «создает художественно значимый и эстетически выразительный ритм повествования» [Захаров, 1994: 358].

На потерю при изданиях знака тире следует обратить внимание и при рассмотрении 1-го стиха. В нем редактор последовательно ставит запятые: «И скучно, и грустно, и некому руку подать», тогда как у Лермонтова: «*И скушно и грустно! — и некому руку подать*». То есть поэт указывает на причину трагического состояния: «и скучно и грустно». Повторяющиеся союзы «и» выполняют здесь функцию углубления смысла текста, внесения иных смысловых оттенков. 5, 7, 8, 9-й стихи в аутентичном тексте построены аналогично, с неизменным тире. Но если 9–10-й стихи при издании воспроизведены без изменений («Что страсти? — вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ / Исчезнетъ при словѣ разсудка»), то в 5-м (первом стихе второго катрена: *Любить — но кого же? — на время не стоить труда*), как и в случае с 1-м стихом, пунктуация варьируется: происходит замена тире на многоточие после слова «любить» и ставится дополнительно знак тире

после наречия «на время»: «Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда». Поэт делает акцент на возможности целенаправленного душевного действия, которое неосуществимо из-за отсутствия предмета («но кого же?», ведь «некому руку подать»), тогда как следующая часть уже не близка к деятельной эмоции, но являет собой чисто логическую сентенцию, в которой не нужна добавляемая знаком тире экспрессия. Наоборот, в 8-м стихе в конце предложения поставлено многоточие, что лишило лермонтовский стих динамичности и смысловой определенности. Примечательно, что в этой фразе от абстрактных существительных («радость», «муки») автор идет дальше, субстантивируя местоимение «всё»: «и все — такъ ничтожно». Так, внутренняя жизнь оказывается более реальным феноменом, и потому — более значимым, чем движение времени, события, психология отношений (краткое прилагательное «ничтожно» еще более низводит ценность эмоциональной жизни).

Многочисленные и значимые тире в тексте, зачастую убранные или перенесенные редактором, и есть попытка автора объяснить заявленное в его начале состояние: «и скушно и грустно». Попытка эта делается с опорой на традиции школы «гармонической точности»⁷, при помощи использования «принципа исчерпывающего деления» [Пумпянский: 208]: ступенчато отрицается ценность желаний, любви на время, страстей и утверждается, что жизнь — «пустая и глупая шутка». Над этим тезисом автор работает больше всего. Автограф отразил четыре варианта последнего стиха: «такая пустая, сухая и глупая шутка!»; «Такая пустая, и<ъ> несносна<ъ>⁸ какъ глупая шутка!»; «такая пустая, тяжелая шутка!»; «такая пустая и глупая шутка». В ходе работы Лермонтов максимально освобождается от конкретики. Кроме оставшихся эпитетов «пустая и глупая», были эпитеты «сухая», «несносная<ъ>» и «тяжелая», которые, нагнетая ситуацию безрадостности,

⁷ Пушкин А. С. <Карелия, или Заточение Марфы Иоановны Романовой> [Пушкин: 110].

⁸ Второй слой правки читается предположительно — это вписка над вычеркнутым в основном тексте эпитетом «сухая», позже зачеркнутая и частично перекрытая впиской третьего слоя (словом «тяжелая»). Еще один возможный вариант прочтения (не нарушающий ритма стиха): «и плоска<ъ>».

в полноте не отражали мысль поэта и не дополняли предыдущий текст, где уже во 2-й строфе проговаривалось: *«а радость и муки, и все — такъ ничтожно»*. Здесь можно увидеть некое оживление заданного литературной традицией суждения: фраза отсылает читателя к гетевскому «Жизнь — шутка, скверная притом» из «Западно-восточного дивана» [Гете: 352]. Следы чтения Гете особенно выявляются в произведениях Лермонтова 1840 г.: здесь и переложение «Ночной песни странника» («Из Гете»), и композиция и проблематика стихотворения «Журналист, писатель и читатель», восходящего к «Прологу в театре» гетевского «Фауста». Но если Гете свою ироническую миниатюру с этой сентенции начинает («Жизнь — шутка, скверная притом»), далее насыщая текст конкретными, почти бытовыми высказываниями, то Лермонтов схожим суждением элегию заканчивает: имея литературную традицию, а значит вступая в ситуацию литературного дискурса, оно, с одной стороны, расширяет возможности толкования стихотворения, с другой — привносит в текст значение безапелляционности. Нельзя не отметить и «лишнее» издательское тире: Лермонтов не ставит знака перед выражением «пустая и глупая шутка», таким образом снижая градус вывода. Жизнь как шутка все же не доминанта этого стихотворения, ведущей идеей которого является грусть от осознания того, что в конкретных обстоятельствах земная жизнь как безусловная ценность невозможна; последний стих есть некое заявление боли, своего рода отчаяния, подчеркиваемого восклицательным знаком, который почти все публикаторы стихотворения (за исключением издания 1835–1837 гг. под редакцией Б. М. Эйхенбаума) устраняют.

В стихотворении Лермонтов ставит проблему «существования человека как субъекта бытия, ценностного и духовного» [Москвин: 5]. Ю. М. Лебедев, размышляя об этом лермонтовском шедевре, полагал, что «если рассматривать земную жизнь как единственное, что дано человеку, тогда всё в ней начинает терять свой смысл» [Лебедев: 6]. Замыкая стихотворение отсылкой к Гете, Лермонтов всем своим текстом идет дальше выраженной немецким поэтом идеи несправедливости и противоречивости жизни и человеческой природы, и во

многим это достигается за счет особой субъектной организации лермонтовского текста. Третье лицо гетевского текста меняется на очень сложную организацию. Исследователи отмечали, что «при "наивном" чтении стихотворение кажется непосредственным внутренним монологом "я", несмотря на то, что никакого "я" (с грамматической точки зрения) тут просто нет» [Малкина: 39]. Довлеющая безличность грамматических форм в стихотворении («и некому руку подать», «И жизнь, как посмотришь⁹...») усиливает трагический пафос одиночества.

Замена многоточия в начале 3-го стиха на сочетание восклицательного знака с многоточием («*Желанья... что пользы напрасно и вечно желат<ь>*») — в автографе, («*Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..*» — в ЛГ, 1840, [Лермонтов, 1954–1957, 1961, 1979, 2014]) добавляет эмоциональной горечи по поводу невозможности жить присущими юности желаниями, тогда как лирическому герою, состояние которого запечатлел аутентичный текст, ближе философская констатация движения времени.

Комментируя редакторские решения при издании лермонтовского стихотворения и пунктуационные тенденции дефинитивного текста, следует отметить и чрезвычайную насыщенность печатного текста знаком многоточие: если у Лермонтова оно присутствует только в первом четверостишии в конце второго («*въ минуту душевной невзгоды...*») и в середине третьего стихов («*Желанья... что пользы напрасно и вечно желат<ь>*»), а также во втором стихе второго четверостишия («*а вечно любить не возможно...*»), то в постоянно воспроизводимом в позднейших изданиях редакторском решении прижизненных публикаций дополнительно ставится в середине 5-го (дважды) и в конце 3, 8 и 12-го стихов (за исключением издания [Лермонтов, 1936]). Излишнее употребление этого знака психологически объяснимо: издатель почувствовал парадоксальность текста, неисчерпанность сказанного, так как «многоточие есть апелляция к подтексту, расчет на продолжение жизни высказанного в сфере "невыразимого"»

⁹ В данном случае, при наличии правки в окончании слова в рукописи и неоднозначном прочтении выбор предпочтительнее сделать в пользу варианта, подсказываемого прижизненными публикациями (глагол 2 л. ед. ч.) — эта форма уже была употреблена выше, в 7-м стихе («заглянешь»).

[Гачев: 269], и попытался это передать понятными ему средствами. Однако поставленные редактором знаки: многоточие в заключительном 12-м (вместо восклицательного знака) и в 8-м (вместо запятой) стихах, знак вопроса и многоточие — в конце 3-го стиха — несколько искажают авторскую интонацию, которая имеет смысловое содержание. И хотя часто «через многоточие текст и высказанная в нем мысль как бы заранее застраховывает себя, самокритикуется, указывая, что ей самой понятна ее ограниченность» [Гачев: 269], — здесь, к Лермонтову, это неприменимо. Поэт духовно смел и даже дерзок, категоричность его мысли нарастает по ходу развертывания идеи стихотворения, своей категоричностью он будто погружается во тьму, чтобы «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца» (2 Кор. 4:6). Здесь наступает уже область богословия. Подобный вывод напрямую связан и с аконичностью (безобразностью) рассматриваемого текста.

Инвариантом аконичности является апофатическое мышление, вербализованное в трактатах Дионисия Ареопагита, — метод негативной теологии, когда мы имеем установку, что постигнуть Сущее можно лишь последовательным отрицанием того, что не является полнотой явления Бога, когда «Бог становится ведомым через неведение»¹⁰. В этом зазоре между тоской по истинной жизни, которая в полноте была не осуществима в пределах жизни земной, и представлением об идеале жизни как абсолютной реализации деятельной природы поэта — «я каждый день / Бессмертным сделать бы желал» [Лермонтов, 1954; т. 1: 183], как скажет он в другом своем стихотворении, — и состоит духовный смысл рассматриваемого лермонтовского текста. Все желания, любовь, страсти не могут исчерпать потребность человека быть причастным к полноте жизни. Эта идея утверждается всем текстом. Наверное, именно поэтому В. Г. Белинский прочувствовал его как молитву: «Эту молитву твержу я теперь потому, что она есть полное выражение моего моментального состояния...» [Белинский: 232]. В апофатике

¹⁰ Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии / Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С толкованиями прп. Максима Исповедника / пер. с греч. и вступл. Г. М. Прохорова. СПб: Изд. Олега Абышко, 2017. С. 146.

Абсолют утверждается через мыслительную реакцию отрицания всего, что не является полнотой Его воплощения. В рассматриваемом тексте, казалось бы, все могло свестись к гетевскому утверждению, что жизнь — шутка, но трагизм текста, в противоположность ироническому с элементами развлеченности стихотворению Гете, этого не позволяет. Лермонтов говорит о том, что важно для жизни его души: о необходимости понимающего человека рядом, желаниях, любви, даже страстях (он и к ним относится максимально серьезно — в близком по времени создания к рассматриваемому тексту стихотворении «Тучи» (1840) нравственным приговором тучкам звучат слова: «Чужды вам страсти и чужды страдания...» [Лермонтов, 1954; т. 2: 165]). Но не ощущая исчерпывающей полноты подобного существования, он «ропщет на смертный закон, не желая признавать целесообразности в мире, отданном его власти» [Гачева: 104]. Можно сказать, что в этом тексте Лермонтов выразил тоску («и скучно и грустно») «по трансцендентному, по иному, чем этот мир, по переходящему за границы этого мира» [Бердяев: 46].

Спорным является и вопрос заголовка. В прижизненных изданиях заглавие представляло собой два слова категории состояния, разделенные запятой «И скучно, и грустно». В издании, подготовленном Б. М. Эйхенбаумом, запятая отсутствует и в написании первого слова воспроизведен вариант автографа: «И скушно и грустно» [Лермонтов, 1936: 60]. Во всех последующих научных изданиях собрания сочинений Лермонтова, начиная с шеститомника 1954–1957 гг. (и за исключением издания 2014 г.), воспроизводится вариант без запятой, но с написанием предикатива через «ч», в соответствии с орфографической нормой: «И скучно и грустно» (см. [Лермонтов, 1954: 138]). Представляется, что стихотворение должно публиковаться без заглавия (данного, по всей вероятности, первым редактором), которое не выполняет в полной мере своей роли «декодирования художественного целого, управления читательским восприятием» [Патроева: 7], тогда как эта функция в произведении принадлежит зачину — первому стиху. При публикации элегии в новой орфографии следует пользоваться формулировкой «И скучно и грустно! — и некому руку подать...». Именно в этом случае первоначальная установка восприятия стихотворения будет более адекватна авторскому замыслу.

В Таблице 2 представлены рекомендуемые варианты текста для публикации в старой¹¹ и новой орфографии:

Таблица 2 / Table 2

Аутентичный текст	Дефинитивный текст в новой орфографии
<i>Без заглавия</i>	<i>Без заглавия</i>
<p>И скушно и грустно! — и некому руку подать въ минуту душевной невзгоды... Желанья... что пользы напрасно и вѣчно желать и годы проходятъ — всѣ лучшіе годы!</p> <p>Любить — но кого же? — на время не стоить труда а вѣчно любить не возможно... Въ себя ли заглянишь? — тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда, а радость и муки, и все — такъ ничтожно!</p> <p>Что страсти? — вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ изчезнетъ при словѣ разсудка И жизнь какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вкругъ такая пустая и глупая шутка!</p>	<p>И скучно и грустно! — и некому руку подать В минуту душевной невзгоды... Желанья... что пользы напрасно и вечно желать, И годы проходят — все лучшие годы!</p> <p>Любить — но кого же? — на время не стоит труда, А вечно любить невозможно... В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа, А радость и муки, и все – так ничтожно!</p> <p>Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг Исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, Такая пустая и глупая шутка!</p>

¹¹ Воспроизводится последний слой чернового автографа, а также индивидуальные написания рукописи, отклоняющиеся от правил или имеющие в XIX в. варианты: *скушно* (1-й стих), *проходятъ*, *лучшіе* (4-й), *не возможно* (6-й), *заглянишь* (7-й), *изчезнетъ* (10-й). Авторские описки (*ведь*, *рандо*, *позно*, *сладкія*) автоматически правятся. Недописанные в рукописи слова — восстанавливаются. В конце второго катрена в рукописи стоит удлинённая вертикальная черта, которая может прочитываться как запятая. Однако для окончательного текста, поскольку 7–8-й стихи катрена являются законченным предложением, а также по аналогии со знаками в конце первого и третьего катренов, выбран восклицательный знак.

Сопоставление автографа стихотворения с традицией его публикации выявило отступления от авторской пунктуации: значимые тире в тексте зачастую были убраны или перенесены, добавлены многоточия или комбинация вопросительного знака и многоточия, заменен многоточием восклицательный знак в конце стихотворения. Допущены некоторые лексические замены, вносящие чуждые тексту смысловые оттенки. Чтение содержащего авторские правки автографа стихотворения «И скучно и грустно! — и некому руку подать...» указывает на необходимость знакомства читательской аудитории с дефинитивным текстом. Анализ конструируемых Лермонтовым многочисленных антиномий, внимание к авторской пунктуации позволили в результате исследования преодолеть штампы восприятия элегии и дать ее трактовку, согласующуюся с особенностями художественного мышления поэта. В статье выявлены смысловые центры стихотворения, связанные с выражением духовного состояния лирического героя и ценностного мира его души. Прочтение текста в аутентичном виде позволяет приблизиться к пониманию внутреннего устройства поэта и уточнить духовные смыслы лермонтовского шедевра.

Список литературы

1. Белинский В. Г. М. Ю. Лермонтов: ст. и рецензии / ред., вступ. ст., примеч. Н. И. Мордовченко. Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1940. 266 с.
2. Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Междунар. отношения, 1990. 336 с.
3. Гачев Г. Д. Развитие образного сознания в литературе // Теория литературы: основные проблемы в историческом освещении: [в 3 кн.]. М.: Изд-во АН СССР, 1962. [Кн. 1]: Образ, метод, характер. С. 186–311.
4. Гачева А. Г. «Аргонавты бессмертия». Иммуортализм русского космизма // Русский космизм в идеях и лицах. М.: Акад. проект, 2019. С. 101–191 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44144074_65737435.pdf (12.03.2025). EDN: KWQIWI
5. Гете И.-В. Собр. соч.: в 10 т. М.: Худож. лит., 1975. Т. 1. 528 с.
6. Гулин А. В. Небесный ангел Михаила Лермонтова (духовный опыт как творческая категория) // Два века русской классики. 2023. Т. 5. № 1. С. 6–35 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/images/2023-5-1/01_Gulin_6-35.pdf (12.03.2025). DOI: 10.22455/2686-7494-2023-5-1-6-35. EDN: DEWJFF

7. Захаров В. Н. Канонический текст Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского: сб. науч. тр. / отв. ред. В. Н. Захаров. Петрозаводск: ПетрГУ, 1994. С. 355–359 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23912782_15757882.pdf (12.03.2025). EDN: UDHJJV
8. Захаров В. Н. Достоевский для XXI века // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1999. № 3. С. 194–199 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42365849_24927346.pdf (12.03.2025). EDN: BLXZRO
9. Киселева И. А., Поташова К. А. Динамическая поэтика стихотворения М. Ю. Лермонтова «Утес» (1841) // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 2. С. 128–144 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1591695100.pdf (12.03.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8162. EDN: CVKNTV
10. Киселева И. А., Поташова К. А. Стихотворение М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840): поэтика текста и образа // Проблемы исторической поэтики. 2024. Т. 22. № 2. С. 25–49 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1715267320.pdf (12.03.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2024.13463. EDN: ADSEMW (a)
11. Киселева И. А., Поташова К. А. Текстологическая критика стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик» (1840) // Научный диалог. 2024. Т. 13. № 7. С. 276–292 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/5683/2571> (12.03.2025). DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-7-276-292. EDN: VXBAFL (b)
12. Лебедев Ю. В. М. Ю. Лермонтов и русская литература: к 200-летию со дня рождения поэта // Литература в школе. 2014. № 6. С. 2–8 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21541715_99952981.pdf (12.03.2025). EDN: SDKIKZ
13. Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: в 5 т. / под ред. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л.: Academia, 1936. Т. 2: Стихотворения 1836–1841. 280 с.
14. Лермонтов М. Ю. Соч.: в 6 т. / [ред.: Н. Ф. Бельчиков и др.]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1957.
15. Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 1: Стихотворения 1828–1841 / под ред. Б. В. Томашевского; подгот. текста, примеч. и вступ. ст. Т. П. Головановой. 755 с. 6 л. [Электронный ресурс]. URL: <https://russian-literature.org/tom/3633> (12.03.2025).
16. Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). 2-е изд., испр. и доп. Л.: Наука, 1979. Т. 1: Стихотворения 1828–1841 / подгот. текста, коммент. Т. П. Головановой. 655 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://russian-literature.org/tom/421754> (12.03.2025).
17. Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4 т. СПб.: Изд-во Пушкин. Дома, 2014. Т. 1: Стихотворения 1828–1841 / отв. ред. Н. Г. Охотин. 776 с.

18. Лукьяненко И. Н. Синтаксические средства выражения концептуального смысла стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» (статья 1) // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2010. № 8. С. 65–70 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sintaksicheskie-sredstva-vyrazheniya-kontseptualnogo-smysla-stihotvoreniya-m-yu-lermontova-i-skuchno-i-grustno-st-1/viewer> (12.03.2025). EDN: MTXYGF
19. Малкина В. Я. «Некому руку подать...» (о субъектной структуре стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно») // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2011. № 7 (69). С. 37–40 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_16540841_81468484.pdf (12.03.2025). EDN: NXZAZX
20. Москвин Г. В. К вопросу о начале экзистенциальной прозы М. Ю. Лермонтова // Litera. 2024. № 8. С. 1–8 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_69171316_62887856.pdf (12.03.2025). DOI: 10.25136/2409-8698.2024.8.71312. EDN: ZHNLOE
21. Патроева Н. В. Инициальные бытийные предложения в русской поэзии XVIII–XX вв.: опыт грамматического и функционально-семантического описания // Язык. Словесность. Культура. 2012. № 5–6. С. 6–31 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18253844_35803811.pdf (12.03.2025). EDN: PJLRHF
22. Пумпянский Л. В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина / предисл. Н. И. Николаева // Пушкин. Исследования и материалы. Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 204–215 [Электронный ресурс]. URL: <https://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/isa/isa-204-.htm> (12.03.2025).
23. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 11: Критика и публицистика, 1819–1834. 600 с.
24. Частотный словарь языка М. Ю. Лермонтова / под ред. В. В. Бородина, А. Я. Шайкевича; сост. А. А. Авдеева, В. В. Бородин, Н. Я. Быкова, С. М. Козокина, Н. А. Гордеева, Л. А. Макарова, А. Я. Шайкевич // Лермонтовская энциклопедия / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), науч.-ред. совет изд-ва «Сов. энцикл.». М.: Сов. энцикл., 1981. С. 717–774 [Электронный ресурс]. URL: <https://feb-web.ru/feb/lermontov/lre-lfd/lre/lre-7172.htm> (12.03.2025).

References

1. Belinskiy V. G. M. Yu. *Lermontov: stat'i i retsenzii* [M. Yu. Lermontov: *Articles and Reviews*]. Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhesvennoy literatury Publ., 1940. 266 p. (In Russ.)
2. Berdyaev N. A. *Samopoznanie (opyt filosofskoy avtobiografii)* [Self-Knowledge (the Experience of Philosophical Autobiography)]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 1990. 336 p. (In Russ.)
3. Gachev G. D. The Development of Imaginative Consciousness in Literature. In: *Teoriya literatury: osnovnye problemy v istoricheskom osveshchenii: v 3 knigakh* [Literary Theory: the Main Problems in Historical Interpretation:

- in 3 Books]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1962, book 1: the Image, the Method, the Character, pp. 186–311. (In Russ.)
4. Gacheva A. G. The Argonauts of Immortality. The Immortalism of Russian Cosmism. In: *Russkiy kosmizm v ideyakh i litsakh [Russian Cosmism in Ideas and Faces]*. Moscow, Akademicheskii proekt Publ., 2019, pp. 101–191. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44144074_65737435.pdf (accessed on March 12, 2025). EDN: KWQIWI (In Russ.)
 5. Goethe I. W. *Sobranie sochineniy: v 10 tomakh [The Collected Works: in 10 Vols]*. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1975, vol. 1. 528 p. (In Russ.)
 6. Gulin A. V. Heavenly Angel of Mikhail Lermontov (Spiritual Experience as a Creative Category). In: *Dva veka russkoy klassiki [Two Centuries of the Russian Classics]*, 2023, vol. 5, no. 1, pp. 6–35. Available at: https://rusklassika.ru/images/2023-5-1/01_Gulin_6-35.pdf (accessed on March 12, 2025). DOI: 10.22455/2686-7494-2023-5-1-6-35. EDN: DEWJFF (In Russ.)
 7. Zakharov V. N. The Canonical Text of Dostoevsky. In: *Novye aspekty v izuchenii Dostoevskogo: sbornik nauchnykh trudov [New Aspects in the Study of Dostoevsky: Collection of Scientific Works]*. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, pp. 355–359. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23912782_15757882.pdf (accessed on March 12, 2025). EDN: UDHJJV (In Russ.)
 8. Zakharov V. N. Dostoevsky for the 21st Century. In: *Vestnik Rossiyskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda [Bulletin of the Russian Foundation for Humanities]*, 1999, no. 3, pp. 194–199. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42365849_24927346.pdf (accessed on March 12, 2025). EDN: BLXZRO (In Russ.)
 9. Kiseleva I. A., Potashova K. A. The Dynamic Poetics of Mikhail Lermontov's Poem "The Cliff" (1841). In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2020, vol. 18, no. 2, pp. 128–144. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1591695100.pdf (accessed on March 12, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8162. EDN: CVKNTV (In Russ.)
 10. Kiseleva I. A., Potashova K. A. Poem by M. Yu. Lermontov "To the Portrait" (1840): Poetic of the Text and Image. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2024, vol. 22, no. 2, pp. 25–49. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1715267320.pdf (accessed on March 12, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2024.13463. EDN: ADSEMW (In Russ.) (a)
 11. Kiseleva I. A., Potashova K. A. Textual Criticism of Mikhail Lermontov's Poem "Valerik" (1840). In: *Nauchnyy dialog [Scientific Dialogue]*, 2024, vol. 13, no. 7, pp. 276–292. Available at: <https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/5683/2571> (accessed on March 12, 2025). DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-7-276-292. EDN: VXBAFL (In Russ.) (b)
 12. Lebedev Yu. V. M. Lermontov and Russian Literature: to the Poet's 200th Anniversary. In: *Literatura v shkole [Literature at School]*, 2014, no. 6, pp. 2–8. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21541715_99952981.pdf (accessed on March 12, 2025). EDN: SDKIKZ (In Russ.)

13. Lermontov M. Yu. *Polnoe sobranie sochineniy: v 5 tomakh* [*The Complete Works: in 5 Vols*]. Moscow, Leningrad, Academia Publ., 1936, vol. 2: Poems 1836–1841. 280 p. (In Russ.)
14. Lermontov M. Yu. *Sobranie sochineniy: v 6 tomakh* [*The Collected Works: in 6 Vols*]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1954–1957. (In Russ.)
15. Lermontov M. Yu. *Sobranie sochineniy: v 4 tomakh* [*The Collected Works: in 4 Vols*]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1961, vol. 1: Poems 1828–1841. 755 p. Available at: <https://russian-literature.org/tom/3633> (accessed on March 12, 2025). (In Russ.)
16. Lermontov M. Yu. *Sobranie sochineniy: v 4 tomakh* [*The Collected Works: in 4 Vols*]. 2nd ed., corrected and supplemented. Leningrad, Nauka Publ., 1979, vol. 1: Poems 1828–1841. 655 p. Available at: <https://russian-literature.org/tom/421754> (accessed on March 12, 2025). (In Russ.)
17. Lermontov M. Yu. *Sobranie sochineniy: v 4 tomakh* [*The Collected Works: in 4 Vols*]. St. Petersburg, Pushkininskiy Dom Publ., 2014, vol. 1: Poems 1828–1841. 776 p. (In Russ.)
18. Lukyanenko I. N. Syntactical Means Conveying the Conceptual Meaning of the Poem “Boring and Sad” by M. Yu. Lermontov: Article 1. In: *Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta imeni I. Kanta* [*Vestnik of the I. Kant State University of Russia*], 2010, no. 8, pp. 65–70. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/sintaksicheskie-sredstva-vyrazheniya-kontseptualnogo-smysla-stihotvoreniya-m-yu-lermontova-i-skuchno-i-grustno-st-1/viewer> (accessed on March 12, 2025). EDN: MTXYGF (In Russ.)
19. Malkina V. Ya. “There’s No One Around...” (On the Subject Structure of Mikhail Lermontov’s “Bored and Sad”). In: *Vestnik RGGU. Ser.: Istoriya. Filologiya. Kul’turologiya. Vostokovedenie* [*RSUH/RGGU Bulletin. Ser.: History. Philology. Cultural Studies. Oriental Studies*], 2011, no. 7 (69), pp. 37–40. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_16540841_81468484.pdf (accessed on March 12, 2025). EDN: NXZAZX (In Russ.)
20. Moskvina G. V. On the Topic of the Beginning of Existential Prose by M. Yu. Lermontov. In: *Litera*, 2024, no. 8, pp. 1–8. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_69171316_62887856.pdf (accessed on March 12, 2025). DOI: 10.25136/2409-8698.2024.8.71312. EDN: ZHNLOE (In Russ.)
21. Patroeva N. V. The Initial Existential Clauses in Russian Poetry of the 18th — 20th Centuries: Experience of Grammatical and Functional Semantic Description. In: *Yazyk. Slovesnost’. Kul’tura* [*Language. Philology. Culture*], 2012, no. 5–6, pp. 6–31. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_18253844_35803811.pdf (accessed on March 12, 2025). EDN: PJLRHF (In Russ.)
22. Pumpyanskiy L. V. On Exhaustive Division, One of the Principles of Pushkin’s Style. In: *Pushkin. Issledovaniya i materialy* [*Pushkin. Researches and Materials*]. Leningrad, Nauka Publ., 1982, vol. 10, pp. 204–215. Available at: <https://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/isa/isa-204-.htm> (accessed on March 12, 2025). (In Russ.)

23. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 16 tomakh* [*The Complete Works: in 16 Vols*]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1949, vol. 11: Criticism and Journalism, 1819–1834. 600 p. (In Russ.)
24. The Frequency Dictionary of the Language by M. Yu. Lermontov. In: *Lermontovskaya entsiklopediya* [*The Lermontov Encyclopedia*]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1981, pp. 717–774. Available at: <https://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-lfd/lre/lre-7172.htm> (accessed on March 12, 2025). (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Киселева Ирина Александровна, Irina A. Kiseleva, PhD (Philology), доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской классической литературы, Государственный университет просвещения (ул. Фридриха Энгельса, д. 21, стр. 3, г. Москва, Российская Федерация, 105005); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-0035>; e-mail: irina-sever03@yandex.ru

Professor, Head of the Department of Russian Classical Literature, State University of Education (ul. Fridrikha Engelsa 21/3, Moscow, 105005, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9629-0035>; e-mail: irina-sever03@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 10.06.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 31.07.2025

Принята к публикации / Accepted 01.08.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043

EDN: ATZHFG



«Пережитое и передуманное» В. И. Кельсиева: романизация исповеди и публичная модель возвращения из эмиграции

В. М. Димитриев

независимый исследователь

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

e-mail: ganthenbein@gmail.com

Аннотация. Судьба В. И. Кельсиева (1835–1872) — сперва революционного деятеля 1860-х гг., а затем убежденного панслависта, неожиданно вернувшегося в Россию после девяти лет жизни за рубежом, — позволяет проследить, как в русской литературе второй половины XIX в. складывается сюжет возвращения из эмиграции. Причины своего возвращения в Россию Кельсиев объяснил в двух автобиографических текстах: написанной до официального прощения «Исповеди» (1867), которая была обращена к российской власти и нацелена на политическую реабилитацию, и мемуарах «Пережитое и передуманное» (1868), адресованных широкому читателю. Переход от одного текста к другому сопровождался смелой адресата, изменением авторской задачи и перестройкой композиции. Исповедь представляет собой хронологический рассказ от начала эмиграции до возвращения, а в мемуарах возвращение в Россию — это начало повествования. Оба текста тяготеют к романной форме, но в воспоминания Кельсиев включил также автохарактеристику, подробно разобрав свое воспитание и круг чтения, что сделало этот фрагмент похожим на предысторию героя. Публичный образ раскаявшегося эмигранта, сформированный в текстах Кельсиева, занимает важное место в общественных дискуссиях 1860–1870-х гг. Ориентированные на мемуары А. И. Герцена как на претекст, воспоминания рассматриваются в критике (А. И. Герцен, Д. Д. Минаев, А. Н. Пыпин, Н. М. Михайловский, П. Н. Ткачев) как симптом кризиса людей шестидесятых годов и даже как предмет для психологического и психиатрического анализа героя. Другой была реакция Достоевского, сочувствовавшего возвращению Кельсиева и использовавшего мотивы его поступка в изображении героев-эмигрантов. Рецензия Кельсиева на «Загадочного человека» Стебницкого-Лескова послужила источником статьи Достоевского «Одна из современных фальшей».

Ключевые слова: В. И. Кельсиев, эмиграция, исповедь, мемуары, перформативность, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 24-18-00762 «Классики русской литературы второй половины XIX века: биографические "пересечения", критическая рецепция и интертекстуальные связи»; <https://rscf.ru/project/24-18-00762/>, ИРЛИ РАН).

Для цитирования: Димитриев В. М. «Пережитое и передуманное» В. И. Кельсиева: романизация исповеди и публичная модель возвращения из эмиграции // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 158–188. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043. EDN: ATZHFG

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043

EDN: ATZHFG

“Experienced and Reconsidered” by Vasily Kelsiev: The Romanization of Confession and the Public Model of Return from Emigration

Viktor M. Dimitriev

independent researcher

(Saint Petersburg, Russian Federation)

e-mail: ganthenbein@gmail.com

Abstract. The life of Vasily I. Kelsiev (1835–1872) illustrates how Russian literature of the later nineteenth century developed the motif of return from emigration. Kelsiev began his career as a revolutionary activist in the 1860s and later adopted a Pan-Slavist position. After spending nine years abroad, he returned to Russia and explained his decision in two autobiographical works: “Ispoved” (“Confession,” 1867), written before his official pardon and addressed to the imperial authorities, and “Perezhitoe i peredumannoe” (“Experienced and Reconsidered,” 1868), intended for a broad readership. The two texts differ in their intended audience, purpose, and narrative design. The “Confession” presents a chronological account from the beginning of Kelsiev’s exile to his return. “Experienced and Reconsidered” opens with his return and reconstructs the events that preceded that point. Both texts show a tendency toward a novelistic form, but the memoir also contains an extended self-portrait that outlines Kelsiev’s upbringing, reading experience, and intellectual formation. This section functions as a narrative exposition and contributes to the formation of his public image. The figure of the “repentant émigré,” shaped through these writings, became a point of reference in the debates in the 1860–1870s. Contemporary readers such as A. I. Herzen, D. D. Minaev, A. N. Pypin, N. M. Mikhailovsky, and P. N. Tkachev interpreted Kelsiev’s memoirs as evidence of a broader crisis within the 1860s generation and at times treated them as material for psychological analysis. F. M. Dostoevsky responded differently. He viewed Kelsiev’s return sympathetically, drew on it in creating several of his émigré characters, and may have used Kelsiev’s review of Stebnitskii-Leskov’s “Zagadochnyi chelovek” (“An Enigmatic Man”) as a source for his essay “Odna iz sovremennykh fal’shei” (“One of Today’s Falsehoods”).

Keywords: Vasily Kelsiev, emigration, confession, memoirs, performativity, Herzen, Dostoevsky

Acknowledgments. The research was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 24-18-00762, <https://rscf.ru/project/24-18-00762/>).

For citation: Dimitriev V. M. “Experienced and Reconsidered” by Vasily Kelsiev: The Romanization of Confession and the Public Model of Return from Emigration. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 158–188. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16043. EDN: ATZHFG (In Russ.)

В литературной и интеллектуальной истории В. И. Кельсиев (1835–1872) известен прежде всего как революционный деятель и политический эмигрант герценовского круга¹, издатель старообрядческой литературы и автор путевых очерков о русских и славянских колониях на Балканах и в Османской империи ([Кленовский], [Гросул], [Соловьев, 2010, 2011]). Его имя также упоминается в контексте творчества Н. С. Лескова² и Ф. М. Достоевского. Еще А. С. Долинин предположил, что Кельсиев, ставший из революционера панславистом, мог послужить одним из прототипов Шатова в «Бесах», а описанный им эмигрант П. И. Краснопевцев — прототипом Кириллова [Достоевский; т. 12: 231–233]. Недавние исследования акцентируют внимание на путевых очерках Кельсиева о Галичине и Молдавии [Кравчук], а также на его участии в революционных событиях 1860-х гг., важных для истории «Бесов» [Тарасова]. Однако как самостоятельный писатель он воспринимается редко. Хотя его поздние беллетристические опыты не вызвали интереса у публики (см. об этом: [Соколов]), литературное наследие Кельсиева, от переводов и публицистики до мемуаров, повестей, исторической прозы и замыслов фантастических произведений, заслуживает внимания.

На оригинальность литературного таланта Кельсиева едва ли не первым указал Л. Н. Чертков в статье «Между Гофманом и Герценом — Василий Кельсиев» (1978), отметив его глубокую вовлеченность в мистико-романтическую традицию, которую он пытался соединить сначала с революционными идеалами,

¹ Противоречивая фигура Кельсиева известна в основном в герценовском описании [Герцен; т. 11: 329–340].

² Кельсиев — один из персонажей повести Н. С. Лескова «Загадочный человек» (1870). См.: [Лесков: 7–102, 575–639].

затем — с панславистской программой, интерес к которой во многом вытекал из занятий расколом [Tchertkov].

Но центральным эпизодом биографии Кельсиева, послужившим главной причиной интереса общественности к нему, стало покаянное возвращение в Россию 20 мая 1867 г. Прибыв на Скулянскую таможенную в Бессарабии, он попросил ареста как неосужденный государственный преступник. Из заключения в Кишиневе Кельсиев направил письмо шефу жандармов П. А. Шувалову с просьбой передать его дело III Отделению, обещая предоставить сведения о своей впечатляющей эмигрантской одиссее: из Лондона до Молдавии и Валахии. Вскоре его этапировали в Петербург, где, по согласованию с тайной полицией, он составил записки («Исповедь»), прочитанные Александром II в августе того же года. Император даровал ему полное прощение, вернул права состояния и выдал разрешение проживать в столице.

Уже в 1868 г. был опубликован мемуарный текст «Пережитое и передуманное», выстроенный на том же материале, что и «Исповедь» Кельсиева, но предназначенный для широкой публики. Если первый текст был ориентирован на власть и имел прагматическую цель, то второй предлагает литературную интерпретацию пройденного пути, переосмысленную со сменой адресата.

В этих двух сочинениях можно наблюдать процесс постепенной романизации, к элементам которой следует отнести композиционное оформление (хронологическое — в исповеди и ретроспективное — в мемуарах), включение в мемуары экспозиции героя (описания круга чтения и воспитания) и др. В обоих случаях рассказ идет о разных этапах впечатляющей кельсиевской жизни: работе в кругу Герцена, Огарева и Бакунина, попытках революционной пропаганды среди старообрядцев и изучении связанных с ними материалов, революционной деятельности в Европейской Турции, включающей организацию «Общего вече» (приложения к «Колоколу»). Автор описывает отношения с новоприбывшими представителями «молодой эмиграции» и попытки организации русской революционной колонии в Тульче вместе с М. С. Чайковским, И. И. Кельсиевым, авантюрную поездку в Россию по турецкому паспорту

в 1862 г., личные трагедии и разочарования, поездку в Вену, путешествия по Галичине и Молдавии и свою сдачу правительству. Но в «Исповеди» уклон делается на информативную часть (там больше деталей и конкретных имен), а в мемуарах — на экспрессивную (преобладают впечатления и рассуждения, а также добавляются главы о времени, предшествующем эмиграции).

Настоящая статья ставит задачу проследить формирование двойной прагматики кельсиевских текстов, политической и литературной, и показать, как их исповедально-мемуарная структура создает публичный образ раскаявшегося эмигранта. Нас интересует, как этот образ был воспринят в критике и использован в прозе и публицистике Достоевского.

Прагматический смысл написания «Исповеди» был сформулирован еще в предваряющем письме к Шувалову:

«Что меня ждет, граф? Я злого ни России, ни правительству ровно ничего не сделал... Я х о т е л сделать, я делал попытки, я трудился, но все было н а п р а с н о, теории мои были неприменимы к практике, и я только воду толок. <...> если правительство мне позволит, я бы охотно написал и напечатал некоторые эпизоды из моих агитаторских походов, в поучение юношам, садящимся не в свои сани»³.

Собственная биография переосмысливается Кельсиевым через поворот к покаению:

«Из юноши, <...> сделавшегося революционным агитатором и организатором, я превратился в горячего верноподданного...» (*Исповедь*: 266).

³ Кельсиев В. И. Исповедь / подгот. к печати Е. Кингисепп, вступ. ст. и коммент. М. М. Кленовского // А. И. Герцен. П. М.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 266. (Сер.: Лит. наследство; т. 41/42.) Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Исповедь* и указанием страницы в круглых скобках.

Будущие записки должны не только сообщить факты, но и восстановить правовой и социальный статус его автора⁴. Кроме того, Кельсиев уже на этом этапе, за жандармом как прямым адресатом, угадывает и широкую аудиторию — «юношей», которых готовится поучать.

Выстраивая повествование в перспективе чужого взгляда, Кельсиев подбирает формулировки, заранее подсказывающие, как его самого можно разоблачить. Он объясняет свой уход в эмиграцию общим настроением «русской молодежи», а собственную радикализацию — незнанием жизни: «Жизнь я вел в Петербурге кабинетную, сведения и теории мои были почерпнуты из книжек и из рассказов таких же юношей...». Свои занятия восточными языками он тоже интерпретирует как препятствие к пониманию «действительной жизни и общественных отношений» (*Исповедь*: 269). Себя он неустанно презентует как человека, который «ничем так не интересовался, как всем загадочным, вычурным, таинственным» (*Исповедь*: 286). С тягой к таинственному он связывает все свои решения, притом относится к ней двояко: она приводит его к революционным утопиям, и она же вдохновляет интересоваться старообрядчеством, Европейской Турцией и Галичиной, противопоставляя его «кабинетным реформаторам» (*Исповедь*: 394–395).

⁴ Подобный поступок совершает уже совсем в другую эпоху В. Б. Шкловский, поместивший в конец романа «Зоо, или Письма не о любви» (1923) письмо, направленное во ВЦИК, которое должно было, вместе с автобиографическим экспериментальным текстом, подготовить возвращение автора из эмиграции. Литературная и политическая прагматика здесь пересекаются (см.: [Калинин], [Булатова]), как и в случае с Кельсиевым. Последний также пытался превратить свою жизнь в текст и при помощи этого изменить политическое положение. Добавим, что кельсиевская исповедь впервые была опубликована, как и роман Шкловского, именно в 1923 г. в берлинском «Архиве русской революции» (Кельсиев В. И. Исповедь // Архив русской революции. Берлин: Slowo-Verlag, 1923. Т. 11. С. 169–310). Письмо во ВЦИК завершает «Зоо» — письмо графу П. А. Шувалову «открывает» текст кельсиевской исповеди. В 1920–1930-е гг. поступок Шкловского не был уникален: произошла целая серия возвращений, требовавших рекомендаций и публикаций, подтверждающих искренность и дольность. Один из самых ярких и драматичных примеров мы найдем в биографии вернувшегося уже в Советскую Россию в 1932 г. Д. П. Святополк-Мирского, предварительно подготовившего свое возвращение написанием книги о В. И. Ленине, ходатайствами М. Горького и рядом публичных высказываний о своей поддержке советской политики (см.: [Ефимов, Смит: 464–538]).

Один из центральных эпизодов «Исповеди» — кризис 1863 г., связанный с польским восстанием 1863–1864 гг., и последовавшая за этим реакция. Растерянность эмигрантов, рост националистических настроений в России и сомнение в действенности революционной практики после новых судебных процессов (в частности, начала знаменитого «процесса 32-х») подталкивают Кельсиева к пересмотру убеждений:

«Очевидно со дня на день становилось, что наши чистые и честные верования были утопией, неприложимой к делу теорией, <...> черные думы не унимались, а одна за другой возникали в уме, как какие демоны, явившиеся мучить мою душу» (*Исповедь*: 369).

Ни увещевания Герцена, ни сторонние занятия не способны его отвлечь:

«Я метался от книги от книги, я магию даже стал изучать, спиритизм; я цареградские трущобы стал исследовать <...> ничто не брало» (*Исповедь*: 369).

Кельсиев утверждает, что с этого момента отказался от антиправительственной деятельности, хотя это противоречит его дальнейшей биографии (см.: [Гросул: 160–163 и далее]).

Поворотным моментом становится и личная трагедия: в 1864–1865 гг., во время жизни в Тульче и Галаце, трагически умирают его брат, дети и жена. В «Исповеди» он отмечает, что именно смерть брата побудила его к писательству. Первым результатом стал не дошедший до нас дневник, который, по его словам, представлял собой полное отрицание прежних идей, «страшное по пустоте, которую оно оставляло на месте разбитых идеалов». Кельсиев не скупится на гиперболы:

«...даже поэзия своего рода была, и поэзия сильная; у меня желчь от бешенства клокотала, сарказм сменялся сарказмом; проклятие миру, его законам, людям, жизни и смерти, небу и аду кипело на каждой строке, и мои товарищи в Тульче в ужас приходили, когда я им читал эти вдохновенные строки <...>. Дарование вспыхнуло...» (*Исповедь*: 387)⁵.

⁵ Ср.: Кельсиев В. И. Письмо к Д. В. Аверкиеву. 17 декабря 1864 г. // Русская старина. 1882. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. Т. 35. С. 634–637. Об этом письме речь пойдет далее.

Еще более мрачные интонации «Исповедь» приобретает в описании периода, последовавшего за смертью детей и жены:

«Давиться не стоило того, потому что бежать было не от чего, но и жить было не для чего, потому что не к чему было стремиться. <...> Я был зверь, а не человек; мне было все равно, что делать и как делать, только бы с голоду не умереть <...>. И я спустился в потемневший город, импровизируя страшную песню, песню отчаяния, которую я пел целую эту зиму 1865/66 г.» (*Исповедь*: 398).

В письмах этого периода к Герцену и Огареву он признавался:

«С жизнью у меня, очевидно, покончено — я вольная птица, отпетый человек, я из рода людского выэмигрировал»⁶.

Этот кризис становится переходной точкой. Кельсиев уезжает в Вену, сближается с тамошним Славянским клубом, отправляется в путешествие по Галичине и Молдавии, принимается за публикацию этнографических и публицистических очерков в российских умеренно либеральных и консервативных изданиях («Голосе», «Русском вестнике» и др.) под псевдонимом *Иванов-Желудков*, склоняется к славянофильству, переходит к резкой критике поляков, украинофилов (сторонников развития украинской народной культуры) и евреев, вследствие чего его очерки критикуют за шовинизм и антисемитизм. В «Исповеди» он сам заботливо указывает на эти публикации, как бы демонстрируя, что его реальному возвращению предшествовала серия литературных репетиций⁷.

⁶ Кельсиев В. И. Письма Герцену и Огареву. Приложение: Письма Филарета Захаровича / публ. П. Г. Рындинского // Герцен и Огарев. [Кн.] П. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 206. (Сер.: Лит. наследство; т. 62.)

⁷ А. Н. Пыпин критикует Кельсиева за то, что тот в мемуарах описывал свое прибытие на Скулянскую таможенную как внезапный порыв, и иронически замечает: «Но неужели эта мысль не преобладала в его уме, когда он писал свои корреспонденции в "Голос" в течение целого года? Едва ли! Корреспонденции эти, очевидно, должны были служить к тому, чтобы хотя отчасти заглазить свою вину» (Пыпин А. Н. [подп.: Д.] Рец. на: Кельсиев В. Пережитое и передуманное. Воспоминания Василия Кельсиева. СПб., 1868 // Вестник Европы. 1868. № 7. С. 453). Речь идет о названных выше статьях под псевдонимом *Иванов-Желудков*.

При возвращении Кельсиеву чудится возможность писать о новых убеждениях открыто, а не «только намеками, недо-молвками». Свою миссию он видит ни больше ни меньше как сделать собственный опыт «достоянием всего читающего мира»:

«Я, некогда один из светочей и надежд этой оппозиционной мо-лодежи, деятельнейший и отважнейший из русских эмигрантов, разве не отрезвлю я моих товарищей и поклонников открытым обличением наших утопий? <...> Кто ж из русских публицистов может сравняться со мной в борьбе с утопистами и с поляками? Кто из них знает этот мир не понаслышке, не по догадкам, не по натянутым выводам из арестантских показаний?» (*Исповедь*: 411).

Такая весьма красноречивая самореклама должна теперь под-сказать, как применить его новые таланты, а сама исповедь — как именно его обличить. Эти доводы оказались действенными: Александр II признал, что Кельсиев «по своим познаниям <...> может быть с пользою употреблен правительством» (цит. по: [Кленовский: 259]).

Заключительная часть «Исповеди» посвящена сдаче Кель-сиева на Скулянской таможе:

«— Да в чем же вы себя обвиняете?.. — Эмигрант, политиче-ский преступник, у меня пропасть вин. — Странно. Что ж вас побуждает сдать? — Раскаяние и желание загладить прошлое» (*Исповедь*: 416).

Страстная натура Кельсиева ожидала кандалов (*Исповедь*: 416), а получила бюрократический процесс, который рисковал затянуться, но с письмом Шувалову завершился с рекордной скоростью.

«Исповедь» построена линейно: она охватывает путь от деятельности в Лондоне, переходит к описанию тайной поездки в Россию 1862 г., работе в Константинополе, пребыванию в Тульче, Галаце, Вене, Венгрии, Галичине, Молдавии и Валахии и, наконец, к сдаче правительству.

На ее основе Кельсиев создал мемуары «Пережитое и пере-думанное» (1868), адресованные широкой аудитории⁸. Название

⁸ Их публикация сопровождалась рекламной кампанией и контроли-ровалась III Отделением (как первое время все, что было связано с име-нем Кельсиева). Выбранная политика в отношении этого раскаявшегося

«Пережитое и передуманное» отсылало к «Былому и думам» Герцена и воспринималось современниками как намеренная аллюзия и даже пародия:

«...г. Кельсиев, вероятно, вообразил, что всякая его болтовня, даже ученические опыты упражнений в слоге, обратят на себя внимание публики, особенно если он дает своей книге ловкое название "*Пережитое и передуманное*" (не прямая ли пародия на заглавие книги "*Былое и думы*"?) и приделает к каждой главе кричащие, эффектные заголовки»⁹.

При этом «передуманное» одновременно оказывается перифразом герценовских «дум» и намеком на «исправление» его ошибок, а также на перемену убеждений самого Кельсиева, который «передумал» быть революционером. В «Исповеди» и мемуарах он не раз сопоставляет себя с Герценом и Огаревым, с комической серьезностью указывая на их теоретичность и недостаток организаторских способностей, а похвалу таланту Герцена сопровождает легкой иронией:

«Ничего нельзя было поделывать: оппозицию они создали, а организовать ее не сумели. Проще выразиться — они были публицисты, а Герцен даже и очень талантливый, но им одних пустяков не доставало, — они не были г о с у д а р с т в е н н ы е л ю д и» (*Исповедь*: 280)¹⁰.

Однако оппозиция между «пережитым» и «передуманным» укладывается и в устойчивую схему мемуарной традиции: рассказ чередует «поэзию и правду», личное и историческое.

эмигранта, несомненно, имела большое значение для государственного имиджа (см. об этом: [Гросул: 217]).

⁹ Минаев Д. Д. <Подп. Д. М.> Для чего иногда люди эмигрируют // Неделя. 1868. № 27. С. 856.

¹⁰ Подобный взгляд на Герцена и Огарева был распространен среди «молодой эмиграции», укорявшей лондонских изгнанников в нежелании перейти к прямому революционному действию. Герцен, в свою очередь, предпочел с какого-то момента отделять «настоящих» нигилистов от «молодой эмиграции», ведь «нигилизм явление великое в русском развитии. Нет, тут всплыли на пустом месте — халат, офицер, писец, поп и мелкий помещик в *нигилистическом* костюме» [Герцен; т. 29, кн. 1: 110]. (См. об этом: [Кибальник: 170–173]). Кельсиев, хотя и в более мягких выражениях, тоже характеризуется им через свою двойственность: «...он (Кельсиев. — В. Д.) был нигилист с религиозными приемами, нигилист в дьяконовском стихаре» [Герцен; т. 11: 331].

В отличие от «Исповеди», структура мемуаров двухчастная, части «Возврат» и «Пережитое» выстраивают повествование в обратном порядке — от возвращения в Россию к предшествующим событиям. Там, где «Исповедь» завершается, мемуары начинаются как публичное размышление над тем же материалом. Сперва демонстрируется результат, «преображение», а затем объясняется приведший к нему путь, что придает рассказу дополнительную драматизацию.

Мемуары завершаются самоубийством П. Н. Краснопевцева, товарища Кельсиева по эмиграции. Погребение, где собираются эмигранты разных национальностей, символически оформляет композицию: спасение предшествует смерти, возвращение — изгнанию. В «Исповеди» Кельсиев — раскаявшийся сын отечества, готовый служить посредником между правительством и раскольниками, славянами в Османской империи или революционерами. В мемуарах он — гражданин, вернувшийся в лоно государства, который выступает драматургом собственной биографии, превращая рассказ о возвращении в историю о чудесном спасении («Возврат»), противопоставленную самоубийству Краснопевцева («Пережитое»).

В мемуарах Кельсиев доводит рассказ о своем преобращении едва ли не до карикатуры:

«Мне было досадно чувствовать в себе эту перемену, мне горько было опять становиться русским, но я не мог себя преодолеть»¹¹;

«Как? неужели? — думал я — я, достигший до крайних пределов отрицания, я, отвергший даже республику, даже социализм, даже знание, даже мысль, даже способность рода человеческого выделатъ из себя что-нибудь путное, <...> неужели я способен увлечься до патриотизма, до панславизма?!» (*Пережитое и передуманное*: 18);

«И мне было душно, и я боролся с собою, я старался подавить в себе этот странный прилив любви и родственного чувства — и ничего я не мог с собою сделать!.. Я был русский, я был горд

¹¹ Кельсиев В. И. *Пережитое и передуманное*. Воспоминания Василия Кельсиева. СПб.: Печатня В. Головина, 1868. С. 16–17. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Пережитое и передуманное* и указанием страницы в круглых скобках.

Россией, во мне родилась неудержимая страсть служить русскому государству...» (*Пережитое и передуманное*: 19).

Можно предположить, что именно такие пассажи держал в голове Герцен, когда давал мемуарам следующую характеристику:

«...неотлагаемая потребность всенародной исповеди и ее странная усеченность, бестактность рассказа, неуместная смешливость рядом с неприличной в кающемся и прощенном развязностью...» [Герцен; т. 11: 329].

После первой части, посвященной заключению и возвращению (при этом упущены сведения о допросе, которые бы цензура, само собой, не пропустила¹²), Кельсиев переходит к размышлению о причинах появления революционной эмиграции «на русской почве». Он не стремится к исторической реконструкции, а предлагает акт публичного самоанализа:

«...каждый из нас <...> сделал бы лучше, если бы анализировал самого себя». «Дать подробный отчет себе и публике дело весьма нелишнее...» (*Пережитое и передуманное*: 244).

Кельсиев делает самого себя предметом исследования — и это для него не случайно. Воспитанное «в духе нового времени», его поколение — «жертвы не столько нашего произвола, сколько этой самой истории» (*Пережитое и передуманное*: 245). «Дух нового времени» и привел к тому, что Кельсиев «сделался эмигрантом потому, что не мог эмигрантом не сделаться. <...> ...не только без всякой причины, не только без всякого внешнего толчка, но даже против советов и против желания редакторов "Колокола". <...> ...время было такое, таким воздухом веяло» (*Пережитое и передуманное*: 246–248). Автобиографический рассказ способен «разъяснить многое, что остается загадочным для нас самих» (*Пережитое и передуманное*: 246).

Он анализирует культурные влияния, оформившие его мировоззрение. Детство прошло в атмосфере романтизированного декабристского мифа (*Пережитое и передуманное*: 248), а сами декабристы для Кельсиева, воспитанного «на литературе

¹² Записи допроса см.: (*Исповедь*: 417–442). Герцен был недоволен этим упущением, хоть и поражался возможности опубликовать даже усеченные мемуары в России: «Всего глупее, что именно то, что нужно было, того и нет — т. е. его дела в Петербурге под арестом» [Герцен; т. 29, кн. 2: 423].

Карамзинского периода, на "Сионском вестнике", на мистиках конца прошлого и начала нынешнего века», были не менее привлекательны «всяких графов С. Жермен, Калиостро, Пифагора...» (*Пережитое и передуманное*: 250).

Его описание домашней библиотеки отца — каталог культурных авторитетов его детства:

«...тут были сочинения Карамзина, Пушкина, Державина, Сумарокова, Хераскова, Княжнина, митрополита Платона, "Сионский вестник", "<">Детское чтение<">, "Старик везде и нигде", "Гросфильдское Абатство", "Удольфские таинства", "Жилблас", какие-то анекдоты Наполеона, "Житье Фридриха Великого", "Житье Екатерины Великой", "Деяния Петра Великого" Голикова, тут же был "Всеобщий стряпчий", "Пансальвин, князь тьмы"...» (*Пережитое и передуманное*: 252).

Эти книги плохо сочетались с окружающим бытом, но литература «обаятельно отрешала <...> от всего окружающего» (*Пережитое и передуманное*: 253).

По мере взросления героя прежняя романтическая картина мира дала трещину. «Разочарование, внесенное Байроном, привело нас к анализу Диккенса, к смеху Гоголя» (*Пережитое и передуманное*: 254), — пишет Кельсиев. Он продолжает:

«Н а т у р а л ь н а я ш к о л а все крушила, все низвергала, она с первого дня своего рождения объявила, что прав нет, а что есть простые смертные, которые едят, пьют, нуждаются в деньгах, два раза в неделю обмываются одеколоном, ходят в вицмундире, сочиняют и переписывают отношения и т. п.» (*Пережитое и передуманное*: 255–256).

Так складывается диалектическое движение — от поклонения «высокому и прекрасному» к критике всего возвышенного (*Пережитое и передуманное*: 258), мечты «об невероятных путешествиях» наталкиваются на «неумолимый хохот Гоголя», «сам видишь свои недостатки <...>, потому что дался и усвоился аналитический метод, сам себя разбираешь, сам себя потрошишь...» (*Пережитое и передуманное*: 259–260). В этой атмосфере возникает жажда тайного или сложнодоступного знания: редких книг по философии и метафизике, сведений о революциях 1848 г. (*Пережитое и передуманное*: 262–263).

Раздваиваясь между верностью порядку и симпатией к бунту, Кельсиев сочувствовал одновременно и декабристам, и Луи-Филиппу (*Пережитое и передуманное*: 264). Позже, узнав о петербургском заговоре 1849 г. (намекающем на петрашевцев), он вообразил заговорщиков «с длинными волосами, в шляпах, надвинутых на брови, в широких плащах с красной подкладкой, с кинжалами и с ядами...» (*Пережитое и передуманное*: 265). Теперь он сочувствовал и им, чему способствовала литература (прежде всего романы Дюма), в которой героизм и преступление сливались в одно.

Поколение, воспитанное на уважении ко всему таинственному и необыкновенному, было одновременно приучено и к отрицанию, «психическому, а затем и к социальному анализу» (*Пережитое и передуманное*: 269). Двойственность молодёжи, основанная на романтической мечтательности и аналитическом отрицании при «полном невежестве общественной жизни», «полном незнании ее вопросов, при отсутствии всякой политической практики и опытных политических руководителей», стала, по его словам, «бочкой пороху», которой оставалось дожидаться искры — Крымской войны (*Пережитое и передуманное*: 268–269). В этом он видит истоки появления и революционных настроений, и эмиграции как следствия исторического давления и кризиса воспитания.

Объяснение собственной политической незрелости посредством круга чтения и культурных влияний вписывает Кельсиев в традицию литературы XVIII–XIX вв., одной из важнейших тем которой является литературная социализация героя. Русская литература выработала устойчивые модели чтения (см. об этом: [Чавдарова]), с помощью которых персонаж идентифицируется как читатель, а реальный читатель воспоминаний может соотнести себя с их автором. При этом социальный и психический анализ Кельсиева сравним с полемикой 1850-х гг. о «лишних людях» и с рассуждениями подпольного парадоксалиста Достоевского о крушении стремлений к «высокому и прекрасному».

Чтение здесь выступает моделью восприятия, формирующей поведенческие сценарии, — подобно тому, как А. И. Тургенев в конце XVIII в. искал модели эмоционального поведения,

соответствующие образу поэта новой чувственности (см. об этом: [Зорин]). В неменьшей степени поиск поведенческих моделей характерен и для XIX в. Потоки активно переводимой и издаваемой зарубежной литературы, столь важной для Кельсиева, формировали в нем одновременно способы отрешения от реальности и аналитический аппарат для сравнения собственной страны с зарубежными (если оставить за скобками то, что они создавали определенные образы читателей). Например, успех романов Вальтера Скотта, по наблюдению Дамиано Ребеккини, знаменует перелом в читательской культуре 1820-х гг.: если сентиментальные и готические произведения побуждали читателя к отождествлению себя с героями, то Скотт предлагает иной тип чтения — основанный на дистанции между героем и читателем, на удовольствии убежать от повседневной скуки в миры далекие и минувшие. Через такие тексты русская публика училась сравнивать эти миры со своим и открывать собственную историю. Этот аналитический взгляд постепенно распространялся и на французский роман — от Поля де Кока до Бальзака, от Эжена Сю до Дюма и Жорж Санд, чьи книги приучали российских читателей к восприятию новых ценностей и форм поведения, прежде чуждых русскому обществу [Rebecchini: 103–104].

В русской литературе XIX в. описание читательских привычек героев становится важным способом их характеристики. Пушкин, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Чернышевский — все они используют сцены чтения или описание круга чтения, чтобы раскрыть персонажей: от Онегина и Татьяны до Рудина, Макара Девушкина, Степана Трофимовича или Веры Павловны. Эти сцены формируют восприятие героя и предлагают поведенческую модель, создавая связь между тем, что герой читает, и тем, как он действует (см.: [Бочаров]).

В 1860-е гг. это осознается с особенной силой: «Для Чернышевского и его последователей в 1860-е годы литература была "учебником жизни", книга была призвана активно вторгаться в жизнь и ее формировать» [Паперно: 7]. Если литература 1840–1850-х гг. создает внутреннюю раздвоенность между романтическим идеалом и критическим отрицанием, то позднее возникает идея текста, способного стать предписанием к тому, как себя вести, и тем самым вернуть ощущение целостности.

В этом контексте становится понятна двойственная задача Кельсиева: в «Исповеди» он стремится описать то, как воображаемые миры, создаваемые тягой к таинственному, повлияли на его жизненные решения, тогда как в мемуарах он еще и сам претендует на роль «литературного образца» для подражания. Этой задаче соответствуют и его литературные амбиции. В письме Д. В. Аверкиеву от 17 декабря 1864 г. он с дерзкой уверенностью пишет:

«Вот уже два года с лишком, что я пишу, пишу и пишу, и по моей специальности о сектах, и статьи по общим, преимущественно социальным и метафизическим вопросам. <...> Я уже не верую в радужные видения нигилистов, у меня нет упований <...>. Форма изложения у меня несколько мистическая, — я рассказываю невероятные анекдоты об открытии жизненного эликсира, о магии, о гномах, о жителях планеты Марс и т. п., но под этими аллегориями я ставлю вопросы о возможностях и о пользах. Смешай воедино По, Гулливера, Герцена и Чернышевского, прибавь юмор Сервантеса и жёлчь Данте — и ты придешь к некоторому понятию о слоге и о содержании моих произведений (!). Как творец их, я скажу только, что в них много нового, и буде нет у нас теперь никого на место Чернышевского, то я без стыда занял бы это место в оборванной цепи русских мыслителей, начатой Белинским и теперь, кажется, не продолженной никем»¹³.

Эта самопрезентация является примером характерного для Кельсиева сочетания литературной маниакальности и искренней убежденности в своей особой миссии. Она напрямую связана с прагматикой мемуаров: они задумываются как морализаторский и просветительский проект, как предписывающий текст. Симпатий критиков такая позиция автора не вызывала:

«Г. Кельсиев говорит в своей книге все, что взбредет ему в голову, не жалея самого себя, не щадя терпения читателей»;

«Для чего писать на скорую руку и издавать такую книгу — эту арлекинаду незрелых рассуждений, юнкерских анекдотов и бездельной болтовни "о том, о сем, а больше ни о чем"?»¹⁴.

¹³ Кельсиев В. И. Письмо к Д. В. Аверкиеву. 17 декабря 1864 г. // Русская старина. 1882. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. Т. 35. С. 635.

¹⁴ Минаев Д. Д. Для чего иногда люди эмигрируют. С. 861–862.

Ориентированность Кельсиева на тему истории чтения как способ самоанализа укладывается в общий литературный сдвиг 1860-х гг.: в автобиографических текстах теперь нередко демонстрируется, как литературный опыт может формировать личность. Мы видим это в «Былом и думах» А. И. Герцена, «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева, «Моих литературных и нравственных скитальчествах» Ап. Григорьева и др. (см. об этом: [Туниманов: 107–111 и далее]).

В итоге Кельсиев не просто рассказывает о себе — он стремится вписать себя в культурную генеалогию «читателей»: тех, кто формируется под воздействием литературных образцов и впоследствии сам становится объектом чтения.

Реакции современников на публикацию воспоминаний Кельсиева варьируются от сочувствующего, но ироничного взгляда на них Герцена до едва ли не психиатрических диагнозов, поставленных автору Пыпиным и Михайловским, и до отповеди П. Н. Ткачева.

Герцен, бывший соратник по эмиграции, воспринял возвращение Кельсиева прежде всего как личную драму. Его тревожило, что этот поступок приведет к разглашению конфиденциальной или распространению неверной информации, и он следил за общественной реакцией. В письмах Герцена 1867–1868 гг. часто появляется эта тема, в том числе связанная с ожиданием выхода мемуаров Кельсиева [Герцен; т. 29, кн. 1: 136, 183].

Между тем в России поступок Кельсиева становится примером «правильного» раскаяния и приглашением, по мнению Герцена, к возвращению других [Герцен; т. 29, кн. 1: 223]. «Голос» опубликовал о Кельсиеве комплиментарную статью, с подробной биографией, в составлении которой, весьма вероятно, принимал участие сам Кельсиев. Заканчивалась статья так: «...с 11 сентября он находится уже между нами, возвращенный нам милосердием Государя»¹⁵. Нарратив, который выстраивает «Голос», недвусмыслен: возвращение возможно, а для достойных людей, каким зарекомендовал себя Кельсиев в более ранних публикациях в том же «Голосе», — и желанно.

¹⁵ Голос. 1867. № 273. 3 октября. С. 3. Ср. с посвященным ему некрологом: В. Л-ев. В. И. Кельсиев // Нива: журнал литературы, политики и современной жизни. 1873. Т. 31. С. 481–483.

Когда же «Пережитое и передуманное» наконец попало к Герцену, он не увидел в нем ничего, что требовало бы его комментария или опровержения:

«Кельсиева прочел в $\frac{3}{4}$ — и до сих пор писать отказываюсь, — в книге есть много слабого, его ошеломило освобождение, он мало видит гнусной стороны, он падал до религиозных припадков — но где же преступление?» (письмо Н. П. Огареву от 30 (18) июля 1868 г.) [Герцен; т. 29, кн. 2: 423].

В другом письме к Н. П. Огареву, от 3 августа (22 июля) 1868 г., он добавлял:

«Дочитал Кельсиева — я решительно отказываюсь писать¹⁶ да и тебе не советую. <...> Кельсиев сдался, как сумасшедший, — но не изменил» [Герцен; т. 29, кн. 2: 428]¹⁷.

Герцен увидел в Кельсиеве не изменника и не человека, стремящегося выслужиться, а порывистого, страстного и мистически настроенного мечтателя, сломленного действительностью и не понимающего, куда приложить собственные силы. Такой взгляд становится главной интерпретативной рамкой в мемуарах о Кельсиеве, включенных в «Былое и думы». Герцен завершает воспоминания трагедией Кельсиева, сценой смерти его брата, детей и жены [Герцен; т. 11: 339–340]. (В воспоминания о собственной жизни Герцен тоже включает историю своих семейных драм [Туниманов: 40–41, 96–99].) Примечательно, что и Кельсиев интерпретирует ключевые элементы своего возвращения через влияние на него личной трагедии.

История его возвращения становится типичным, образцовым примером. Не случайно, когда в 1869 г. возникли слухи о возможном возвращении Герцена, он в письме к Тургеневу иронически заметил: «Что я им за Кельсиев II достался!» — и использовал при этом неологизм «прикельситься» в значении принудить возвратиться по «кельсиевскому» сценарию [Герцен; т. 30, кн. 1: 58].

¹⁶ Герцен ограничился двумя небольшими заметками: [Герцен; т. 20, кн. 1: 80–81, 364]. Основные мысли о Кельсиеве, уже без ссылок на его мемуары, Герцен изложил в «Былом и думам».

¹⁷ О Кельсиеве в письмах Герцена 1867–1869 гг. см.: [Гросул: 216–218].

Разоблачающую рецензию написал А. Н. Пыпин в «Вестнике Европы». Для него книга Кельсиева — «материал для психологического этюда», а не источник новых идей. По его мнению, автор ищет «не правды, а просто сюрпризов, сопряженных с эффектами»¹⁸. Пыпина возмущает и сам факт публикации воспоминаний, в которых избыточная искренность оборачивается демонстрацией тщеславия и неправдоподобным — и потому даже для умеренных патриотов вредным — возвеличением России, включая ее полицейских и чиновников. Мемуары, с его точки зрения, нарушают публичную мораль.

В той же логике рассуждает Н. К. Михайловский в статье «Жертва старой русской истории». Он перефразирует с иронией формулу самого Кельсиева о его поколении как жертве новой истории. Михайловский видит Кельсиева не политическим, а «очень любопытным психологическим, если не психиатрическим субъектом»¹⁹. Он подробно анализирует внутренние противоречия мемуаров²⁰, но главное — пытается выявить «психическую суть» автора, в основе которой находит его литературную сформированность, вполне в логике самоанализа самого Кельсиева.

П. Н. Ткачев видит в этом самообличении типично русское и иррациональное, непропорциональное реальным поступкам желание покаяния, иронически подчеркивая, что «новый и еще более сильный прилив раскаяния» Кельсиев испытал именно после того, как успешно обустроился в Петербурге. Сперва в своей публицистике, по словам Ткачева, он «в видах искупления договаривался до бреда», затем решился «выдумать что-нибудь более удивительное и более грандиозное» — «целую книгу со специальною задачею оплевать себя в ней так,

¹⁸ Пыпин А. Н. [подп.: Д.] Рец. на: Кельсиев В. Пережитое и передуманное. Воспоминания Василия Кельсиева. СПб., 1868 // Вестник Европы. 1868. № 7. С. 449.

¹⁹ Михайловский Н. К. Жертва старой русской истории // Отечественные Записки. 1868. № 12. С. 225.

²⁰ В качестве характерного для Кельсиева противоречия Михайловский приводит сцену беседы с евреем из путевых очерков (Михайловский Н. К. Жертва старой русской истории. С. 238–239).

как еще никто никогда на Руси себя не оплевывал...»²¹. «Русофильство» Кельсиева, по Ткачеву, — лишь последняя по времени метаморфоза, за которой непременно последует новая.

В отзывах — от Герцена до Ткачева — выражается устойчивая позиция: воспоминания Кельсиева не воспринимаются как вклад в литературу или политическую мысль, а становятся поводом для психологического анализа. Герцен видит в герое мемуаров символ судьбы изгнанника; Минаев, Пьпин и Ткачев сводят его образ к анекдоту; Михайловский рассматривает его как объект психопатологии.

Показательно, что читатели объясняли поступки Кельсиева его воспитанием, словно именно они провели тот же анализ, который он уже предпринял. Ведь сам Кельсиев превратил свое детское чтение и пристрастие к таинственному в предмет обсуждения, увязав их с интересом к восточным языкам, революции, расколу и Европейской Турции. Он стремился сделать себя самого объектом анализа. В других людях он, впрочем, пытался обнаружить ту же потребность. Так, будучи казацким головою (атаманом) в Добрудже, Кельсиев надеялся предотвратить беспорядки, устраивая доверительные беседы с потенциальными преступниками — своего рода «психический анализ», как он его называл:

«Это удивительно действовало на них, — им как-то совестно становилось продолжать прежнее, они меня щадили, огорчить боялись; мое сочувствие к их бедам и страхам исправляло их. А я никогда не давал им советов и нравочений не читал. Я просто интересовался их психологическим бытом, <...> исповедь их передо мною исправляла их. Они помнили, что есть на свете человек, который их понял, дорожили моей дружбою и делались людьми, как все люди» (*Исповедь*: 377).

Мемуары Кельсиева были попыткой не только сформировать прецедент литературного и политического возвращения, но и разработать его сценарий. Он стал одним из первых революционеров, кого публично, и притом так стремительно, простило российское правительство.

²¹ См.: [Ткачев: 213]. Рецензия П. Н. Ткачева, предназначенная для июльского выпуска журнала «Дело» за 1868 г., не была разрешена к печати цензурным комитетом, в результате она опубликована только в 1940 г. по корректурным гранкам.

Герцен вспоминал менее удачный пример М. С. Гулевича, также революционера и эмигранта, которому в 1866 г. было отказано в возвращении: «Гулевич просил смиренно прощения — а простил его не государь, а эмигранты» [Герцен; т. 29, кн. 2: 428]²². В отличие от случая Кельсиева, прощение Гулевича не состоялось, хотя в пореформенное время государство стремилось вернуть на родину соотечественников, живших за границей (не столько эмигрантов в строгом смысле, сколько дворян, лишенных политической вовлеченности), и к этому призывали как периодика, так и отдельные писатели (см. об этом: [Гуськов]).

В проправительственных кругах возвращение Кельсиева встретили с энтузиазмом. Достоевский, находясь за границей, с умилением писал об этом Майкову 9 (21) октября 1867 г., выражая тревогу, что теперь на Кельсиева «взъедятся как звери» либералы «семинаро-социального оттенка» и станут обвинять его в доносах [Достоевский; т. 28, кн. 2: 227]. Некоторое время Кельсиев даже был в центре внимания столичного общества, но там интерес к нему быстро угас [Кленовский: 259–261].

Историю Кельсиева можно рассматривать шире: он стремился усовершенствовать язык эмигрантской саморефлексии (подобным образом в России XVIII в. разрабатывались первые литературные биографии, формировавшие представления о роли и месте писателя в обществе и создававшие его репутацию — см.: [Живов]). Поступки Кельсиева — от эмиграции до возвращения из нее и написания мемуаров — представляют своего рода спектакль, в котором биография становится публичным высказыванием.

Здесь уместно вспомнить рассуждения А. Шёнле о «перформансе изгнания» в биографии Н. И. Тургенева, осужденного декабриста и первого политического эмигранта. Шёнле рассматривает изгнание как совокупность публичных действий, через которые личная биография становится разновидностью высказывания. «Изгнание — не частное дело, а ряд поступков, рассчитанных на реакцию публики», — пишет он, определяя этот опыт не как заранее просчитанную стратегию, а как последовательность ситуативных реакций на изменчивые обстоятельства [Шёнле: 53]. К таким обстоятельствам в биографии

²² См.: [Гулевич: 124].

Тургенева относятся его «эмоциональная, моральная, культурная и идеологическая неопределенность и обездоленность», усиливаемая амбивалентным положением России, которая стремится быть частью Европы, но внутренне остается раздробленной. Каждый изгнанник вырабатывает свой поведенческий стиль, опираясь в том числе на культурные роли «от Овидия до Данте и Пушкина» [Шёнле: 53].

Жизнь Тургенева за рубежом, по Шёнле, представляет собой «перформанс изгнания», цель которого — сохранить согласие между личными убеждениями и тем, чего требовала историческая эпоха. До эмиграции он соединял идеи просвещения с умеренным национализмом; за границей стремился дистанцироваться от России и воспринимал Запад как обитель прогресса, но признавал, что «родина сохраняет неодолимую власть над нами» (цит. по: [Шёнле: 64]). Не сумев влиться в западное общество и окончательно разорвать связь с Россией, он пытался сохранить и интеллектуальную свободу, и лояльность. Тургенев добивался пересмотра своего дела и в 1857 г. получил прощение Александра II, при этом в Россию не вернулся, приезжая лишь на короткое время.

Герцен, с точки зрения Шёнле, воплощает противоположную стратегию. Для него отъезд — не движение к будущему, а вынужденное нахождение в прошлом, ведь нынешняя Европа утратила революционную энергию. Верит же он в решающую роль России. Герцен не ищет компромисса с властью и не стремится вернуться: он превращает изгнание в публичную трибуну, используя свободу слова, обретенную им в Европе, чтобы говорить с Россией. В отличие от Тургенева, его стратегия идейно заострена, но внутреннее раздвоение сохраняется: он остается русским писателем, говорящим изнутри европейского контекста, где он ощущает и свободу, и отчуждение.

Мы предлагаем рассмотреть в этой схеме также и Кельсиева. Он представляет обратное движение — его «перформанс изгнания» завершается не закреплением дистанции, а возвращением. «Исповедь» и мемуары Кельсиева можно понимать как последовательные акты публичного высказывания, обращенные и к власти, и к обществу. В отличие от Герцена, он говорит не как оппозиционер — он становится «своим собственным адвокатом» (*Пережитое и передуманное*: 246), стремясь показать

внутренний перелом. Его тексты — это риторический жест, направленный на прекращение изгнания и восстановление связи с русским обществом.

Оригинальность психологической манеры Кельсиева ускользала от критиков, колеблющихся между представлением о нем как о наследнике мистического романтизма и обвинениями в приспособленчестве и политическом авантюризме. Между тем Кельсиева невозможно понять вне его внутренней противоречивости и иррациональности, которые он сам подчеркивает. Противоречивость его натуры — общее место критических и мемуарных высказываний о нем, однако никогда не учитывается, что сам Кельсиев прекрасно отдает себе в этом отчет. Он стремится придать повествованию цельность, указывая на отказ от революционных убеждений как результат общения с раскольниками (историческая логика), но одновременно акцентирует роль семейной трагедии (личные причины). Он подвергает себя анализу, чтобы провести линию преемственности между энтузиазмом 1840-х гг. и разочарованиями 1860-х гг. (историческая логика), и при этом демонстрирует спонтанность и внезапность своих решений, подчеркивает свой интерес к магии, мистике, совпадениям и фантастическим идеям (мистическая логика).

Его «перформанс возвращения», если перефразировать Шёнле, касается не только жизненных практик, но и литературы. По мнению исследователей, история Кельсиева повлияла на создание «Бесов» Достоевского (см.: [Достоевский; т. 12: 231–233], [Тарасова]) — притом, добавим мы, не только на генезис Шатова или Кириллова, но и на «фантастическое» желание Липутина взять и уехать за границу [Достоевский; т. 10: 430], на возвращение Верховенского и Ставрогина.

В одной из работ мы попытались расширить генезис Версилова, героя «Подростка», за счет включения туда Нехлюдова из «Люцерна» Толстого [Димитриев]. Полагаем, что внезапный и иррациональный отъезд и возвращение Кельсиева находит продолжение в том же герое Достоевского. При всех различиях их происхождения, занятий и интеллектуальных привычек оба они уезжают за рубеж и возвращаются спонтанно. Оба объясняют это в исповедальной форме. Кельсиев уезжает, потому что «таким воздухом веяло», а Версилов «эмигрировал»,

но, к неудовольствию сына, не к «Герцену» (участвовать «в заграничной пропаганде»), а «просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски. <...> Дворянская тоска и ничего больше» [Достоевский; т. 13: 373–374]. Свою идею русской тоски, всемирного служения, скитальчества как мотивировку отъезда и возвращения Версилов совмещает с личными мотивами — запутанными отношениями его с Софьей Андреевной и Ахмаковой. Таким же образом Кельсиев мотивирует свое возвращение одновременно новой захватившей его идеей и духовным опустошением вследствие семейной драмы. Конечно, ни о каком строгом совпадении не может идти речь — скорее, следует сказать, что Кельсиев входит в число эмигрантов, задавших характер и некоторые жизненные мотивы Версилова.

Мы хотели бы дополнить кельсиевский контекст в творчестве Достоевского еще одной деталью. Несмотря на возвращение в Россию, Кельсиев не стал осведомителем III Отделения, никого не оговорил и делился сведениями, уже известными полиции (см. об этом: [Кленовский: 255–256]). Это соответствовало его позиции не отрицать прошлое полностью.

Показательна в этом отношении его обширная рецензия на повесть Стебницкого (Н. С. Лескова) «Загадочный человек» (1870), в основе которой лежала биография Артура Бенни и отчасти самого Кельсиева. В этом произведении Лесков называет 1860-е гг. «комическим временем», а подзаголовок к первой публикации гласит: «Очерк из истории комического времени на Руси». Кельсиев вступает с ним в полемику:

«То было время, к которому я сам принадлежал в качестве деятеля, и подать голос за старых товарищей, одна половина которых находится уже на том свете, а другая в ссылке и в каторге, считаю я своим священным долгом. Мы ошибались: мы думали сотворить в России революцию — но время наше комичным не было. <...> Мне кажется, что и сам Дон-Кихот далеко не только комичен. Мы шли с верою, мы делали ошибки, но шутами гороховыми, как нас старается представить г. Стебницкий, мы не были. Плох комизм людей, которые с утра до вечера ждут ареста, которые видят пред собой виселицу или двенадцать пуль!»²³.

²³ Кельсиев В. И. Загадочный человек: Эпизод из комического времени на Руси, с письмом автора к И. С. Тургеневу, Лескова-Стебницкого // Заря. 1871. № 6. Отд. II. С. 1.

По мнению Кельсиева, Стебницкий-Лесков, хоть и «не люстрируя чужих писем, люстрирует пред публикой старые, давным-давно искупленные и заглаженные чужие грехи...»²⁴, к коим он, вероятно, относит и свои собственные.

Примечательно, что для обоснования серьезности того времени Кельсиев ссылается на фигуру Дон-Кихота — не как комического, а как трагического героя. Такой взгляд восходит еще к Белинскому [Белинский: 244], но из ближайших к рецензии Кельсиева текстов ее можно было почерпнуть из романа «Идиот», в котором Аглая Епанчина замечает, что пушкинский «рыцарь бедный» — это «тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический» [Достоевский, 2019: 229].

Однако важнее другой аспект. Кельсиев, несмотря на свой внутренний перелом и не порывая со своим новым образом, продолжает говорить от лица ушедшего революционного поколения и защищать его. Подобная модель высказывания «бывшего революционера» об антиправительственной деятельности повторяется и у Достоевского. Вероятность знакомства Достоевского с этой рецензией большая: она была опубликована в журнале «Заря» (1871, № 6), а это издание, включая другие помещенные туда кельсиевские статьи, Достоевский регулярно читал [Достоевский; т. 12: 219]. Мы полагаем, что рецензия Кельсиева послужила одним из источников статьи Достоевского «Одна из современных фальшей» (1873). В этой работе, завершающей «Дневник Писателя» 1873 г. в составе «Гражданина», Достоевский отрицает утверждение, будто к революции тяготеют «ху...дшие» люди, вполне в духе риторики Кельсиева:

«...я сам старый "нечаевец", я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, *когда уже всё прошло*, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями» [Достоевский; т. 21: 129].

В основе заблуждений Достоевского и других петрашевцев были такие влияния, которые захватывали «сердца и умы во имя какого-то великодушия» [Достоевский; т. 21: 131]. В этой

²⁴ Кельсиев В. И. Загадочный человек... С. 28.

статье бывший петрашевец, хоть и настаивает на произошедшем в нем перерождении убеждений, все-таки оправдывает увлечение революционными идеями. Характерно, что далее он вспоминает один из рассказов Кельсиева об эмигрантах [Достоевский; т. 12: 135]²⁵.

В «Исповеди» и «Пережитом и передуманном» Кельсиев создает две версии одной и той же биографической истории, различие между которыми показывает, как автор переосмысливает свою роль. Он сочетает политический жест с литературной самохарактеристикой, сначала выступая кающимся преступником перед властью, а затем — героем «романизированной» исповеди перед публикой. В «Исповеди» он фиксирует внутренний перелом 1864–1865 гг., стремясь показать искреннее покаяние. В «Пережитом и передуманном» автор превращает тот же материал в литературную историю о внезапном спасении — роман воспитания или антивоспитания, где личный кризис становится симптомом эпохи. Он подробно описывает круг юношеского чтения и школьное воспитание — из этого выводит формулу поколения, воспитанного на противоречии между мечтой и анализом.

«Исповедь» и «Пережитое и передуманное» образуют диптих, показывающий путь их автора и героя от политического покаяния к литературной самохарактеристике. Фигура Кельсиева становится предметом полемики о границах покаяния и гражданской ответственности. При этом критика упускала из виду главное: стремление Кельсиева изобразить внутренне противоречивого автобиографического героя, сочетающего аналитический склад ума с иррациональностью поступков. Такой тип мышления и повествования сближает его с Достоевским, сочувственно отнесшимся к его судьбе.

²⁵ См. также другие случаи неоднозначного отношения Достоевского к революционному движению: [Достоевский; т. 21: 451–458].

Список литературы

1. Белинский В. Г. Ответ «Москвитянину» // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 10: Статьи и рецензии. 1846–1848. С. 221–269.
2. Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь («Станционный смотритель» и «Шинель») // Проблемы типологии русского реализма. М.: Наука, 1969. С. 210–240. EDN: VWTRXH
3. Булатова А. Неуместный модернизм Виктора Шкловского: «Письма не о любви» и границы литературы // Новое литературное обозрение. 2015. № 3 (133). С. 182–196 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/133_nlo_3_2015/article/11449/ (15.07.2025). EDN: UDIYTP
4. Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954–1966.
5. Гросул В. Я. Российские революционеры в Юго-Восточной Европе (1859–1874 гг.). Кишинев: Штиинца, 1973. 539 с.
6. Гулевич М. С. М. С. Гулевич — Огареву / публ. Б. П. Козьмина // Герцен и Огарев. II. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 123–125. (Сер.: Лит. наследство; т. 62.)
7. Гуськов С. Н. Зачем «Северная почта» в 1863 году призывала русских дворян вернуться на родину? (Еще раз о деятельности И. А. Гончарова на посту главного редактора правительственной газеты) // Русская литература. 2023. № 4. С. 180–191 [Электронный ресурс]. URL: <https://pushkinskiydom.ru/zhurnal-russkaya-literatura/russkaya-literatura-2023-4/zachem-severnaya-pochta-v-1863-godu-prizyvala-russkih-dvoryan-vernutsya-na-rodinu-eshhe-raz-o-deyatelnosti-i-a-goncharova-na-postu-glavnogo-redaktora-pravitelstvennoj-gazety-prilozhenie-i-p-pis/> (19.07.2025). DOI: 10.31860/0131-6095-2023-4-180-191
8. Димитриев В. М. Русский человек за рубежом: рассказ «Люцерн» Л. Н. Толстого в романе Ф. М. Достоевского «Подросток» // Проблемы исторической поэтики. 2024. Т. 22. № 4. С. 158–179 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1732466606.pdf (15.07.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2024.14502. EDN: AJPDJL
9. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
10. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: в 35 т. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 2019. Т. 8. 564 с.
11. Ефимов М., Смит Дж. Святополк-Мирский. М.: Молодая гвардия, 2021. 704 с. (Сер.: Жизнь замечательных людей.)
12. Живов В. М. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 24–83. EDN: PYILZL
13. Зорин А. Л. Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: Новое лит. обозрение, 2024. 563 с. (Сер.: Интеллектуальная история.)

14. Калинин И. А. «Человек один идет по льду...». Повороты истории и мемуарные траектории Виктора Шкловского // Шкловский В. Б. Собр. соч. / отв. ред. И. Калинин. [2-е изд.]. М.: Новое лит. обозрение, 2019. Т. 2: Биография. С. 6–13.
15. Кибальник С. А. Философский интертекст творчества Достоевского. СПб.: Петрополис, 2021. 364 с.
16. Кленовский М. М. <Вступительная статья к «Исповеди» В. И. Кельсиева> // А. И. Герцен. П. М.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 253–264. (Сер.: Лит. наследство; т. 41/42.)
17. Кравчук И. А. «Игривенькие сюжетцы» «Русского инвалида» в записной тетради Ф. М. Достоевского // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2024. Т. 7. № 4. С. 195–219 [Электронный ресурс]. URL: <https://phillet.hse.ru/article/view/24258/20221> (15.07.2025). DOI: 10.17323/2658-5413-2024-7-4-195-219. EDN: USLHTO
18. Лесков Н. С. Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Терра, 2004. Т. 8. 943 с.
19. Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: Новое лит. обозрение, 1996. 208 с. (Сер.: Научное приложение; вып. 6.)
20. Соколов Н. П. В. И. Кельсиев // Русские писатели. 1800–1917: биографический словарь / гл. ред. П. А. Николаев. М.: Большая российская энциклопедия, 1992. Т. 2: Г–К. С. 526–527.
21. Соловьев К. А. Общественно-политические взгляды и деятельность В. И. Кельсиева (1835–1872): дис. ... канд. ист. наук. М., 2010. 392 с. EDN: QEZRRP
22. Соловьев К. А. Василий Кельсиев: путь интеллигента в революцию // Новый исторический вестник. 2011. № 2 (28). С. 88–97 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_16381519_45805489.pdf (15.07.2025). EDN: NUMKEF
23. Тарасова Н. А. Черновой план Достоевского «Зависть»: как начинались «Бесы»? (Достоевский, Артур Бенни и нечаевское дело) // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2024. № 4 (28). С. 117–164 [Электронный ресурс]. URL: https://dostmirkult.ru/images/2024-4/05_Tarasova_2024_4_117-164.pdf (15.07.2025). DOI: 10.22455/2619-0311-2024-4-117-164. EDN: IGFXGT
24. Ткачев П. Н. О книге Кельсиева / публ. и коммент. А. Шилова // Шестидесятые годы: мат-лы по истории литературы и общественному движению / под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 212–219.
25. Туниманов В. А. А. И. Герцен и русская общественно-литературная мысль XIX в. СПб.: Наука, 1994. 226 с.
26. Чавдарова Д. Homo legens в русской литературе XIX века. Шумен: Аксиос, 1997. 141 с.
27. Шёнле А. Эмоциональная, моральная и идеологическая амбивалентность изгнания. Николай Тургенев и перформанс политической эмиграции // Век диаспоры: траектории зарубежной русской литературы (1920–2020): сб. ст. / под ред. М. Рубинс. М.: Новое лит. обозрение, 2021. С. 52–89. (Сер.: Научное приложение; вып. 208.)

28. Rebecchini D. Reading Foreign Novels, 1800–1848 // Reading Russia. A History of Reading in Modern Russia / ed. by D. Rebecchini and R. Vasena. Milano: Ledizioni, 2020. Vol. 2. P. 57–105.
29. Tchertkov L. Between Hoffman and Herzen — Vasily Kelsiev // Gnosis. 1978. No. 3–4. P. 21–26.

References

1. Belinskiy V. G. Answer to “Moskvityanin”. In: *Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh* [Belinsky V. G. *The Complete Works: in 13 Vols*]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1956, vol. 10, pp. 221–269. (In Russ.)
2. Bocharov S. G. Pushkin and Gogol (“The Stationmaster” and “The Overcoat”). In: *Problemy tipologii russkogo realizma* [Problems of the Typology of Russian Realism]. Moscow, Nauka Publ., 1969, pp. 210–240. EDN: VWTRXH (In Russ.)
3. Bulatova A. Viktor Shklovsky’s Misplaced Modernism: “Letters Not About Love” and the Limits of Literature. In: *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2015, no. 3 (133), pp. 182–196. Available at: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/133_nlo_3_2015/article/11449/ (accessed on July 15, 2025). EDN: UDIYTP (In Russ.)
4. Gertsen A. I. *Sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Collected Works: in 30 Vols] Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1954–1966. (In Russ.)
5. Grosul V. Ya. *Rossiyskie revolyutsionery v Yugo-Vostochnoy Evrope (1859–1874 gg.)* [Russian Revolutionaries in South-Eastern Europe (1859–1874)]. Kishinev, Shtiintsa Publ., 1973. 539 p. (In Russ.)
6. Gulevich M. S. M. S. Gulevich to Ogarev. In: *Herzen and Ogarev. II*. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1955, pp. 123–125. (Ser.: Literary Heritage; vol. 62.) (In Russ.)
7. Gus’kov S. N. Why Did “Severnaya pochta” Urge the Russian Aristocrats to Return to Their Homeland in 1863? (Once Again on I. A. Goncharov’s Activity as Editor-in-Chief of a Government Newspaper). In: *Russkaia literatura* [Russian Literature], 2023, no. 4, pp. 180–191. Available at: <https://pushkin-skijdom.ru/zhurnal-russkaya-literatura/russkaya-literatura-2023-4/zachem-severnaya-pochta-v-1863-godu-prizyvala-russkih-dvoryan-vernutsya-na-rodinu-eshhe-raz-o-deyatelnosti-i-a-goncharova-na-postu-glavnogo-redaktora-pravitelstvennoj-gazety-prilozhenie-i-p-pis/> (accessed on July 19, 2025). DOI: 10.31860/0131-6095-2023-4-180-191 (In Russ.)
8. Dimitriev V. M. A Russian Abroad: Tolstoy’s Short Story “Lucerne” in Dostoevsky’s Novel “The Adolescent”. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics], 2024, vol. 22, no. 4, pp. 158–179. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1732466606.pdf (accessed on July 15, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2024.14502. EDN: AJPDJL (In Russ.)
9. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)

10. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 35 tomakh* [The Complete Works and Letters: in 35 Vols]. 2nd ed., corrected and supplemented. St. Petersburg, Nauka Publ., 2019, vol. 8. 564 p. (In Russ.)
11. Efimov M., Smith G. *Svyatopolk-Mirsky*. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 2021. 704 p. (Ser.: Life of Remarkable People.) (In Russ.)
12. Zhivov V. M. The First Russian Literary Biographies as a Social Phenomenon: Trediakovsky, Lomonosov, Sumarokov. In: *Novoe literaturnoe obozrenie*, 1997, no. 25, pp. 24–83. EDN: PYILZL (In Russ.)
13. Zorin A. L. *Poyavlenie geroya: iz istorii russkoy emotsional'noy kul'tury kontsa XVIII — nachala XIX veka* [Hero Appearance: from the History of Russian Emotional Culture of the Late 18th — Early 19th Centuries]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2024. 563 p. (Ser.: Intellectual History.) (In Russ.)
14. Kalinin I. A. “A Man Walks Alone on the Ice...”. The Twists of History and the Memoir Trajectories of Viktor Shklovsky. In: *Shklovskiy V. B. Sobranie sochineniy* [Shklovsky V. B. The Collected Works]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2019, vol. 2: Biography, pp. 6–13. (In Russ.)
15. Kibalnik S. A. *Filosofskiy intertekst tvorchestva Dostoevskogo* [The Philosophical Intertext of Dostoevsky's Works]. St. Petersburg, Petropolis Publ., 2021. 364 p. (In Russ.)
16. Klenovskiy M. M. Introductory Article to “Confession” by V. I. Kelsiev. In: *A. I. Herzen. II*. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1941, pp. 253–264. (Ser.: Literary Heritage; vol. 41/42.) (In Russ.)
17. Kravchuk I. A. “Playful Plots” of “The Russian Invalid” in F. M. Dostoevsky's Notebook. In: *Filosoficheskie pis'ma. Russko-evropeyskiy dialog* [Philosophical Letters. Russian and European Dialogue], 2024, vol. 7, no. 4, pp. 195–219. Available at: <https://phillet.hse.ru/article/view/24258/20221> (accessed on July 15, 2025). DOI: 10.17323/2658-5413-2024-7-4-195-219. EDN: USLHTO (In Russ.)
18. Leskov N. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Complete Works: in 30 Vols]. Moscow, Terra Publ., 2004, vol. 8. 943 p. (In Russ.)
19. Paperno I. *Semiotika povedeniya: Nikolay Chernyshevskiy — chelovek epokhi realizma* [Semiotics of Behavior: Nikolai Chernyshevsky — a Man of the Age of Realism]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 1996. 208 p. (Ser.: Scientific Application; issue 6.) (In Russ.)
20. Sokolov N. P. V. I. Kelsiev. In: *Russkie pisateli. 1800–1917: biograficheskiy slovar'* [Russian Writers. 1800–1917: Biographical Dictionary]. Moscow, The Great Russian Encyclopedia Publ., 1992, vol. 2, pp. 526–527. (In Russ.)
21. Solov'yov K. A. *Obshchestvenno-politicheskie vzglyady i deyatelnost' V. I. Kel'sieva (1835–1872): dis. ... kand. ist. nauk* [Socio-Political Views and Activities of V. I. Kelsiev (1835–1872). PhD. histor. sci. diss.]. Moscow, 2010. 392 p. EDN: QEZRRP (In Russ.)
22. Solov'yov K. A. Vasily Kelsiev: the Path of an Intellectual to Revolution. In: *Novyy istoricheskiy vestnik* [The New Historical Bulletin], 2011, no. 2 (28), pp. 88–97. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_16381519_45805489.pdf (accessed on July 15, 2025). EDN: NUMKEF (In Russ.)

23. Tarasova N. A. Dostoevsky's Draft Plan "Envy": How Did "Demons" Begin? (Dostoevsky, Arthur Benni and Nechaev Court Case). In: *Dostoevskiy i mirovaya kul'tura. Filologicheskij zhurnal* [Dostoevsky and World Culture. *Philological Journal*], 2024, no. 4 (28), pp. 117–164. Available at: https://dostmirkult.ru/images/2024-4/05_Tarasova_2024_4_117-164.pdf (accessed on July 15, 2025). DOI: 10.22455/2619-0311-2024-4-117-164. EDN: IGFXTG (In Russ.)
24. Tkachev P. N. About Book of Kelsiev. In: *Shestidesyatye gody: materialy po istorii literatury i obshchestvennomu dvizheniyu* [The Sixties: Materials on the History of Literature and Social Movements]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1940, pp. 212–219. (In Russ.)
25. Tunimanov V. A. A. *I. Gertsen i russkaya obshchestvenno-literaturnaya mysl' XIX v.* [A. I. Herzen and Russian Socio-Literary Thought of the 19th Century]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1994. 226 p. (In Russ.)
26. Chavdarova D. *Homo legens v russkoy literature XIX veka* [Homo Legens in Russian Literature of the 19th Century]. Shumen, Aksios Publ., 1997. 141 p. (In Russ.)
27. Schönle A. Exile as Emotional, Moral, and Ideological Ambivalence: Nikolai Turgenev and the Performance of Political Emigration. In: *Vek diaspor: traektorii zarubezhnoy russkoy literatury (1920–2020): sbornik statey* [The Age of Diaspora: Trajectories of Russian Literature Abroad (1920–2020): a Collection of Articles]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2021, pp. 52–89. (Ser.: Scientific Application; issue 208.) (In Russ.)
28. Rebecchini D. Reading Foreign Novels, 1800–1848. In: *Reading Russia. A History of Reading in Modern Russia*. Milan, Ledizioni Publ., 2020, vol. 2, pp. 57–105. (In English)
29. Tchertkov L. Between Hoffman and Herzen — Vasily Kelsiev. In: *Gnosis*, 1978, no. 3–4, pp. 21–26. (In English)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Димитриев Виктор Михайлович, **Viktor M. Dimitriev**, PhD (Philology), кандидат филологических наук, Independent Researcher (St. Petersburg, Russian Federation); ORCID: независимый исследователь (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2801-3511>; e-mail: ganthenbein@gmail.com; e-mail: ganthenbein@gmail.com.

Поступила в редакцию / Received 05.08.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 17.09.2025

Принята к публикации / Accepted 19.09.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16162

EDN: FJXMMR



«Бедные люди» Ф. М. Достоевского и А. Манцони: заглавие, концепт, сравнение

И. В. Дергачева

*Московский государственный психолого-педагогический университет
(г. Москва, Российская Федерация)*

e-mail: krugh@yandex.ru

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ концепции «маленького человека» в романах Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846) и А. Манцони «Обрученные» (1827, 1842), проанализированы историко-культурные контексты создания произведений — эпоха «Великих реформ» в России и Рисорджименто в Италии. Основное внимание уделено специфике художественного антропологизма двух писателей: у Достоевского акцент смещен на внутреннее, духовное «восстановление» и воспитание личности через страдание (антроподицея), в то время как у Манцони судьба «униженных и оскорбленных» вписана в широкий контекст истории и Божьего Промысла (теодицея). Рассмотрен вопрос о возможном знакомстве Достоевского с творчеством Манцони. Исследование также затрагивает проблему художественного метода, анализируя «реализм в высшем смысле» у Достоевского и поиск национального языка и эпической формы у Манцони. Хотя оба романа созданы в рамках христианской культуры, они отражают принципиально разные религиозно-философские установки. Манцони в «Обрученных» демонстрирует этику христианского гуманизма, где Промысел Божий проявляется в историческом порядке и человеческом милосердии. Для Достоевского же христианство — это экзистенциальная драма, трагический путь страдания и личного духовного преображения через веру.

Ключевые слова: Достоевский, Манцони, «Бедные люди», «Обрученные», историческая поэтика, сравнительное литературоведение, «маленький человек», реализм, христианство, национальная идентичность, рецепция

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, № 24-28-00479 «Межкультурный диалог России и Италии в эпоху "Великих реформ" Российской империи и итальянского Рисорджименто», <https://rscf.ru/project/24-28-00479/>).

Для цитирования: Дергачева И. В. «Бедные люди» Ф. М. Достоевского и А. Манцони: заглавие, концепт, сравнение // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 189–207. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16162. EDN: FJXMMR

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16162

EDN: FJXMMR

F. M. Dostoevsky's "Poor Folk" and A. Manzoni's "The Betrothed": Title, Concept, Comparison

Irina V. Dergacheva

*Moscow State University of Psychology and Education
(Moscow, Russian Federation)*

e-mail: krugh@yandex.ru

Abstract. The article presents a comparative analysis of the "little man" concept in F. M. Dostoevsky's novel "Poor Folk" (1846) and A. Manzoni's "The Betrothed" (1827, 1842). It examines the historical and cultural contexts of the works' creation — the era of the "Great Reforms" in Russia and the Risorgimento in Italy. The primary focus is on the specific features of the two writers' artistic anthropologism: Dostoevsky shifts the emphasis towards the inner, spiritual "restoration" and education of the individual through suffering (anthropodicy), while Manzoni situates the fate of the "humiliated and insulted" within the broad context of history and God's providence (theodicy). The article raises the question of Dostoevsky's potential familiarity with Manzoni's work. It also touches upon the problem of the artistic method, analyzing Dostoevsky's "realism in the higher sense" and Manzoni's search for a national language and epic form. The author concludes that the two distinct paths of European realism, while stemming from a common Christian paradigm, are fundamentally different: whereas Manzoni remains within the framework of humanism, Dostoevsky's worldview is profoundly Christian.

Keywords: Dostoevsky, Manzoni, "Poor Folk", "The Betrothed", historical poetics, comparative literature, 'little man', realism, Christianity, national identity, reception

Acknowledgments. The research was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 24-28-00479, <https://rscf.ru/project/24-28-00479/>).

For citation: Dergacheva I. V. F. M. Dostoevsky's "Poor Folk" and A. Manzoni's "The Betrothed": Title, Concept, Comparison. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 189–207. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16162. EDN: FJXMMR (In Russ.)

Тип «бедного», «маленького» человека является одним из ключевых в литературе XIX в., маркируя переход от романтизма к реализму. Однако его художественное воплощение варьировалось в зависимости от национально-культурного контекста и творческой индивидуальности автора. Романы Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846) и А. Мандзони «Обрученные» (окончательная редакция — 1842) представляют собой два фундаментальных, но различных подхода к осмыслению этой темы. Их сопоставление позволяет выявить общие закономерности и национальную специфику в развитии европейского литературного процесса эпохи формирования национальных государств.

Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» создавался в преддверии «Великих реформ», и образ его главного героя Макара Девушкина стал, по замечанию В. Н. Захарова, «первым открытием великой идеи Достоевского — идеи "восстановления" человека, духовного воскрешения забытых и бедных людей, униженных и оскорбленных» [Захаров, 1989: 41]. История оценки произведения Н. А. Некрасовым, Д. В. Григоровичем и В. Г. Белинским хорошо известна и подчеркивает своевременность появления такого героя в русской литературе. Сам Достоевский вспоминал, как Некрасов и Григорович, прочтя рукопись,

«в один голос решили идти ко мне немедленно: "Что ж такое что спит, мы разбудим его, *это* выше сна!"» [Достоевский; т. 25: 29].

А слова Белинского стали для писателя пророческими:

«Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» [Достоевский; т. 25: 31].

Достоевский уходил от Белинского «в упоении» (см.: [Мочульский: 35]):

«Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом» [Достоевский; т. 25: 31].

В. Н. Захаров открыл тайну личности героя романа «Бедные люди»: «И всё же в образе Макара Девушкина есть то, что отсутствует в образе Вареньки Доброселовой. В сюжете романа героиня задана и дана в определенной духовной сущности: она неизменна и в дневнике, и в первых письмах, и в последних. В отличие от статичной героини Макар Девушкин меняется. Маленький, тихий, скромный, забитый и униженный чиновник преображается — и преображается духовно. Это постепенный процесс, в котором ключевую роль играет литература» [Захаров, 1989: 39–40].

Как указывает Г. К. Щенников, «любовный сюжет неразрывно связан с литературным»: пытаюсь украсить свой слог, «уже в первом письме к Вареньке Макар Алексеевич», использует «штампы сентиментально-романтической литературы»:

«Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и тревожении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц, — ну, и остальное всё такое же, сему же подобное; то есть я всё такие сравнения отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, всё такое же весьма подробно описано» [Достоевский; т. 1: 14].

В следующем письме он описывает свое жильё, «уголок, отгороженный в общей кухне», «в духе модных "физиологий"». Макар Девушкин «увлечен литературой»: «он еще не умеет отделить» достойные произведения от подделок, но «цену литературе знает».

Духовный перелом и затем подъем героя связаны с его встречей с настоящей литературой. Чтение «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина и «Шинели» Н. В. Гоголя становится для Девушкина актом самопознания и катализатором нравственного роста. Его сознание расширяется, а любовь к Вареньке Доброселовой из бытового чувства трансформируется в жертвенное, одухотворенное служение (см. подробнее: [Щенников: 14–15]). Сам герой, еще только учась формулировать свои мысли, точно определяет значение подлинной литературы, противопоставляя ее бульварным сочинениям Ратазиева:

«А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая <...>. Литература — это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало; страсти выраженье, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ» [Достоевский; т. 1: 51].

Таким образом, «Бедные люди» — это в первую очередь роман воспитания, где спасение ищется и находится внутри человека, на пути его личностного становления. Ф. М. Достоевский писал брату Михаилу 1 февраля 1846 г.:

«Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое...» [Достоевский; т. 28, кн. 1: 118].

Работа над рукописью «Бедных людей» была завершена в ноябре 1844 г. Но «в декабре она подвергается полной» авторской «переработке, а в феврале 1845 г. — вторичной переделке» (см.: [Мочульский: 26], [Белов: 29]):

«Кончил я его [роман] совершенно, — сообщает Достоевский брату 24 марта 1845 г. — чуть ли еще не в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен» [Достоевский; т. 28, кн. 1: 106].

Как и А. Мандзони, Достоевский никак не может удовлетвориться формой — он хочет «совершенства». «Это стремление к законченности», к совершенству, говорит исследователь, осталось у него на всю жизнь (см.: [Мочульский: 26]). Переработка первого романа — это поиски его совершенной формы: Достоевский упорно ищет подходящее художественное воплощение. Через полтора месяца после второй переделки, в апреле 1845 г., «Бедные люди» подвергаются новой коренной и на этот раз уже последней (до печатания) переделке. 4 мая 1845 г. Достоевский пишет брату:

«Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять, и ей-Богу к лучшему; он чуть ли не вдвое

выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрогиваться» [Достоевский; т. 28, кн. 1: 108].

Три переделки «Бедных людей» — это не только поиски идеальной художественной формы, но и выражение эволюции мироощущения писателя (см.: [Мочульский: 26], [Белов: 30]), из истории любви Девушкина к Вареньке создавшего реалистическую картину общественного зла и социальной несправедливости. Как писал В. Н. Захаров, «герои Достоевского, а это "смешные люди", "подпольные парадоксалисты", герои "слабого сердца", пошлые и великие грешники, разбойники и блудницы, ждут и призывают Мессию. Их спасти являлся в мир и вернется еще раз Христос. <...> "Христианская мысль" проливает истинный свет на смысл "реализма в высшем смысле". Христианский реализм — это реализм, в котором *жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение Слова*. Достоевский был первым, кто в своем творчестве сознательно поднялся до высот христианского реализма, назвав его "реализмом в высшем смысле"» [Захаров, 2001: 12, 16].

Алессандро Мандзони¹ (1785–1873), итальянский писатель, драматург, поэт, крупнейший представитель и теоретик итальянского романтизма, автор первого в Италии исторического романа, стоявший у истоков формирования единого итальянского литературного языка, начал работу над «Обрученными» ("I promessi sposi") в 1821 г., в период подъема национально-освободительного движения в Италии (Рисорджименто). Однако в отличие от многих современников, видевших в литературе прямой инструмент политической борьбы, Мандзони избрал иную стратегию. Он обратился к истории XVII в., чтобы через призму судеб простых людей — Ренцо Трамальино и Лючии Монделла — исследовать вневременные категории добра и зла, Промысла и Провидения, заложив тем самым основы общенационального языка и культуры.

Важным вопросом для сравнительного анализа является проблема возможной рецепции: был ли знаком Достоевский с творчеством Мандзони к моменту создания «Бедных людей»?

¹ *ит.* Manzoni. Варианты транслитерации фамилии на русском языке: Манцони, Манзони.

Косвенные признаки указывают на высокую вероятность того, что итальянский писатель входил в интеллектуальный контекст романа «Бедные люди».

Произведение Мандзони было хорошо известно в русской литературной среде 1840-х гг., о чем свидетельствуют многочисленные публикации отрывков из него и критических статей, а также активное обсуждение в кругах, близких Достоевскому: «Роман Мандзони, имевший не только итальянский, но и европейский успех, получил известность в России вскоре после публикации. Уже в 1827 году в журнале "Московский вестник" были опубликованы как первый отрывок из "Обрученных", так и статья о романе, заимствованная из "Journal des Débats". В последующие годы в печати неоднократно появлялись фрагменты из романа, переведившиеся и с французских посредников, и с итальянского оригинала, а также заметки и статьи об "I promessi sposi" и их авторе. При общем внимании к Мандзони и значительном интересе литераторов и читателей к жанру исторического романа русское книжное издание "миланской повести XVII века" было бы ожидаемым событием и в 1830-е, и в 1840-е годы, однако неоднократно предпринимавшиеся попытки издать такой перевод в Российской империи наталкивались на цензурные сложности и запреты, преодолеть которые, хотя и не без труда, удалось только в 1853–1854 годах книгопродавцу Н. Н. Улитину-Глазунову» [Бодрова: 127–128].

В. Г. Белинский, первый и самый восторженный читатель «Бедных людей», неоднократно упоминал Мандзони как «гениального романиста» и сетовал на отсутствие качественного русского перевода «Обрученных»: «Да вот — чего лучше? — писал он в рецензии 1838 г., — отчего бы не перевести "Обрученных" Манцони? Очень бы можно найти хорошего переводчика. Разумеется, всё хорошее будет стоить бóльших расходов, но зато и будет приносить бóльшие выгоды» [Белинский: 494]. Учитывая влияние Белинского на молодого Достоевского и интерес к итальянской литературе в кружке петрашевцев, можно предположить, что творчество Мандзони было частью этого литературного фона.

Возможно также опосредованное знакомство Ф. М. Достоевского с романом Мандзони — через А. С. Пушкина, который

с большим интересом относился к творчеству итальянского писателя. Так, отмечается, что «наброски пушкинских писем-предисловий, предназначенных для представления романтической трагедии, ломавшей каноны классицистической драматургии, скорее перекликаются не с классическими образцами, а, напротив, с письмом-трактатом представителя итальянского романтизма, драматурга и теоретика Алессандро Мандзони <...>, спорившего со сторонниками классицистической традиции. <...> Основные положения "Письма" Мандзони <...> явно импонируют взглядам Пушкина» [Дмитриева: 288, 292]. По наблюдению Фиорнандо Габбриелли, переводчика «Евгения Онегина» (2006), роман «Обрученные», на итальянском и французском языках, имелся в библиотеке Пушкина [Капилупи, Обухович: 123] и высоко ценился поэтом, прочитавшим его в 1828 г. [Дмитриева: 288]. Неоднократно указывалось на то, что книга Мандзони и в целом — его творчество оказали влияние на роман в стихах (см., например: [Горохова], [Крымская]). Исторический роман «Обрученные» Алессандро Мандзони, сыгравший в Италии «ту же роль, которую сыграла "Капитанская дочка" Пушкина в русской литературе», входит в круг чтения и главного героя романа Евгения Онегина, наравне с произведениями других крупных писателей той эпохи, оказываясь в его руках, когда в VIII главе он предается размышлениям (см.: [Капилупи, Обухович: 123], [Горохова]):

«XXXV

Стал вновь читать он без разбора.

Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
 Madame de Staël, Биша, Тиссо,
 Прочел скептического Беля,
 Прочел творенья Фонтенеля,
 Прочел из наших кой-кого,
 Не отвергая ничего...»

[Пушкин: 182–183].

В ряду имен, составляющих интеллектуальный багаж Евгения Онегина, упоминание Алессандро Мандзони выполняет роль значимого культурного маркера, выходящего за рамки случайной детали. Появление имени итальянского романиста включается в сложную систему литературных референций, характеризующих героя. Прежде всего, Мандзони, наряду с Гиббоном и Руссо, представляет актуальный и современный для 1820-х гг. литературный контекст: его роман «Обрученные» был опубликован в 1827 г., то есть практически синхронно с действием, описываемым в VIII главе романа Пушкина. Таким образом, Онегин предстает читателем, следящим за новейшими европейскими литературными тенденциями. Роман Мандзони, с исторической основой, проблемой нравственного выбора и критикой социальной несправедливости, резонирует с целым комплексом «онегинских» тем. Хотя прямо Пушкин эту параллель не развивает, сам факт чтения Онегиным книги Мандзони может быть понят как указание на определенную интеллектуальную и этическую глубину героя.

Итак, хотя прямое влияние романа на Достоевского установить сложно, творчество Мандзони несомненно входило в интеллектуальный контекст эпохи и составляло тот культурный фон, на котором формировался замысел «Бедных людей». Прямых документальных свидетельств (например, дневниковых записей современников, писем самого Достоевского), где бы упоминался роман Алессандро Мандзони «Обрученные», на первый взгляд, не известно. Нет ссылок на данного писателя и в «Указателе имен, периодических изданий и анонимных произведений» в академическом полном собрании сочинений Достоевского, а также в фундаментальном описании его библиотеки (см.: [Достоевский; т. 30, кн. 2: 262], [Библиотека: 328]). Однако в 1-м томе «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» [Летопись; т. 1: 57] приводится аннотация письма Ивана Шидловского к Михаилу Михайловичу Достоевскому от 17 января 1839 г., в котором, среди прочего, при анализе драмы Гете «Эрнани» называется и имя Мандзони (Манцони):

«То ли у Шекспира или у отломковъ его Шиллера, Гёте, Манцони! У нихъ каждое явленіе есть слѣдствіе духа, характера, необходимая строка въ книгу судебъ человѣческихъ»².

Вне зависимости от наличия/отсутствия документальных свидетельств по поводу знакомства Достоевского с текстом романа Манцони, существует также признанная гипотеза, выдвинутая и аргументированная Стефано Мария Капилупи [Капилупи, 2019] (ср.: [Капилупи, Обухович])³. Она не подразумевает прямого влияния или творческой общности. Напротив, сравнительный анализ выявляет принципиально различные, даже противоположные художественные системы двух писателей. Это наглядно видно при сопоставлении антропологических моделей в их романах: центральное различие заключается в понимании судьбы «маленького человека» и механизмах разрешения его трагедии. В противоположность роману Достоевского, у Манцони судьба «униженных и оскорбленных», Ренцо и Лючии, вписана не в контекст их личностного роста, а в широкую картину истории и Божьего Промысла. Конфликты и страдания героев разрешаются не благодаря их внутреннему преображению, а через вмешательство внешних, часто провиденциальных сил — будь то добродетель кардинала Федерико Борромео или эпидемия чумы, выступающая как орудие Высшего суда и очищения. Антропологический акцент смещен

² ОР РГБ. Ф. 93.П.4.27. Л. 2 об. [Электронный ресурс]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_011225921?page=1&rotate=0&theme=white (05.06.2025). См. также: Эпистолярное наследие М. М. Достоевского [Электронный ресурс]. URL: <https://philolog.ru/mdost/texts/letters/letters.htm> (05.06.2025). При этом инициал в Указателе имен «Летописи...»: М. Манцони — следует считать явной ошибкой [Летопись; т. 1: 517].

³ В других своих работах С. М. Капилупи проводит сопоставительный анализ художественного наследия А. Манцони и Ф. М. Достоевского: описывает религиозные идеалы обоих писателей как проявления общего христианского гуманизма; анализирует формирование «экзистенциального реализма» как философской категории, соединяющей Манцони, Достоевского и Бердяева; раскрывает возможную перекличку между религиозным реализмом Манцони и духовной проблематикой у Достоевского; рассматривает различие между католическим (у Манцони) и православным (у Достоевского) пониманием Провидения; анализирует метафизику судьбы и спасения в их поэтике; сопоставляет формы и жанровые структуры романа в итальянской и русской традициях (см.: [Капилупи, 2014, 2017a, 2017b, 2017c, 2021], [Капилупи, Силантьева], [Capilupi]).

с внутреннего мира личности на ее место в Божественном и социальном порядке. Если у Достоевского — это антроподицея (оправдание человека через его внутреннюю борьбу и страдание), то у Мандзони — теодицея (оправдание Бога и Его Промысла, в рамках которого разворачиваются человеческие судьбы). Таким образом, при внешней схожести темы «маленького человека», эти произведения демонстрируют два различных пути развития европейского романа, восходящих к общей христианской парадигме, но принципиально расходящихся в понимании человека: путь к «реализму в высшей степени» — у Достоевского и путь провиденциального произведения — у Мандзони.

Рассмотрим это немного подробнее. В мире Мандзони герои, в отличие от романа Достоевского, статичны в своей нравственной основе. Добродетельность Ренцо и кротость Лючии не являются результатом развития — это изначальные, данные качества, которые лишь подвергаются испытаниям. Разрешение трагических обстоятельств происходит не благодаря внутренней эволюции героев, а через внешнее вмешательство высших сил — Божьего Промысла. Кульминационным эпизодом, демонстрирующим эту модель, является обращение Грозного («Безымянного»). Его нравственный переворот совершается не под влиянием доводов рассудка, а благодаря благодати, нисходящей через встречу с невинностью Лючии. Ее слова: «Бог прощает все грехи за один милосердный поступок»⁴ становятся тем семенем, которое падает в подготовленную почву его измученной души. Судьба героев управляется Провидением, а их история приобретает эпическое измерение. Как верно замечают герои в финале,

«невзгоды, конечно, часто являются потому, что для них дан повод, <...> самого осторожного и невинного поведения иногда бывает недостаточно, чтобы избежать их, а вот когда они обрушиваются по вашей ли вине, или без всякой вины, надежда на Бога смягчает их и делает полезными для лучшей жизни»⁵.

⁴ Мандзони А. Обрученные: повесть из истории Милана XVII века / [вступ. ст. и коммент. Э. Егермана; пер. с ит. под ред. Н. Георгиевской, А. Эфроса]. М.: Гослитиздат, 1955. С. 299.

⁵ Там же. С. 538.

«Обрученные» — это роман-теодицея, где зло исторически и онтологически преодолевается Божественной волей. Оба романа включают в себя танатологический дискурс (мотивы смерти, страдания, чумы). У Достоевского смерть второстепенных персонажей (студента Покровского, горемыки Горшкова) служит для усиления трагизма и безысходности положения «бедных людей», обнажая социальную несправедливость. Однако даже в протесте Девушкина против «вороны-судьбы» нет богоборческого пафоса; его бунт остается в рамках христианского мировосприятия. У Мандзони чума и смерть изображены как силы эпического, почти апокалиптического масштаба — «гигантская метла», которая выметает без разбора и бедняков, и богачей, и честных людей, и злодеев. Это не только исторический фон, но и метафизическое испытание, Суд, перед лицом которого ничтожны земные амбиции и злодеяния. Социальная критика у Мандзони тоже присутствует (медлительность властей, жестокость сильных мира сего), но она всегда подчинена более высокой, провиденциальной логике повествования.

Оба писателя демонстрируют также исключительную требовательность к художественной форме. Достоевский, как уже указывалось выше, трижды кардинально перерабатывал рукопись «Бедных людей», стремясь к идеальному выражению своей идеи — это был не только поиск стиля, но и отражение изменения мироощущения писателя, движение от истории частной любви к масштабной картине социального зла. Мандзони проделал титаническую работу над языком романа — знаменитое «стирание одежды в Арно». Он сознательно очищал текст от ломбардизмов, латинизмов и галлицизмов, стремясь создать общенациональный итальянский язык на основе классического тосканского диалекта. Для Мандзони, как и для Достоевского, правда в искусстве была категорией не столько эмпирической, сколько высшей. Он считал, что задача поэта состоит в поиске в истории интересных поучительных драматических событий, которые следует объединять, основываясь на высшей правде, а не на рабском следовании канонам или факту. Он был убежден, что правдоподобие зиждется на реальных исторических фактах.

Подводя итоги, можно утверждать, что творчество итальянского писателя, несомненно входя в интеллектуальный контекст эпохи, могло быть воспринято Достоевским как напрямую (что доказывается упоминанием имени Мандзони в переписке старшего брата и единомышленника), так и опосредованно — через чтение Пушкина, критику и рецензии Белинского, Дельвига и др., литературные дискуссии в кругу петрашевцев.

Однако, обращаясь к типологически сходному персонажу — «бедному человеку», Достоевский и Мандзони предлагают различные художественные и философские модели его осмысления.

Принципиальное различие заключается в доминанте художественного антропологизма. Антропоцентричная модель Достоевского фокусируется на «восстановлении» человека, на его духовной эволюции через страдание и самопознание. Спасение у Достоевского — результат мучительной внутренней работы личности, что станет основой его «реализма в высшем смысле». Геоцентричная модель Мандзони (роман-теодицея) помещает человека в широкий контекст истории и Божьего Промысла, где спасение приходит извне, а стойкость в вере и добродетели позволяет перенести исторические катаклизмы.

Оба подхода, восходя к общей христианской парадигме, представляют собой два фундаментальных и плодотворных пути развития европейского романа, отвечая на вызовы своего времени — поиск национальной идентичности и новых оснований для человеческого существования в мире социальной несправедливости и исторических перемен. Общее, объединяющее писателей, — идея национального самоопределения (Россия времен «Великих реформ» и Италия эпохи Рисорджименто). Оба видят в судьбе униженных не просто социальную проблему, но экзистенциальную и метафизическую категорию, осмысляемую в рамках христианского мировоззрения.

Национальное своеобразие проявляется в ответе на вызовы эпохи. Русский путь, представленный Достоевским, — это идея «восстановления» человека в его онтологической определенности. Итальянский путь, воплощенный Мандзони, — это эпическое осмысление национальной судьбы, где через частную историю проступает коллективный опыт, а поиск правды неотделим от поиска общенационального языка и культурного фундамента.

Сравнительный анализ не только выявляет общую христианскую основу двух великих романов, но и подчеркивает их типологическое несходство: если Достоевский наследует путь к Богу через внутреннее преобразование личности, то Мандзони показывает путь Бога к человеку и народу через историю и Провидение. Эти два подхода представляют собой фундаментальные и плодотворные варианты развития романа в XIX в.

Список литературы

1. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 2: Статьи и рецензии. Основания русской грамматики. 1836–1838 / подгот. текста Л. Р. Ланского; коммент. В. С. Нечаевой; ред. В. А. Десницкий. 767 с.
2. Белов С. В. Федор Михайлович Достоевский: книга для учителя / под ред. Э. Ф. Володина. М.: Просвещение, 1990. 207 с. EDN: WKLFQP
3. Библиотека Ф. М. Достоевского: опыт реконструкции, научное описание. СПб.: Наука, 2005. 338 с. EDN: QUDADR
4. Бодрова А. С. Цензурная судьба романа А. Мандзони «Обрученные» в контексте социальной истории переводной литературы // Русская литература. 2025. № 2. С. 126–139 [Электронный ресурс]. URL: <https://pushkinskijdom.ru/wp-content/uploads/2025/07/Bodrova.pdf> (05.06.2025). DOI: 10.31860/0131-6095-2025-2-126-139. EDN: XGMAEI
5. Горохова Р. М. МАНДЗОНИ, Манзони, Манцони (Manzoni) Алессандро // Пушкин. Исследования и материалы: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). СПб.: Наука, 2004. Т. 18–19: Пушкин и мировая литература. Материалы к «Пушкинской энциклопедии» / отв. ред. В. Д. Рак [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20120305170312/http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=356> (05.06.2025).
6. Дмитриева Н. Л. Пушкин и Алессандро Мандзони: к вопросу о теории романтической трагедии // Художественный перевод и сравнительное изучение культур (памяти Ю. Д. Левина): сб. ст. / отв. ред. В. Е. Багно, Н. Д. Кочеткова. СПб.: Наука, 2010. С. 287–293 [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=11adsqf5yYQ%3d&tabid=10183> (05.06.2025). EDN: TDTWON
7. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
8. Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 5–20 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2511> (05.06.2025). EDN: RUYKSF
9. Захаров В. Н. Что открыл Достоевский в «Бедных людях»? // Достоевский и современность: тезисы выступлений на «Старорусских чтениях». Новгород, 1989. С. 37–41.

10. Капилупи С. М. Ф. М. Достоевский и А. Мандзони в духовном горизонте доконстантиновского «идеала» // Россия — Италия: культурные и религиозные связи в XVIII–XX веках: сб. / под ред. Е. С. Токаревой, М. Г. Талалая, А. Милано. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Алетейя, 2014. С. 150–159.
11. Капилупи С. М. Завершенность человеческой судьбы как тема, объединяющая противоположные поэтики А. Мандзони и Ф. М. Достоевского // Homo Loquens: язык и культура: сб. ст. / под ред. О. Г. Оленчука, С. М. Капилупи. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. Т. 2. С. 49–61. (а)
12. Капилупи С. М. Мотив Божественного Провидения в романах Мандзони и Достоевского: «Братья Карамазовы» как Теодицея против Провидения? // Русский логос: горизонты осмысления: мат-лы Междунар. философ. конф. (25–28 сентября 2017 г.): в 2 т. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. Т. 1. С. 142–154. (b)
13. Капилупи С. М. Рецепция и осмысление творчества А. Мандзони в России и возможные пути его влияния на творчество Ф. М. Достоевского // Ricerche Slavistiche [=Исследования по славистике]. Roma: Università La Sapienza, 2017. Vol. 15. P. 70–89. (c)
14. Капилупи С. М. Провидение и катастрофа в европейском романе: Мандзони и Достоевский. СПб.: Алетейя, 2019. 264 с.
15. Капилупи С. М. Дантовская вера в высшую справедливость и парадоксы искупления у Достоевского: о неслучайном пересечении двух великих юбилеев // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. Филологические науки. 2021. Т. 2. Вып 1. С. 38–48 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48156833_50373055.PDF (05.06.2025). EDN: EZQDOE
16. Капилупи С. М., Обухович О. Развитие романа в России и Италии в XIX в.: на материале творчества А. Мандзони, А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского // Homo Loquens: язык и культура. Диалог культур в условиях открытого мира: сб. науч. тр. по мат-лам Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 18 апреля 2020 г.) / сост. и ред. Н. А. Трофимова, С. В. Киселева, И. Б. Руберт, А. А. Сеницын. СПб.: РХГА, 2020. Вып. 5. С. 120–137 [Электронный ресурс]. URL: <https://rhga.ru/upload/iblock/1c8/35aeizvin8xh12d3fbwbvtepd9j99ayj.pdf> (05.06.2025). EDN: AVEUTU
17. Капилупи С. М., Силантьева М. В. Экзистенциальный реализм в литературе, философии и культуре XIX — начала XX в.: рецепция традиции (А. Мандзони, Ф. М. Достоевский и Н. А. Бердяев) // Ricerche Slavistiche [=Исследования по славистике]. Roma: Università La Sapienza, 2015. Vol. 13 (59). P. 129–152. EDN: VLXEOV
18. Крымская С. М. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Обручённые» А. Мандзони // Дни науки студентов Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых: сб. мат-лов науч.-практ. конф. Владимир: ВлГУ, 2019. С. 2811–2816. EDN: IJXJHV

19. Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: в 3 т. СПб.: Академический проект, 1993–1999.
20. Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-PRESS, 1947. 564 с.
21. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. Т. 6: Евгений Онегин / ред. Б. В. Томашевский. 700 с.
22. Щенников Г. К. «Бедные люди» // Достоевский: сочинения, письма, документы: словарь-справочник / сост., науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Пушкин. Дом, 2008. С. 13–16.
23. Capilupi S. M. Il tragico e la speranza. Da Manzoni a Dostoevskij [=Трагическое и надежда. От Мандзони к Достоевскому]. Roma: Lithos, 2020. 290 p.

References

1. Belinskiy V. G. *Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh* [The Complete Works: in 13 Vols]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1953, vol. 2: Articles and Reviews. The Foundations of Russian Grammar. 1836–1838. 767 p. (In Russ.)
2. Belov S. V. *Fyodor Mikhailovich Dostoevskiy: kniga dlya uchitelya* [Fyodor Mikhailovich Dostoevsky: a Book for a Teacher]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1990. 207 p. EDN: WKLFQP (In Russ.)
3. *Biblioteka F. M. Dostoevskogo: opyt rekonstruktsii, nauchnoe opisanie* [F. M. Dostoevsky's Library: Experience of Reconstruction, Scientific Description]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005. 338 p. EDN: QUDADR (In Russ.)
4. Bodrova A. S. Censoring “The Betrothed” by A. Manzoni, in the Context of the Social History of Literary Works in Translation. In: *Russkaya literatura*, 2025, no. 2, pp. 126–139. Available at: <https://pushkinskijdom.ru/wp-content/uploads/2025/07/Bodrova.pdf> (accessed on June 5, 2025). DOI: 10.31860/0131-6095-2025-2-126-139. EDN: XGMAEI (In Russ.)
5. Gorokhova R. M. MANDZONI, Manzoni, Mantsoni Alessandro. In: *Pushkin. Issledovaniya i materialy: sbornik nauchnykh trudov* [Pushkin. Researches and Materials: Collection of Scientific Works]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2004, vol. 18–19: Pushkin and World Literature. Materials for the Pushkin Encyclopedia. Available at: <https://web.archive.org/web/20120305170312/http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=356> (accessed on June 5, 2025). (In Russ.)
6. Dmitrieva N. L. Pushkin and Alessandro Manzoni: on the Theory of Romantic Tragedy. In: *Khudozhestvennyy perevod i sravnitel'noe izuchenie kul'tur (pamyati Yu. D. Levina): sbornik statey* [Literary Translation and Comparative Study of Cultures (in Memory of Yu. D. Levin): Collection of Articles]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2010, pp. 287–293. Available at: <http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=11adsqf5yYQ%3d&tabid=10183> (accessed on June 5, 2025). EDN: TDTWOH (In Russ.)
7. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)

8. Zakharov V. N. Christian Realism in Russian Literature (the Statement of Problem). In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2001, issue 6, pp. 5–20. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2511> (accessed on June 5, 2025). EDN: RUYKSF (In Russ.)
9. Zakharov V. N. What Did Dostoevsky Discover in "Poor People"? In: *Dostoevskiy i sovremennost': tezisy vystupleniy na "Starorusskikh chteniyakh" [Dostoevsky and Modernity: Speech Thesis of the Studies in Staraya Russa]*. Novgorod, 1989, pp. 37–41. (In Russ.)
10. Capilupi S. M. F. M. Dostoevsky and A. Manzoni in the Spiritual Horizon of the Pre-Constantinian "Ideal". In: *Rossiya — Italiya: kul'turnye i religioznye svyazy v XVIII–XX vekakh: sbornik [Russia — Italy: Cultural and Religious Connections in the 18th — 20th Centuries: Collection]*. 2nd ed., corrected and supplemented. St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2014, pp. 150–159. (In Russ.)
11. Capilupi S. M. The Finality of Human Destiny as a Theme Uniting the Opposing Poetics of A. Manzoni and F. M. Dostoevsky. In: *Homo Loquens: yazyk i kul'tura: sbornik statey [Homo Loquens: Language and Culture: Collection of Articles]*. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2017, vol. 2, pp. 49–61. (In Russ.) (a)
12. Capilupi S. M. The Motif of Divine Providence in the Novels of Manzoni and F. M. Dostoevsky: "The Brothers Karamazov" as Theodicy vs. Providence? In: *Russkiy Logos: gorizonty osmysleniya: materialy Mezhdunarodnoy filososfskoy konferentsii (25–28 sentyabrya 2017 g) [Russian Logos: Horizons of Interpretation: Proceedings of the International Philosophical Conference (September 25–28, 2017)]*. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2017, vol. 1, pp. 142–154. (In Russ.) (b)
13. Capilupi S. M. The Reception and Interpretation of A. Manzoni's Works in Russia and the Possible Paths of Its Influence on F. M. Dostoevsky's Works. In: *Ricerche Slavistiche [Researches in Slavic Studies]*. Rome, University of La Sapienza Publ., 2017, vol. 15, pp. 70–89. (In Russ.) (c)
14. Capilupi S. M. *Providenie i katastrofa v evropeyskom romane: Mandzoni i Dostoevskiy [Providence and Catastrophe in the European Novel: Manzoni and Dostoevsky]*. St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2019. 264 p. (In Russ.)
15. Capilupi S. M. Dantovian Belief in Higher Justice and Dostoevsky's Paradoxes of Redemption: the Coincidence of Two Great Memorable Dates That Cannot Be Accidental. In: *Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii. Filologicheskie nauki [Review of Russian Christian Academy for Humanities. Philological Sciences]*, 2021, vol. 2, issue 1, pp. 38–48. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48156833_50373055. PDF (accessed on June 5, 2025). EDN: EZQDOE (In Russ.)
16. Capilupi S. M., Obukhovich O. The Evolution of the Novel in Russia and Italy in the 19th Century: a Case Study of A. Manzoni's, A. S. Pushkin's, and F. M. Dostoevsky's Works. In: *Homo Loquens: yazyk i kul'tura. Dialog kul'tur v usloviyakh otkrytogo mira: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Sankt-Peterburg, 18 aprelya 2020 g) [Homo*

- Loquens: Language and Culture. Dialogue of Cultures in an Open World: Collection of Scientific Papers from the International Conference (St. Petersburg, April 18, 2020)*. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2020, issue 5, pp. 120–137. Available at: <https://rhga.ru/upload/iblock/1c8/35aeizvin8xh12d3fbwbvtped9j99ayj.pdf> (accessed on June 5, 2025). EDN: AVEUIU (In Russ.)
17. Capilupi S. M., Silant'eva M. V. Existential Realism in Literature, Philosophy, and Culture of the 19th — Early 20th Centuries: the Reception of a Tradition (A. Manzoni, F. M. Dostoevsky, and N. A. Berdyaev). In: *Ricerche Slavistiche [Researches in Slavic Studies]*. Rome, University of La Sapienza Publ., 2015, vol. 13, no. 59, pp. 129–152. EDN: VLXEOV (In Russ.)
 18. Krymskaya S. M. “Eugene Onegin” by A. S. Pushkin and “The Betrothed” by A. Manzoni. In: *Dni nauki studentov Vladimirskego gosudarstvennogo universiteta imeni Aleksandra Grigor'evicha i Nikolaya Grigor'evicha Stoletovykh: sbornik materialov nauchno-prakticheskoy konferentsiy [Days of Science for Students of Vladimir State University Named After Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs: Collection of Materials of the Scientific and Practical Conferences]*. Vladimir, Vladimir State University Named After Alexander and Nikolay Stoletovs Publ., 2019, pp. 2811–2816. EDN: IJXJHV (In Russ.)
 19. *Letopis' zhizni i tvorchestva F. M. Dostoevskogo: v 3 tomakh [Chronicle of the Life and Works of F. M. Dostoevsky: in 3 Vols]*. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 1993–1999. (In Russ.)
 20. Mochulskiy K. V. *Dostoevskiy. Zhizn' i tvorchestvo [Dostoevsky. Life and Works]*. Paris, YMCA-PRESS Publ., 1947. 564 p. (In Russ.)
 21. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 16 tomakh [The Complete Works: in 16 Vols]*. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1937, vol. 6: Eugene Onegin. 700 p. (In Russ.)
 22. Shchennikov G. K. “Poor People”. In: *Dostoevskiy: sochineniya, pis'ma, dokumenty: slovar'-spravochnik [Dostoevsky: Writings, Letters, Documents: a Reference Dictionary]*. St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2008, pp. 13–16. (In Russ.)
 23. Capilupi S. M. *Il tragico e la speranza. Da Manzoni a Dostoevskij [The Tragic and Hope. From Manzoni to Dostoevsky]*. Rome, Lithos Publ., 2020. 290 p. (In Italian)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Дергачева Ирина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры «Лингводидактика и межкультурная коммуникация», Московский государственный психолого-педагогический университет (ул. Сретенка, 29, г. Москва, Российская Федерация, 127051); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4878-2027>; e-mail: krugh@yandex.ru.

Irina V. Dergacheva, PhD (Philology), Associate Professor, Professor of the Department of "Linguodidactics and Intercultural Communication", Moscow State University of Psychology and Education (ul. Sretenka 29, Moscow, 127051, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4878-2027>; e-mail: krugh@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 19.07.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 10.09.2025

Принята к публикации / Accepted 15.09.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15903

EDN: CAIBXH



«Обе вместе»: сцены встречи двух соперниц в композиции романов Ф. М. Достоевского

Х. А. Чуманкина

*Московский городской педагогический университет
(г. Москва, Российская Федерация)*

e-mail: tinagercel@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрен повторяющийся сюжет встречи героинь в романах Ф. М. Достоевского — «сцены двух соперниц». Анализ трех схожих эпизодов из разных произведений («Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Братья Карамазовы») позволил сделать вывод, что все они связаны с дуэльным контекстом, а сам сюжет «женской словесной дуэли» неслучайно и последовательно реализуется автором, так как, во-первых, он заключает в себе кульминацию любовного конфликта и противостояния героинь; во-вторых, развивает идейную линию произведения. Среди основных особенностей подобных сцен были выявлены: специфичная дуэльная лексика, особые роли персонажей («дуэлянты» и «секунданты»), дуэльная обстановка, «ложный финал». Эти эпизоды соотносятся с карнавальностью художественного мира Достоевского, о которой писал М. М. Бахтин, так как «сценам двух соперниц» свойственны некоторые черты карнавального мироощущения, как то: театрализованный характер «словесной дуэли», стирание социальных иерархических барьеров между участниками столкновения, особая эксцентричность в поведении героинь, фамильяризация отношений к предмету мысли и к самой истине, явление карнавального смеха, черты «сократического диалога», легкость и быстрота перемен в судьбах и жизненных положениях людей. Таким образом, женская дуэль у Ф. М. Достоевского — это не просто разговор, а именно карнавализованный диалог. Диалог этот не только внешний, ориентированный на сюжетный конфликт, но и внутренний: дилемма каждого отдельного спора — борьба разных видов любви, воплощенных в дихотомических женских образах.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, М. М. Бахтин, женская дуэль, сцена двух соперниц, карнавальность, женские образы, сюжет, диалог, дихотомия, дилемма

Благодарность: Автор благодарит за научное руководство работой к. филол. н., доцента департамента филологии института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета Т. С. Карпачеву.

Для цитирования: Чуманкина Х. А. «Обе вместе»: сцены встречи двух соперниц в композиции романов Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 208–221. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15903. EDN: CAIBXH

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15903

EDN: CAIBXH

“Both Together”: Scenes of the Encounter of Two Rivals in F. M. Dostoevsky’s Novels

Khristina A. Chumankina

*Moscow City University
(Moscow, Russian Federation)*

e-mail: tinagercel@gmail.com

Abstract. The article examines the recurring plot of the heroines’ meeting in the novels of F. M. Dostoevsky — the “scenes of two rivals.” An analysis of three similar episodes from different works (“Humiliated and Insulted,” “The Idiot,” “The Brothers Karamazov”) allowed us to conclude that they are all associated with a dueling context, and the plot of the “women’s verbal duel” is not accidentally, but consistently implemented by the author, since, first of all, it includes the culmination of the love conflict and the confrontation of the heroines; secondly, it develops the conceptual line of the work. The key features of such scenes were identified as: specific dueling vocabulary, special roles of characters (“duelists” and “seconds”), dueling atmosphere, “false ending.” These episodes are related to the carnival nature of Dostoevsky’s artistic world, analyzed by M. M. Bakhtin, because the “scenes of two rivals” are characterized by certain features of the carnival worldview, such as the theatrical nature of the “verbal duel,” the erasure of social hierarchical barriers between the participants in the conflict, a special eccentricity in the behavior of the heroines, familiarity of attitudes to the subject of thought and to the truth itself, the phenomenon of carnival laughter, features of “Socratic dialogue,” ease and rapidity of changes in the people’s destinies and life situations. Thus, Dostoevsky’s women’s duel is not just a conversation, but a carnivalized dialogue. This dialogue is not only external, focused on the plot conflict, but also internal: the dilemma of each individual dispute is the struggle of different types of love embodied in dichotomous female images.

Keywords: F. M. Dostoevsky, M. M. Bakhtin, women’s duel, scene of two rivals, carnivality, female images, plot, dialogue, dichotomy, dilemma

Acknowledgements: The author thanks T. S. Karpacheva, PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Philology of the Institute of Humanities of the Moscow City Pedagogical University, for her scientific supervision of the work.

For citation: Chumankina Kh. A. “Both Together”: Scenes of the Encounter of Two Rivals in F. M. Dostoevsky’s Novels. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [*The Problems of Historical Poetics*], 2025, vol. 23, no. 4, pp. 208–221. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15903. EDN: CAIBXH (In Russ.)



Многие исследователи творчества Ф. М. Достоевского обращались к осмыслению женских образов в его произведениях (см. об этом: [Барышникова], [Двойнишникова], [Касаткина: 186–189, 211–226 и др.], [Макаричева]). В нашей статье рассматриваются не столько образы и их положение в системе гендерного дискурса Ф. М. Достоевского, сколько сам сюжет встречи героинь в романах писателя. Обозначить его можно как «сцену двух соперниц». Так сам писатель в черновиках к «Идиоту» называет эпизод встречи Настасьи Филипповны и Аглаи [Достоевский; т. 9: 260]. В «Братьях Карамазовых» глава, в которой описывается разговор Катерины и Грушеньки, носит название «Обе вместе» (ч. 1, кн. 3, гл. X) [Достоевский; т. 14: 132], подчеркивающее дуальный характер происходящей встречи.

Эпизоды, посвященные разговору двух соперниц, появляются в нескольких произведениях Ф. М. Достоевского: «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Братья Карамазовы». Эти сцены сопряжены с мотивом дуэли. «Классический» (мужской) дуэльный сюжет или упоминание о нем встречаются в тех или иных формах в нескольких произведениях писателя, а именно в «Двойнике», «Записках из подполья», «Униженных и оскорбленных», «Бесах», «Подростке», «Братьях Карамазовых» (см. об этом: [Рейфман: 182–247]). С одной стороны, открытые столкновения такого характера часто выполняют в произведениях сюжетообразующую функцию; с другой, дуэль в литературном произведении нередко воспринимается как способ определения истины в условиях прямого противостояния одного героя-идеолога другому. Подобным образом осмысляется Достоевским и «женский» вариант дуэли, «сцена двух соперниц». По мнению исследователей А. А. Косоруковой и У. В. Зубковой, женские образы в произведениях писателя при всей своей гендерной зеркальности (соотнесенности с мужскими образами) подчас являются более яркими выразителями тех или иных идей (см.: [Косорукова, Зубкова]). Поэтому можно сказать, что сцены «женской дуэли» в романах писателя становятся важными этапами развития идейной линии произведения.

Феномен женских дуэлей известен давно, но он редко попадал в поле зрения исследователей. Тем не менее поединки женщин упоминаются в ряде книг, авторы которых рассматривают социально-культурное явление европейской дуэли (см. об этом: [Востриков], [Рейфман], [Шелковникова], [Kiernan]). Так, в работе В. Г. Кирнана перечислены некоторые известные женские дуэльные сражения. Например, во Франции в XVIII в. две знатные дамы — графиня де Полиньяк и маркиза де Несль — сражались на пистолетах, чтобы решить, кто из них станет фавориткой герцога де Ришелье [Kiernan: 133].

В России также были известны случаи участия женщин в дуэлях. И. Рейфман в монографическом исследовании, посвященном явлению дуэли в русской культуре и литературе, упоминает случай, когда Надежда Дурова, «кавалерист-девица», участвовавшая в Отечественной войне 1812 г., хотела вызвать на дуэль польского офицера, неуважительно говорившего о русских людях [Рейфман: 22]. Автор также приводит в пример историю, связанную с именами Мариэтты Шагинян и Владислава Ходасевича: Шагинян в 1907 г. предложила поэту принять ее вызов на дуэль, обвинив его в жестоком обращении с первой женой [Рейфман: 22].

Художники и писатели не раз обращались к теме женских дуэлей в своих произведениях. Например, считается, что произошедшее в 1552 г. сражение двух неаполитанских дам, Изабеллы де Карацци и Диамбры де Потинеллы, причиной которого стала любовь к одному мужчине, легло в основу картины «Женская дуэль» испанского художника Хосе де Риберы [Коин: 165–168]. Историю жизни известной дуэлянтки мадемуазель де Мопен отразил в одноименном романе писатель Теофиль Готье¹. Женские дуэли — явление неординарное и необычное. Каждый случай женского дуэльного столкновения становился сенсацией.

В творчестве Ф. М. Достоевского «сцена двух соперниц» — повторяющийся элемент. Несомненно, «женская дуэль» в романах писателя — метафора: несмотря на все по-настоящему дуэльные черты разворачивающихся сцен, о которых речь пойдет дальше, мы можем говорить только о словесной схватке

¹ Готье Т. Мадемуазель де Мопен. М.: ТЕРРА, 1997. 352 с.

соперниц, а не о реальном поединке. Что характерно, подобные эпизоды в произведениях Ф. М. Достоевского представляют собой кульминацию в развитии любовного конфликта. Первым таким эпизодом является встреча Наташи и Кати в «Униженных и оскорбленных» (ч. 4, гл. VI) [Достоевский; т. 3: 396–407]. Сцене присущи некоторые особенности, которые позволяют охарактеризовать ее как «женскую дуэль». Так, Алеша и Иван Петрович становятся на время «секундантами» героинь. Можно обратить внимание и на часто подчеркиваемое автором расстояние между героинями:

«...я так, против вас сяду...», «...она села почти прямо против Наташи...» [Достоевский; т. 3: 397].

Присутствуют и характерные лексемы («разбитая», «рана» [Достоевский; т. 3: 400, 401]). Особый интерес представляет финальная часть эпизода, в которой Наташа кажется оставленной, поверженной. Однако о дальнейшей судьбе Кати и Алеши в произведении ничего не сообщается, поэтому вопрос о счастливом будущем для них остается открытым. Стоит обратить внимание и на то, что Наташа в конце романа возвращается в родной дом, который для нее становится спасительным приютом: она обретает пусть и выстраданный, но покой. Такой финал можно назвать «ложным» с той точки зрения, что он как бы обманывает ожидания читателя, а победенный и победитель меняются местами². В «Униженных и оскорбленных», в отличие от «Идиота», мы видим не яростную борьбу двух страстных женщин, а добровольное отступление Наташи, принявшей как факт новую слабость Алеши к юной прелестной девушке. Характерно в этом эпизоде проявляет себя Катя — она манипулирует Наташей, задавая ей вопросы, форма которых как бы подталкивает последнюю отвечать так, как это нужно первой:

«— Он вам о нашей свадьбе, в июне месяце, говорил? — спросила Наташа. — Говорил. Он говорил, что и вы согласны. Ведь это всё только так, чтоб его утешить, не правда ли?» [Достоевский; т. 3: 398].

² Подобным образом Е. Н. Строганова характеризует финал «сцены двух соперниц» в «Идиоте» [Строганова: 179], о чем будет подробнее сказано далее.

Дальше Катя, хотя и в форме вопроса, но предлагает Наташе вернуться домой, к родителям, то есть оставить Алеше:

«Милая Наташечка, ведь вы пойдете теперь... в ваш дом?»
[Достоевский; т. 3: 398].

В этой сцене проявляется некоторое противостояние, но не внешнее, развертывающееся в сюжетном плане, а внутреннее, скрытое. Оно выражается в том, какие чувства испытывают обе героини к Алеше. Обнаруживают себя два вида любви: «земная» и «небесная». Разумно будет предположить, что именно образ Наташи воплощает любовь жертвенную, то есть глубоко религиозную, христианскую. Свои чувства к Алеше она описывает как привязанность матери к несмышленому, но бесконечно милому ребенку. По мнению П. Е. Фокина, с которым трудно не согласиться, материнское чувство у Достоевского — наивысшая степень любви, на которую только способна женщина: «Концепция материнства в ее итоговом облике в творчестве Достоевского представляет собой *нерукотворную чудотворную икону* — сплав любви, молитвы и действия» [Фокин: 156].

Наиболее характерной сценой, изображающей женскую дуэль, становится эпизод из романа «Идиот» (ч. 4, гл. VIII) [Достоевский; т. 8: 460–475], так как именно в этом произведении внешний конфликт героинь развивается в духе дуэльного столкновения. К теме «женской дуэли» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» обращается Е. Н. Строганова [Строганова: 174–181]. Она определяет характерные для этой сцены черты: дуэльную лексику («оружие», «сражаться»), маркирующую событие как битву, а также персонажей-секундантов (Льва Мышкина и Рогожина). Исследовательница обращает внимание на прием «ложного финала»: «Как ложный построен и финал дуэльной сцены в "Идиоте": Настасья Филипповна лишается чувств, но убита Аглая, "которая не перенесла даже и мгновения <...> колебания" князя» [Строганова: 179]. В общий ряд особенностей и черт, определяющих эту «сцену двух соперниц» как дуэльное сражение, хочется добавить (помимо элементов, указанных в работе Е. Н. Строгановой) «брошенную перчатку» — своеобразный вызов на дуэль, которым становятся

в романе «смешные» письма «этой женщины» к Аглае, а также «барьерное» расстояние, установившееся между героинями во время разговора и неспроста подчеркиваемое автором:

«Обе сели поодаль одна от другой: Аглая на диване в углу комнаты, Настасья Филипповна у окна» [Достоевский; т. 8: 468].

Все эти художественные детали говорят о том, что сюжет женской дуэли реализуется автором неслучайно, и важен он не только для фабулы романа. Данный эпизод можно назвать кульминационным в развитии любовной линии «Идиота»: Настасья Филипповна и Аглая «борются» за любовь Льва Мышкина, и первая «одерживает победу». Однако это не просто битва страстей, а самая настоящая дуэль, столкновение женщин, с образами которых связаны два вида любви. Что характерно, сами женщины в «Идиоте» выступают скорее объектами чувств князя, и именно любовь Льва Мышкина к Настасье Филипповне или Аглае можно охарактеризовать как христианскую и языческую соответственно. На это различие обращает внимание С. Л. Шараков: «Настасью Филипповну князь любит состраданием, а к Аглае у него любовь природная, любовь как страсть. <...> Только страсть князя не искажена грехом, как у Рогожина, это светлое, естественное чувство» [Шараков: 173]. Впрочем и сами героини, по мысли исследователя А. Е. Кунильского, соотносятся с двумя разными мирами — языческим и христианским: Аглая — одна из прекрасных харит, которые были у греков богинями грации, дружеских радостей и веселой праздничной жизни; Настасья Филипповна же становится «жертвой страстей — своих и чужих», но «в основе ее отношения к жизни лежат традиционные христианские ценности», потому ее образ преобразуется и приобретает черты христианского мученичества [Кунильский: 11, 13, 19].

В романе «Братья Карамазовы» сцена двух соперниц также играет важную роль. Это встреча Грушеньки и Катерины Ивановны, изображенная в главе «Обе вместе» (ч. 1, кн. 3, гл. X) [Достоевский; т. 14: 132–141]. Здесь, в отличие от «Униженных и оскорбленных» и «Идиота», нет двух секундантов, есть, скорее, один общий свидетель — Алеша Карамазов. Тем не менее эту сцену также можно отнести к варианту представления

женской дуэли в произведениях Достоевского, так как общие смыслы связывают этот эпизод с рассмотренными ранее. В этом романе открыто реализован «ложный финал»: читателю вплоть до конца главы представляется, что Грушенька отказалась от любви Дмитрия и «отступила», но на самом деле в известной сцене с поцелуем руки героиня еще более унизила Катерину Ивановну. Грушенька — женщина гордая, но она способна страдать и сострадать, способна по-христиански жертвовать собой, по-христиански любить. Об этом говорят различные детали в описании ее внешнего вида: Алеша удивляется ее «детски простодушному и радостному выражению лица, этому тихому, счастливому, как у младенца, сиянию глаз» [Достоевский; т. 14: 137]. Подобное сравнение с ребенком у Достоевского всегда неслучайно, так как детство для него — образец и мерило нравственности:

«Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станется тогда с нами самими? Помните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам "сократить времена и сроки". Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее»³.

Грушенька, несмотря на свою «греховность», имеет в своем образе черты детскости. Говорят о способности героини к жертвенности и события эпилога: Грушенька после суда остается с Дмитрием и даже собирается сопровождать его.

Таким образом, «сцена двух соперниц» у Ф. М. Достоевского — важный элемент развития не только любовного конфликта, но и идейной канвы произведения, регулярно встречающийся в разных романах. Подобные сцены ориентированы на дуэльный контекст. Об этом говорят следующие черты: специфичная дуэльная лексика, особые роли персонажей («дуэлянты» и «секунданты»), дуэльная обстановка (подчеркиваемое автором удаление и сближение персонажей, которое можно связать с барьерным расстоянием, присущим дуэли). Отдельно стоит упомянуть «ложный финал», который в произведениях

³ Дневник писателя. 1877. Июль — Август. Гл. 1, IV [Достоевский; т. 25: 193].

Достоевского сопутствует «женским дуэлям», хотя и не является обязательным атрибутом дуэльного столкновения.

Определяя место «сцены двух соперниц» в художественной системе писателя, необходимо обратиться к труду М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» [Бахтин]. Опираясь на выводы исследователя, можно сделать предположение о том, что сцена женской дуэли у Достоевского также является проявлением характерной черты поэтики — карнавализации.

Само явление дуэли может рассматриваться как разновидность обрядового или ритуального действия [Рейфман: 20–47], приобретающего черты карнавальности. Так, между участниками дуэли распределяются особые роли, предполагающие определенные алгоритмы действий и не связанные напрямую с внеобрядовым существованием человека. Театрализованный характер дуэльных столкновений (особенно в литературной традиции) очевиден, и в то же время эта театральность является неотъемлемой чертой карнавала.

«Женским дуэлям» Достоевского присуща особая карнавальная черта — отмена всякой дистанции между людьми, стирание социальных иерархических барьеров. Во всех трех проанализированных эпизодах сталкиваются женщины, открытое и прямое взаимодействие которых в обычных (внекарнавальных) условиях невозможно. Например, в «Униженных и оскорбленных»:

«До сих пор я не могла быть у Наташи, — говорила мне Катя, подымаясь на лестницу. — Меня так шпионили, что ужас. Madame Albert я уговаривала целых две недели, наконец-то согласилась» [Достоевский; т. 3: 397].

В связи с установлением «фамильярного контакта», между героинями изменяется и характер их взаимодействия: «Поведение, жест и слово человека освобождаются из-под власти всякого иерархического положения <...>, и потому становятся эксцентричными, неуместными с точки зрения логики обычной внекарнавальной жизни» [Бахтин: 139]. Эта черта свойственна и «сценам двух соперниц», поэтому они у Достоевского всегда сюжетно и эмоционально напряжены, а действия героинь видятся реципиенту неразумными, экзальтированными и даже нереалистичными. В качестве примера можно вспомнить

восторженные слова Катерины Ивановны, адресованные Грушеньке, ее сопернице, которую она видит впервые:

«Не стоит! Она-то этого не стоит! — воскликнула опять с тем же жаром Катерина Ивановна, — знайте, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы своевольное, но гордое-прегордое сердечко! Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны, знаете ли вы это?» [Достоевский; т. 14: 138].

Более того, в сценах двух соперниц заметна характерная для карнавального мироощущения «фамильяризация отношений к самому предмету мысли, как бы он ни был высок и важен, и к самой истине» [Бахтин: 149]. Такая фамильяризация объясняет особенную откровенность и интимность разговора Аглаи и Настасьи Филипповны о князе Мышкине и его любви, которая не предполагает нахождения рядом самого героя, да еще и в роли «секунданта» одной из героинь.

Стоит упомянуть такую неотъемлемую черту карнавала, как смех. Он присутствует во всех трех проанализированных сценах «женских дуэлей» и подчеркивает особый амбивалентный характер происходящего поединка. Например, в «Униженных и оскорбленных»:

«Она взглянула мне в лицо и как-то странно рассмеялась. Потом как будто задумалась, как будто всё еще припоминала. И долго сидела она так, с улыбкой на губах, вдумываясь в прошедшее» [Достоевский; т. 3: 401].

В «Идиоте»:

«Мой! Мой! — вскричала она. — Ушла гордая барышня? Ха-ха-ха! — смеялась она в истерике, — ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала! Да зачем? Для чего? Сумасшедшая! Сумасшедшая!.. Поди прочь, Рогожин, ха-ха-ха!» [Достоевский; т. 8: 475].

В «Братьях Карамазовых»:

«Грушенька, звонко смеясь, выбежала из дома» [Достоевский; т. 14: 140].

В соответствии с характером карнавально-площадного действия изменяется и само повествование: оно приобретает черты карнавальной диалогичности, в нем обнаруживают

себя следы серьезно-смехового «сократического диалога», ориентированного на поиск истины через столкновение отдельных героев и их идей. Так и в случае с женскими дуэлями у Достоевского: они представляют собой «словесные битвы», и их значение — не в борьбе непосредственно за любовь героя, а в попытках определить истину. Сталкиваются здесь не столько соперницы в любви, сколько человек с человеком, правда с правдой, так как «ядро диалога всегда внесюжетно, как бы ни был он сюжетно напряжен (например, диалог Аглаи с Настасьей Филипповной)» [Бахтин: 281].

Еще одной характерной чертой «сцены двух соперниц» у Достоевского можно назвать такую особенность карнавального мироощущения, как легкость и быстрота перемен в судьбах и жизненных положениях людей [Бахтин: 164, 196]. Исход «женской дуэли» в романах писателя почти всегда кардинально изменяет дальнейшую судьбу героинь, а особый прием «ложного финала» еще больше увеличивает ощущение неожиданности произошедшего изменения. Например, в «Идиоте» изначально Аглая идет к Настасье Филипповне как победительница. Тем не менее именно Аглая в итоге «терпит поражение».

Таким образом, «сцены двух соперниц» соотнесены с областью карнавального в поэтической системе Ф. М. Достоевского. Женская дуэль у писателя — это не просто разговор, а именно карнавализованный диалог с различными ритуальными и обрядовыми чертами, присущими карнавальному мироощущению. Диалог этот не только внешний, ориентированный на сюжетный конфликт, но и внутренний: дилемма каждого отдельного спора — борьба разных видов любви, воплощенных в дихотомических женских образах.

Список литературы

1. Барышникова О. О. Женский идеал в системе аксиологических представлений Ф. М. Достоевского: дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2013. 158 с. EDN: SUZSSZ
2. Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. 800 с.
3. Востриков А. В. Книга о русской дуэли. СПб.: Азбука-Аттикус, 2004. 352 с.
4. Двойнишникова Т. Ф. Женские образы Ф. М. Достоевского: итоги и перспективы изучения: на материале русского и англоязычного литературоведения 1970–2000-х гг.: дис. ... канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2006. 299 с. EDN: NOJMVZ
5. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
6. Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций. М.: Наследие, 1996. 336 с. EDN: ZIWRBB
7. Коин Б. Мост через вечность. Разоблачение шедевра. М.: Буксир, 2017. 240 с.
8. Косорукова А. А., Зубкова У. В. Типажи «кротких» и «гордых» женских образов Ф. М. Достоевского как исследование вопроса о добродетели // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Философия. 2021. Т. 25. № 1. С. 59–71 [Электронный ресурс]. URL: <https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/25912/19121> (18.07.2025). DOI: 10.22363/2313-2302-2021-25-1-59-71. EDN: XJINJC
9. Кунильский А. Е. Языческое и христианское в романе «Идиот» // Достоевский и мировая культура: альманах. СПб.: Серебряный век, 2006. № 21. С. 9–20.
10. Макаричева Н. А. Женские образы в творчестве Достоевского: типологические черты и «очертания» типов // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2011. № 4 (15). С. 86–89 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskie-obrazy-v-tvorchestve-dostoevskogo-tipologicheskie-cherty-i-ochertaniya-tipov/viewer> (18.07.2025). EDN: OZBDLZ
11. Рейфман И. Ритуализованная агрессия: дуэль в русской культуре и литературе. М.: Новое лит. обозрение, 2002. 336 с.
12. Строганова Е. Н. Классики и современницы: гендерные реалии в истории русской литературы XIX века. М.: Литфакт, 2019. 400 с. EDN: IKQKRA
13. Фокин П. Е. Достоевский. Перепрочтение. М.: РИПОЛ классик / Пальмира, 2018. 287 с.
14. Шараков С. Л. Духовный символизм Ф. М. Достоевского. М.: Проспект, 2024. 280 с. EDN: GILSBJ
15. Шелковникова Е. Д. Дуэли. Честь и любовь. СПб.: Атлант, 2008. 252 с. (Сер.: Оружейная академия.) EDN: QPLJLR

16. Kiernan V. G. *The duel in European history: Honour and the reign of aristocracy*. Oxford: Oxford university press, 1989. 348 p.

References

1. Baryshnikova O. O. *Zhenskiy ideal v sisteme aksiologicheskikh predstavleniy F. M. Dostoevskogo: dis. ... kand. filol. nauk* [*The Feminine Ideal in the System of Axiological Concepts of F. M. Dostoevsky. PhD. philol. sci. diss.*]. Orel, 2013. 158 p. EDN: SUZSSZ (In Russ.)
2. Bakhtin M. M. *Sobranie sochineniy: v 7 tomakh* [*The Collected Works: in 7 Vols*]. Moscow, Russkie slovari Publ., Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2002, vol. 6. 800 p. (In Russ.)
3. Vostrikov A. V. *Kniga o russkoy dueli* [*A Book About the Russian Duel*]. St. Petersburg, Azbuka-Attikus Publ., 2004. 352 p. (In Russ.)
4. Dvoynishnikova T. F. *Zhenskie obrazy F. M. Dostoevskogo: itogi i perspektivy izucheniya: na materiale russkogo i angloyazychnogo literaturovedeniya 1970–2000-kh gg.: dis. ... kand. filol. nauk* [*Female Images of F. M. Dostoevsky: Results and Prospects of Study: Based on Russian and English-Language Literary Criticism of the 1970s — 2000s. PhD. philol. sci. diss.*]. Ulan-Ude, 2006. 299 p. EDN: NOJMVZ (In Russ.)
5. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [*The Complete Works: in 30 Vols*]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
6. Kasatkina T. A. *Kharakterologiya Dostoevskogo. Tipologiya emotsional'no-tsennostnykh orientatsiy* [*Dostoevsky's Characterology. Typology of Emotional-Value Orientations*]. Moscow, Nasledie Publ., 1996. 336 p. EDN: ZIWRBB (In Russ.)
7. Koin B. *Most cherez vechnost'. Razoblachenie shedevra* [*Bridge Across Eternity: a Masterpiece Revealed*]. Moscow, Buksir Publ., 2017. 240 p. (In Russ.)
8. Kosorukova A. A., Zubkova U. V. The “Meek” and “Proud” Types of Female Images in the Works of F. M. Dostoevsky: A Study of the Question of Virtue. In: *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Ser.: Filosofiya* [RUDN Journal of Philosophy], 2021, vol. 25, no. 1, pp. 59–71. Available at: <https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/25912/19121> (accessed on July 18, 2025). DOI: 10.22363/2313-2302-2021-25-1-59-71. EDN: XJIHJC (In Russ.)
9. Kunil'skiy A. E. Pagan and Christian in the Novel “The Idiot.” In: *Dostoevskiy i mirovaya kul'tura: al'manakh* [*Dostoevsky and World Culture: Almanac*]. St. Petersburg, Serebryanyy vek Publ., 2006, no. 21, pp. 9–20. (In Russ.)
10. Makaricheva N. A. Images of Women in Dostoevsky's Works: Typological Features and “Lines” of Types. In: *Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Surgut State Pedagogical University Bulletin], 2011, no. 4 (15), pp. 86–89. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskie-obrazy-v-tvorchestve-dostoevskogo-tipologicheskie-cherty-i-ochertaniya-tipov/viewer> (accessed on July 18, 2025). EDN: OZBDLZ (In Russ.)

11. Reyfman I. *Ritualizovannaya agressiya: duel' v russkoy kul'ture i literature* [*Ritualized Aggression: The Duel in Russian Culture and Literature*]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2002. 336 p. (In Russ.)
12. Stroganova E. N. *Klassiki i sovremennitsy: gendernye realii v istorii russkoy literatury XIX veka* [*Classics and Contemporaries: Gender Realities in the History of 19th Century Russian Literature*]. Moscow, Litfakt Publ., 2019. 400 p. EDN: IKQKRA (In Russ.)
13. Fokin P. E. *Dostoevskiy. Pereprochtenie* [*Dostoevsky. Rereading*]. Moscow, RIPOL klassik Publ., Pal'mira Publ., 2018. 287 p. (In Russ.)
14. Sharakov S. L. *Dukhovnyy simvolizm F. M. Dostoevskogo* [*Spiritual Symbolism of F. M. Dostoevsky*]. Moscow, Prospekt Publ., 2024. 280 p. EDN: GILSBJ (In Russ.)
15. Shelkovnikova E. D. *Dueli. Chest' i lyubov'* [*Duels. Honor and Love*]. St. Petersburg, Atlant Publ., 2008. 252 p. (Ser.: Weapons Academy.) EDN: QPLJLR (In Russ.)
16. Kiernan V. G. *The Duel in European History: Honour and the Reign of Aristocracy*. Oxford, Oxford University Press Publ., 1989. 348 p. (In English)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Чуманкина Христина Алексеевна, *Khristina A. Chumankina*, 5th Year студентка 5 курса бакалавриата, Bachelor's Degree Student, Moscow Московский городской педагогический университет (2-й Сельскохозяйственный проезд, 4, г. Москва, Russian Federation); e-mail: tinager-Rоссийская Федерация, 129226); cel@gmail.com. e-mail: tinagercel@gmail.com.

Поступила в редакцию / Received 18.07.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 01.10.2025

Принята к публикации / Accepted 13.10.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16102

EDN: FYXJTK



**«Ужель та самая Татьяна...»
Спор о пушкинской героине в русской
литературе второй половины XIX в.
(Толстой, Достоевский и другие)**

В. Н. Захаров

*Петрозаводский государственный университет
(г. Петрозаводск, Российская Федерация)*

e-mail: vnz01@yandex.ru

Аннотация. Русский роман антропоцентричен. Осознание этого явления произошло постепенно. Сначала были восприняты оригинальные типы и характеры: Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Печорин и Максим Максимыч, Макар Девушкин и Варенька Доброселова, «тургеневские девушки», Наташа Ростова, Андрей Болконский и Пьер Безухов, Раскольников и Соня Мармеладова, Анна Каренина, Алексей Вронский и Константин Левин, и др. Лишь позже были поняты нюансы жанровой поэтики. Претекстом русского романа стали романтические поэмы Пушкина и его роман в стихах «Евгений Онегин», в которых поэт открыл новые типы и характеры русской литературы. Многообразны их взаимосвязи и отношения: Чацкий и Печорин подобны Онегину, Платон Каратаев и Аким Акимович — Максиму Максимычу, черты Татьяны Лариной преломились в образах тургеневских девушек и Наташи Ростовской. Вопрос, почему Татьяна не ушла с Онегиным, стал предметом спора Достоевского с Белинским и кульминацией его Пушкинской речи 1880 г. Анна Каренина оставила мужа и семью ради Вронского, но это лишь усугубило ее судьбу: несчастными оказались все. Пушкин ввел в русскую литературу новый тип героини — «русскую женщину». Достоевский усилил апофеоз пушкинской героини: Татьяна не просто положительна — идеальна. Отказав Онегину, она поступила «по-русски», «по русской народной правде», «по-христиански». Ее поступок придал жанру романа национальное значение и этнопоэтический смысл. К традиционному содержанию (любовь, семейная и частная жизнь) русские романисты прибавили историзм («историческую эпоху»). Концепция русского романа была обусловлена открытием реализма, который сложился как исторический тип мимесиса и предполагал «верное воспроизведение действительности» (Белинский), социально-психологический и исторический детерминизм, христианский онтологизм. Творческим открытиям Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского и Толстого сопутствовали теоретические идеи и концепции А. Галича, В. Белинского, Б. Грифцова, М. Бахтина.

Ключевые слова: критика, поэтика, роман, русский роман, Евгений Онегин, Татьяна Ларина, «тургеневские девушки», Наташа Ростова

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 24-18-00762 «Классики русской литературы второй половины XIX века: биографические “пересечения”, критическая рецензия и интертекстуальные связи»; <https://rscf.ru/project/24-18-00762/>, ИРЛИ РАН).

Для цитирования. Захаров В. Н. «Ужель та самая Татьяна...» Спор о пушкинской героине в русской литературе второй половины XIX в. (Толстой, Достоевский и другие) // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 222—242. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16102. EDN: FYXJTK

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16102

EDN: FYXJTK

“Is This Really the Same Tatiana...” The Dispute About Pushkin’s Heroine in Russian Literature of the Second Half of the 19th Century (Tolstoy, Dostoevsky and Others)

Vladimir N. Zakharov

*Petrozavodsk State University
(Petrozavodsk, Russian Federation)*

e-mail: vnz01@yandex.ru

Abstract. The Russian novel is anthropocentric. The recognition of this phenomenon occurred gradually. At first, the original types and characters were perceived: Evgeny Onegin and Tatiana Larina, Pechorin and Maksim Maksimych, Makar Devushkin and Varenka Dobroselova, “Turgenev’s young ladies,” Natasha Rostova, Andrei Bolkonsky and Pierre Bezukhov, Raskolnikov and Sonya Marmeladova, Anna Karenina, Alexey Vronsky and Konstantin Levin, and others. It was only later that the nuances of genre poetics were understood. Pushkin’s romantic poems and his novel in verse “Eugene Onegin”, in which the poet discovered new types and characters of Russian literature, became the pretext for the Russian novel. Their interconnections and relationships are diverse: Chatsky and Pechorin are similar to Onegin, Platon Karataev and Akim Akimovich resemble Maksim Maksimych, the features of Tatiana Larina are reflected in the images of “Turgenev’s young ladies” and Natasha Rostova. The question of why Tatiana did not leave with Onegin became the subject of Dostoevsky’s dispute with Belinsky and the culmination of his “Pushkin Speech” of 1880. Anna Karenina left her husband and family for Vronsky, but this only complicated her fate: everyone turned out to be unhappy. Pushkin introduced a new type of heroine in Russian literature — the “Russian woman.” Dostoevsky

reinforced the apotheosis of Pushkin's heroine: Tatiana is not just positive, she is perfect. By rejecting Onegin, she acted "the Russian way," "in accordance with Russian folk truth," and "the Christian way." Her action imbued the novel genre with national significance and ethnopoetic meaning. To the traditional contents (love, family, and private life), Russian novelists added historicism ("historical era"). The concept of the Russian novel was conditioned by the discovery of realism, which developed as a historical type of mimesis and presumed a "faithful reproduction of reality" (Belinsky), socio-psychological and historical determinism, and Christian ontologism. The creative discoveries of Pushkin, Lermontov, Gogol, Dostoevsky and Tolstoy were accompanied by the theoretical ideas and concepts of A. Galich, V. Belinsky, B. Gritsov, M. Bakhtin.

Keywords: Criticism, poetry, novel, Russian novel, Eugene Onegin, Tatyana Larina, "Turgenev's young ladies", Natasha Rostova

Acknowledgments. The research was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 24-18-00762, <https://rscf.ru/project/24-18-00762/>, ИРЛИ РАН).

For citation: Zakharov V. N. "Is This Really the Same Tatiana..." The Dispute About Pushkin's Heroine in Russian Literature of the Second Half of the 19th Century (Tolstoy, Dostoevsky and Others). In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 222—242. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16102. EDN: FYXJTK (In Russ.)

«Евгений Онегин» — уникальное явление в русской литературе. Во-первых, это гениальный роман гениального поэта; во-вторых, открытие русского романа — нового жанра в мировой литературе. Наконец, это реальное, хотя и художественное, социально-политическое и историческое событие, факт из русской жизни. О героях романа судят, как о реальных людях: старых знакомых, соседях, друзьях. Их знают лучше, чем родню. Повод этому дал сам автор: он знаком с героями своего романа, дружит с некоторыми из них. В центре дебатов читателей и критиков давно стал не герой, а героиня романа. Онегин типичен, Татьяна неожиданна в своих нероманических поступках.

Белинскому пушкинская Татьяна напомнила Веру в «Герое нашего времени» Лермонтова — правда, с оговоркой:

«...женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая: против этой истины не может быть никакого спора; но в Вере этот грех выкупается страданием от сознания своей несчастной роли» [Белинский; т. 7: 501].

У Татьяны, с точки зрения Белинского, такого оправдания нет. Впрочем, обе героини, по мнению критика, потенциально не могут презирать общественное мнение, каждая «может им жертвовать скромно, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятия, которое она берет на себя, повинувшись другому высшему закону — закону своей природы, а ее натура — любовь и самоотвержение...» [Белинский; т. 7: 502].

Вопреки суждениям Белинского, Достоевский в Пушкинской речи 1880 г. счел, что своим поступком Татьяна выразила «правду поэмы»:

«И вот она твердо говорит Онегину:
Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы» [Достоевский: 324].

Достоевский оставляет в стороне «религиозные убеждения», «таинство брака»:

«О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака — нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то что сама же сказала ему: "я вас люблю", потому ли что она, "как русская женщина" (а не южная, или не французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием чести, богатства, светского своего значения, условиями добродетели?» [Достоевский: 324].

Писатель объясняет:

«Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем во что поверит, и она доказала это. Но она "другому отдана, и будет век ему верна". Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что любит Онегина, и за которого вышла потому только что ее, "с слезами заклиний молила мать", а в обиженной израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее "молила мать", но ведь она, а не кто

другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честною женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж и измена ее покроет его позором, стыдом, и убьет его» [Достоевский: 324–325].

Автор ставит вопрос:

«А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье если оно основано на чужом несчастье?» [Достоевский: 325].

Он обостряет нравственную задачу:

«Позвольте, представьте что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе то же что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание!» —

и решает ее:

«Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею что люди для которых выстроили это здание согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми? Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем столь пострадавшим?» [Достоевский: 325].

Татьяна дала *русский ответ*:

«Нет: чистая русская душа решает вот как: "пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее чем несчастье этого старика, пусть наконец никто и никогда, а этот

старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою загубив другого!"» [Достоевский: 325].

Достоевского смущает сомнение критиков в нравственном основании поступка Татьяны. Он возражает:

«Я вот как думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если б умер ее старый муж и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера? Ведь она же видит кто он такой: вечный скиталец увидал вдруг женщину которою прежде пренебрег в новой блестящей недосыгаемой обстановке, — да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет, — свет, этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления, — вот ведь, вот почему он бросается к ней ослепленный! Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а "счастье было так возможно, так близко!"» [Достоевский: 325–326].

У Онегина нет «почвы», «это былинка носимая ветром» [Достоевский: 326].

У Татьяны есть «опора», «нечто твердое и незыблемое на что опирается ее душа»: «ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизни», есть «соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею» [Достоевский: 326].

Наконец автор выносит приговор:

«Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным» [Достоевский: 326].

Достоевский открывает тайну пушкинской героини:

«Татьяна, отказавшись идти за Онегиным, поступила порусски, по русской народной правде» (выделено мной. — В. З.) [Достоевский: 333], —

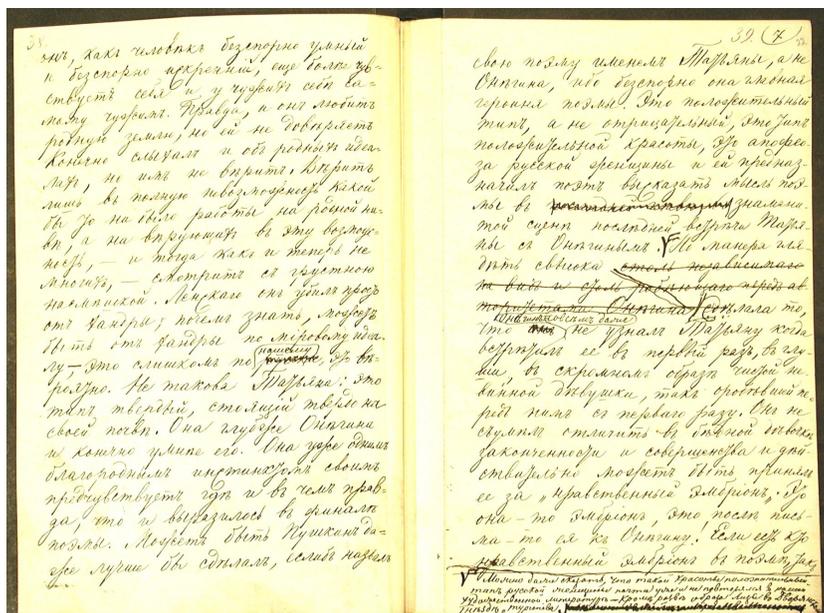
и эта правда заключена в Христианстве как основе просвещения:

«Христианство народа нашего есть, и должно *остаться навсегда*, самую главную и жизненную основой просвещения его!» [Достоевский: 333].

Таков категорический императив Достоевского.

Белинский увидел тип пушкинской Татьяны в образе лермонтовской Веры, но вряд ли кто-либо еще из читателей и критиков обратил внимание на их сходство. Любовницу Печорина затмили «тургеневские девушки»: возвышенные поэтические натуры, утверждающие права личности, женской эмансипации, чувство долга перед человечеством, обществом, человеком. Таковы Елена Стахова, готовая посвятить себя борьбе за освобождение Болгарии («Накануне»), Лиза Калитина, ушедшая в монастырь из-за разочарования в брачных отношениях и любви («Дворянское гнездо»), Марианна Синецкая, мечтающая о революции («Новь»).

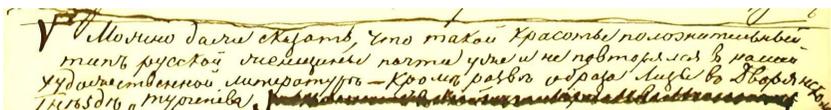
В Пушкинской речи Достоевский поставил рядом Татьяну Ларину и Лизу Калитину. Н. Страхов, стоявший рядом с трибуной, слышал, как Достоевский произнес еще слова: «...и Наташи в "Войнѣ и Мирѣ" Льва Толстого», — но их заглушили восторженные овации публики. Свидетельство Страхова подтверждается вставкой писателя в автограф А. Г. Достоевской (Илл. 1).



Илл. 1. Страницы рукописи Пушкинской речи Достоевского
Fig. 1. Pages from Dostoevsky's manuscript of the Pushkin speech

Имя тургеневской героини есть и в автографе, и в печатном тексте речи. В автографе рядом с тургеневской героиней изначально было имя Наташи Ростовой (Илл. 2), но Достоевский густо вычеркнул эти слова (очевидно, чтобы в типографии по ошибке не набрали зачеркнутый текст):

«Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в <"Дворянском Гнѣздѣ" Тургенева [и Наташи в Войнѣ и Мирѣ Льва Толстого]» (ОР РГБ. Ф. 93.1.2.15. Л. 22).



Илл. 2. Фрагмент автографа с зачеркнутой вставкой Достоевского:
«и Наташи в Войнѣ и Мирѣ Льва Толстого»

Fig. 2. A fragment of an autograph with Dostoevsky's crossed-out insertion:
“and Natasha in Leo Tolstoy's War and Peace”

Достоевский отнес Татьяну Ларину к «положительному типу русской женщины»:

«...такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в *Дворянском Гнезде* Тургенева» [Достоевский: 323].

Далее свидетельствовал Страхов:

«При имени Тургенева, зала, какъ всегда, захлопотала отъ рукоплесканій и заглушила голосъ Достоевскаго. Мы слышали, как онъ продолжалъ: "...и Наташи въ «Войнѣ и Мирѣ» Толстого". Но никто въ залѣ не могъ этого слышать, и онъ долженъ былъ остановиться, чтобъ переждать, пока утихнетъ вновь и вновь подымавшійся шумъ. Когда онъ сталъ продолжать рѣчь, онъ не повторилъ этихъ заглушенныхъ словъ, и потомъ выпустилъ ихъ въ печати, такъ какъ они дѣйствительно не были произнесены во всеуслышаніе. Такова была горячка этого засѣданія, и такъ горячо шла внутренняя борьба въ публикѣ и въ представителяхъ литературы» [Страхов: 315].

По разным гадательным причинам Достоевский не повторил эти слова. Если бы повторил, то, наверное, превратил бы орации в честь Тургенева в пародию — в «бурные и продолжительные аплодисменты» в честь Наташи Ростовской, героини Толстого. Возможно, кто-то из критиков и фельетонистов мог заподозрить в этом эпизоде бестактную неискренность оратора.

Главное же случилось: в героинях Тургенева и Толстого Достоевский узнал Татьяну Ларину.

Тургенев создал тип «тургеневской девушки», возвышенной, поэтичной, утверждающей гражданские и этические принципы.

Толстовские героини являют разные типы и новые женские характеры: Наташа Ростова подобна Татьяне Лариной, Анна Каренина ушла от мужа, оставила семью, решившись на то, от чего отказалась пушкинская Татьяна. Судьба Карениной трагична: у нее нет будущего, она обречена на гибель.

Галерея женских образов в поэтике Достоевского многолика: она простирается от Вареньки Доброселовой в «Бедных людях» до Грушеньки Светловой и Лизы Хохлаковой в «Братьях Карамазовых», в их круг входят ангелоподобные дети, inferнальные и хриstopодобные героини поздних романов и «Дневника Писателя».

У Достоевского была своя Татьяна Ларина. Его Пушкинская речь обращена жене Анне Григорьевне. Он работал с ней над текстом, она помогала: стенографировала, переписывала, исправляла, приготовила беловую рукопись, по которой читал речь оратор и с которой затем набирали печатный текст. К ней, как к Татьяне Лариной, обращался Достоевский во время диктовки, ей писатель посвятил свой роман «Братья Карамазовы». Воспев пушкинскую Татьяну, Достоевский восславил жену.

Пушкин искусно сочинил роман «Евгений Онегин». В его композиции продумано все: и план, и «форма плана», и имя героя («и как героя назову» [Пушкин; т. 6: 30]) — многое, вплоть до мелочей. Почти везде выдержана сонетная форма онегинской строфы. В каждой из глав соразмерно даже количество строф (от 40 до 61 строфы): первая и вторая главы — 60, третья — 40, четвертая — 51, пятая — 45, шестая — 46, седьмая — 50 и восьмая — 51. То, что отмечено отточиями в тексте, прежде было написано: сократили и сам автор, и цензура. Пропуски строф,

стихов и глав значимы для автора: читатель должен задуматься о тайне творчества и бытия.

Фабула романа проста. В имениях по соседству жили, встретились, познакомились, дружили Владимир Ленский, Татьяна и Ольга Ларины, Евгений Онегин. Татьяна влюбилась в Онегина. Владимир и Ольга уже сговорились о свадьбе. Друзья повздорили и поссорились. На дуэли Онегин убил Ленского. Ольга вскоре вышла замуж за случайно подвернувшегося улана. В тоске после убийства друга Онегин отправился странствовать по России. Некоторое время спустя, «как Чацкий с корабля на бал», он появился в Петербурге. Произошла встреча Онегина со светской дамой, в которой он узнал былую Татьяну Ларину. Она по-прежнему любит Евгения, но отказывает ему. Герои сознают, что счастье было «так возможно, так близко» [Пушкин; т. 6: 188], но расстаются навсегда.

Роман намеренно противоречив. Так он задуман. Об этом автор предупредил читателя в последней строфе первой главы романа:

«Я думал уж о форме плана,
И как героя назову;
Покаместь моего романа
Я кончил первую главу:
Пересмотрел всё это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу;
Цензуре долг свой заплачу,
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!» [Пушкин; т. 6: 30].

С одной стороны, автор утверждает: Татьяна — «русская душою», с другой, «она по-русски плохо знала», писала и объяснялась в любви по-французски. Она честна, чиста, искренна, любит Онегина, но верна мужу:

«Я вышла замуж. Вы должны,
 Я вас прошу, меня оставить;
 Я знаю: в вашем сердце есть
 И гордость и прямая честь.
 Я вас люблю (к чему лукавить?),
 Но я другому отдана;
 Я буду век ему верна» [Пушкин; т. 6: 189].

Финал романа вызвал острую полемику в русской критике и литературе. Не всех удовлетворило внешне нероманическое завершение любовной истории. Героиня не бросила мужа, не ушла с «прежним и бесспорным» в какой-либо отдаленный город или чужие страны.

В середине 1860-х гг. Достоевский задумал статью о нигилистическом романе, в которой он критически отозвался о его содержании:

«NB.) Нигилистический романъ. Его концепція всегда одно и тоже: мужъ съ рогами, жена развратничаетъ и потомъ опять возвращается. Дальше и больше этого они ничего не могли изобрѣсть»¹.

Достоевский с пренебрежением отнесся к подобным сюжетам и мотивам. Его воодушевляли иные превратности судьбы, перипетии любви, этические аспекты семейных отношений героев.

В Пушкинской речи Достоевский объяснил нравственный смысл поступка Татьяны.

Полемика о типах и характерах героев определяется поэтикой жанра. Роман антропоцентричен. Поэтика жанра требовала критики стереотипных и оригинальных романических поступков героев. «Нероманический» поступок героини провоцировал критиков на спор о Татьяне.

Не Онегин, а Татьяна — «бесспорно главная героиня поэмы». Она не отрицательный, а «положительный тип», «тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным» [Достоевский: 323].

¹ РГАЛИ. Ф. 212.1.4. Л. 147.

Белинский осудил Татьяну [Белинский; т. 7: 469, 501]. Ему категорически возразил Достоевский:

«Скажут: да ведь несчастен же и Онегин: одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тут другой вопрос, и даже может быть самый важный в поэме. Кстати, вопрос: почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в литературе нашей, своего рода историю весьма характерную, а потому я и позволил себе так об этом вопросе распространиться. И всего характернее что нравственное разрешение этого вопроса столь долго подвергалось у нас сомнению» [Достоевский: 325].

Достоевский имеет в виду претензию Белинского к пушкинской героине за то, что не ушла с Онегиным. По мнению оратора, Татьяна «поступила по-русски, по русской народной правде» [Достоевский: 333].

Что выражает эта народная правда? В чем правда Достоевского? Достоевский говорит однозначно и прямо:

«Христианство народа нашего есть, и должно остаться навсегда, самую главную и жизненную основой просвещения его!» [Достоевский: 333].

«А идеал народа — Христос. А с Христом конечно и просвещение, и в высшие, роковые минуты свой народ наш всегда решает и решал всякое общее всенародное дело свое всегда по-христиански. Вы скажете с насмешкой: "плакать это мало, вздыхать тоже, надо и делать, надо и быть"» [Достоевский: 334].

Эта идея часто редуцируется в интерпретациях Пушкинской речи, но она же и является разгадкой тайны пушкинской героини, которая поступила «по-русски», «всегда по-христиански».

Роман «Евгений Онегин» Пушкина стал открытием нового жанра русской и мировой литературы, но его историко-литературное значение было осознано постепенно.

Первым об открытии русского романа как нового жанра (но еще без «Евгения Онегина» Пушкина, «Героя нашего времени» Лермонтова, «Мертвых души» Гоголя) заявил французский дипломат и критик Мельхиор Вогюэ, который связал появление романов Тургенева, Достоевского, Толстого с возникновением реализма в русской литературе. Вполне в духе Достоевского Вогюэ объяснил художественные открытия русской

литературы тем, что она избрала предметом своего изучения «родную почву», сделала реализм инструментом «для постижения отечества», «для изображения как внешнего мира, так и души человеческой» [Вогюэ]. Русскими романистами, по его мнению, «владеет двойная забота — о правде и о справедливости. Впрочем, двойной ее называем только мы, у русских же слово "правда" употребляется в обоих этих значениях, а точнее сказать, включает в себя одновременно и тот, и другой смысл» [Вогюэ].

Толстой и Достоевский восстановили утраченные звенья предыстории русского романа, включив в нее произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя. В свою очередь, теорию романа обогатили А. И. Галич [Галич: 212–222], В. Г. Белинский [Белинский; т. 5: 39–42; т. 7: 431–503; т. 10: 102–122, 279–359, 373–376 и др.], Б. А. Грифцов [Грифцов], М. М. Бахтин [Бахтин, 1963, 1975].

Ключевые эпические жанры русской литературы определяются по типу повествования. Доминирует повесть как тип повествования, которая формирует содержание летописей, повестей о воинских подвигах и княжеских преступлениях, преданий о жизни людей. Другие типы повествования — **сказ** и **рассказ**: **сказ** — это чужая устная речь, **рассказ** — «просто» устная речь. Они определяют жанры, такие как **сказ**, **сказка**, **сказание**, **рассказ**.

Есть в русской литературе жанр, который выражает сущность русской словесности. Это повесть. Ее определяют по типу повествования: автор излагает события в том порядке, в котором они произошли. Здесь все заключено в форме и значении слова «повесть»: *по* — приставка, *весть* — корень, «по-весть» — весть, о том, что случилось. Форма слова диктует способ речи. Для хронотопа повести характерны «эпическая дистанция», развитие событий в «абсолютном прошлом» [Захаров, 1984; 1985].

Почти во всех литературах нет четкой дифференциации между романом и повестью. Сколько угодно романов, в которых есть абсолютное прошлое, есть эпическая дистанция, многочисленны жанровые трансформации. Большинство критиков и исследователей не различают повести и романы, рассказы и повести, не понимают значения типов повествования в образовании эпических жанров русской литературы, зачастую ограничиваясь ошибочными количественными критериями большой, средней и малой форм.

Сто лет назад теоретик и историк литературы Б. А. Грифцов афористически завершил свою книгу «Теория романа» (1927):

«Эпохи без романа бывали, они возможны и в будущем» [Грифцов: 166].

В отличие от романа, в русской литературе не было «эпох без повести» — повесть была всегда.

Повесть в русской литературе может быть больше и значительнее романа. Таковы древнерусские повести, петербургские повести Пушкина («Медный всадник» и «Пиковая дама»), Гоголя («Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет», «Нос», «Шинель»), Достоевского («Двойник», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Записки из подполья», «Крокодил»). Горький признавался, что он не умеет писать романы, но пишет повести. Подсказку читателю о том, что его «Мать» и «Жизнь Клима Самгина» не романы, не эпопеи, а повести, автор сделал на титульных листах своих сочинений: он включал номинацию жанра в заглавия своих произведений (повесть). Из современных авторов, писавших повести, которые по содержанию и значению были больше романов, следует прежде всех назвать Валентина Распутина.

Эволюция эпических жанров в русской литературе XIX в. связана с открытием русского романа, который утвердился в конкуренции с другими эпическими жанрами, такими как повесть и поэма. В жанровой поэтике произошла дифференциация романа и повести. Русский роман обрел историческое значение: вслед за «Евгением Онегиным» появились оригинальные романы: «Капитанская дочка» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Мертвые души» Гоголя, романы Достоевского и Толстого и других.

Роман — неудачное определение жанра. Оно означает лишь метонимический перенос слова по смежности. Так в средние века называли сочинения на романских наречиях. На латинском языке писали поэмы и трагедии, оды и гимны, переводили священное писание, вели церковные службы, создавали богословские труды и научные трактаты. На романских языках писали и издавали развлекательные сочинения, создавали сказочные волшебные-рыцарские повествования, в том числе о рыцарях, любви и прекрасных дамах.

У этого жанра своя история. Первые «романы» появились на греческом языке, и называли их иначе, чаще всего — *drama historikon*, что в переводе означает не историческую, а рассказанную драму (или «драму в рассказах»), в которой сценические эпизоды чередуются повествованием. В византийских романах рассказывали о превратностях любви и приключениях, которые выпадали на долю влюбленных. Их разлучали обстоятельства, но, пройдя перипетии судьбы, они соединялись в счастливом браке. Были вымышленные повествования об исторических героях (например, «Александрия»), но доминировали рассказанные любовные драмы и повествования о любви.

У романа есть несколько имен, но одна сущность. Он един во все времена — и в античности, и в средние века, и в Возрождение, и в Новое Время.

В XVII в. аббат Юэ дал исчерпывающее определение романа как «*des fictions d'aventures amoureuses, écrites en prose avec art, pour le plaisir et l'instruction des lecteurs*» (перевод: «вымышленных сочинений о любовных приключениях, искусно написанных в прозе для развлечения и обучения читателей») [Huet: 3].

Во все времена любовь была содержанием жанра, но во французском романе она оказалась всепоглощающим чувством, которое сокрушало социальные условности, радикально меняло судьбу героев, сбрасывало их с социальной иерархии вниз и возносило вверх. Английский роман обратился к семейной жизни: романистов интересовала не только любовь, но и то, что происходило в жизни после свадьбы. Оригинальное развитие этих концепций романа дала немецкая критика и философия. Философ Гегель придал роману своеобразное значение, определив его как “*die moderne bürgerliche Epopöe*” [Hegel; vol. 14: 395], что в переводе с немецкого языка означает «современную буржуазную эпопею» (варианты: «гражданскую», «мещанскую»).

За два первых века Нового времени роман расширил свое содержание: *любовь*, затем *семья*, *частная жизнь* стали основой европейского романа.

Пушкин открыл в романе новое содержание — «*историческую эпоху*», связал понимание романа с творчеством английского романиста Вальтера Скотта и его русского последователя Михаила Загоскина. Лаконично Пушкин определил жанр романа в 1830 г., когда уже был написан «Евгений Онегин»:

«В наше время под словом роман разумею историческую эпоху, развитую на вымышленном повествовании» [Пушкин; т. 11: 92].

В определении поэт объяснил не исторический роман как жанр, а принцип историзма в романе. Эту концепцию он реализовывал с 1823 г., с начала создания романа «Евгений Онегин». Его концепцию разделили лицейский профессор Пушкина и философ Александр Галич, критик Виссарион Белинский, романисты Лев Толстой и Федор Достоевский. Французский дипломат и литературный критик Мельхиор Воюэ объяснил открытие русского романа синтезом нового жанра и реализма как метода. Роман обрел свойства реализма: «верное воспроизведение действительности» [Белинский; т. 9: 469], социально-психологический и исторический детерминизм, философский или духовный онтологизм. Русский роман воплотил в себе и «нероманы» Толстого, и романы Достоевского.

В истории и теории романа исключительное значение имеют труды М. М. Бахтина, в которых он разработал оригинальную концепцию романа как жанра мировой литературы [Бахтин, 1975], полифонического романа Достоевского [Бахтин, 1929], придумал мениппею как жанр [Бахтин, 1963]. Его концепции сложились в 1920–1940-х гг., но в полном объеме они стали известны лишь в 1960–1970-х гг. К тому времени уже были опубликованы фундаментальные исследования по истории и теории романа, отшумели споры по поводу оригинальных концепций жанра, а в философской эссеистике уже прозвучал приговор жанру и его творцам: **роман умер, автор мертв**.

Бахтину часто приписывают идеи и концепции его старшего товарища П. Н. Медведева, репрессированного в 1938 г. и на четверть века исчезнувшего в спецхранах нескольких библиотек. Сейчас вопрос принадлежности трудов Медведева решен юридически: ему принадлежит то, что подписано его именем. С. Г. Бочаров проявил незаурядное мужество и отказался от публикации так называемых «спорных текстов», изменил состав семитомного собрания сочинений, которое стало шеститомным. В 2018 г. этот процесс реабилитации автора «Формального метода в литературоведении» завершился изданием двухтомного собрания сочинений П. Н. Медведева, вышедшего под редакцией Б. Ф. Егорова [Медведев].

Медведева интересовал жанр как ключевая категория поэтики. Бахтина интересовали конкретные жанры: эпос, роман, речевые жанры. Такая постановка проблем жанра характерна для работ Бахтина 1960–1970-х гг., в которых исследователь пытается обобщить теорию романа в контексте истории мениппеи.

У Медведева и Бахтина было не только разное понимание жанра, но и противоположное понимание фабулы и сюжета [Захаров, 2007: 19–30]. Для Медведева жанр — это художественный тип видения, понимания и завершающего обобщения действительности в искусстве. Художник видит мир глазами разных жанров. Каждый жанр помнит свое происхождение. За ним закреплено свое понимание и видение действительности. Так, писатель по-разному осмысливает действительность в романе и анекдоте. У каждого жанра своя сфера действительности, свои возможности понимания, свои «инструменты» познания, свои законы и требования. В анекдоте событием становится смешное абсурдное приключение, в котором не обязательны характеры. Там есть типы, их роли, но нет характеров. В романе характеры обязательны. Одна и та же тема — скажем, супружеская неверность — может быть сюжетом и анекдота, и романа. Анекдот схватывает случайное комическое проявление темы. Иначе развит этот сюжет в романе «Анна Каренина» Толстого. Драма героев предстает в глубокой разносторонней связи с другими явлениями жизни.

Бахтин глубже многих понял трансформацию романа в русской литературе. Он исходил из принципиального отличия эпоса и романа, которое заключается в концепции времени. В эпосе есть эпическая дистанция, абсолютное прошлое. Роман разрушает эпическую дистанцию, уничтожает абсолютное прошлое, которое предстает неготовым настоящим, становящейся современностью. Слово в романе является способом и предметом изображения, характеризует мир и героев произведения. Оно диалогично, событийно, несет в себе больше, чем заключено в самом слове.

Большинство романов русской и мировой литературы не удовлетворяет критериям Бахтина. Они сохраняют эпическую дистанцию, повествуют в абсолютном прошлом, избегают сюжетно-композиционного параллелизма, создания эффекта романного слова.

В теории романа Бахтина наибольшую известность приобрела концепция «полифонического романа» Достоевского. Свыше пятидесяти лет активно участвую в достоевческих конференциях — могу засвидетельствовать: все исследователи Достоевского критически относятся к концепции Бахтина, его полифонии, равноправию голосов автора и героев Достоевского. Ошибка Бахтина состоит в том, что он не разграничил автора и повествователя. Бахтин гениально услышал голоса героев, но не услышал главного голоса — голоса Достоевского. В иерархии голосов равноправны герои и повествователь, но не автор. Между тем сложилась парадоксальная ситуация. С концепцией полифонического романа согласны все, кроме исследователей творчества Достоевского, почти все понимают полифонию Бахтина не по-бахтински.

В отличие от концепции полифонического романа Достоевского, с которой согласны немногие, о концепции романа Бахтина как жанра мировой литературы почти не спорят. Она признана. Бахтин победил, а победителей не судят.

В своих трудах Бахтин писал не о том, каким был роман в истории мировой литературы, и не о том, в каком состоянии находился жанр в XX в., а о том, какими были европейский и русский романы в наивысших проявлениях, какими художественным потенциалом и поэтическими возможностями обладает этот жанр. Он раскрыл, каким может быть роман. Теория романа Бахтина динамична и диалогична. Она открывает не прошлое, а будущее жанра.

Русский роман был воспринят как **новое слово в истории жанра**. Романы Достоевского и Толстого потрясли воображение европейских читателей и романистов. Им стали подражать. Их достижения стали **лучшим оправданием теории романа Бахтина**. У романа, как и у повести, есть перспективы не только в русской, но и в мировой литературе.

Список литературы

1. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Л.: Прибой, 1929. 244 с.
2. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Сов. писатель, 1963. 363 с.
3. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 502 с.
4. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. / [ред. коллегия: Н. Ф. Бельчиков (гл. ред.) и др.]. М.: АН СССР, 1953–1959.
5. Вогюэ Э. М. де. Русский роман // Отечественные записки. 2007. № 5 (38) [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20211218221406/https://strana-oz.ru/2007/5/russkiy-roman> (29.08.2025).
6. Галич А. И. Опыт науки изящного. СПб.: Тип. Деп. нар. просвещения, 1825. 222 с.
7. Грифцов Б. А. Теория романа. 1927. М.: ГАХН, 1927. 153 с.
8. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 18 т. / науч. ред. проекта проф. В. Н. Захаров; [сост., подгот. текстов В. Н. Захарова]. М.: Воскресенье, 2004. Т. 12. 448 с.
9. Захаров В. Н. К спорам о жанре // Жанр и композиция литературного произведения / отв. ред. М. М. Гин. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1984. С. 3–19 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35031309_64938180.pdf (29.08.2025). EDN: XPHBSH
10. Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 209 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23826098_46503121.pdf (29.08.2025). EDN: UBKBBV
11. Захаров В. Н. Проблема жанра в «школе» Бахтина (М. М. Бахтин, П. Н. Медведев, В. Н. Волошинов) // Русская литература. 2007. № 3. С. 19–30. EDN: IBDEYT
12. Медведев П. Н. Собр. соч.: в 2 т. СПб.: Росток, 2018. Т. 2: Поэтика и психология творчества / изд. подгот. Ю. П. Медведев и Д. А. Медведева; отв. ред. Б. Ф. Егоров. 928 с.
13. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: АН СССР, 1937–1959.
14. Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки, с портретом Ф. М. Достоевского и приложениями. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1883. С. 169–329.
15. Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Aesthetik. Mit einem Vorwort von Heinrich Gustav Hotho // Hegel G. W. F. Sämtliche Werke: Jubiläumsausgabe in Zwanzig Bänden / Herausgegeben von Hermann Glockner. Stuttgart: F. Frommann Verlag, 1964. Bd. 12–14.
16. Huet P. D. Traité de l'origine des romans. Paris, 1680. 294 p. [Электронный ресурс]. URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k650112/f14.image> (29.08.2025).

References

1. Bakhtin M. M. *Problemy tvorchestva Dostoevskogo* [*Problems of Dostoevsky's Works*]. Leningrad, Priboy Publ., 1929. 244 p. (In Russ.)
2. Bakhtin M. M. *Problemy poetiki Dostoevskogo* [*Problems of Dostoevsky's Poetics*]. 2nd ed., revised and supplemented. Moscow, Sovetskiy pisatel' Publ., 1963. 363 p. (In Russ.)
3. Bakhtin M. M. *Voprosy literatury i estetiki: issledovaniya raznykh let* [*Questions of Literature and Aesthetics: Studies of Different Years*]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1975. 502 p. (In Russ.)
4. Belinskiy V. G. *Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh* [*The Complete Works: in 13 Vols*]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1953–1959. (In Russ.)
5. Vogüé E. M. de. Russian Novel. In: *Otechestvennye zapiski*, 2007, no. 5 (38). Available at: <https://web.archive.org/web/20211218221406/https://strana-oz.ru/2007/5/russkiy-roman> (accessed on August 29, 2025). (In Russ.)
6. Galich A. I. *Opyt nauki izyashchnogo* [*Experience of the Science of Fine Arts*]. St. Petersburg, Tipografiya Departamenta narodnogo prosveshcheniya Publ., 1825. 222 p. (In Russ.)
7. Grifstov B. A. *Teoriya romana* [*Theory of the Novel*]. Moscow, The State Academy of Artistic Sciences Publ., 1927. 153 p. (In Russ.)
8. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 18 tomakh* [*The Complete Works: in 18 Vols*]. Moscow, Voskresen'e Publ., 2004, vol. 12. 448 p. (In Russ.)
9. Zakharov V. N. To the Disputes About Genre. In: *Zhanr i kompozitsiya literaturnogo proizvedeniya* [*Genre and Composition of a Literary Work*]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1984, pp. 3–19. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35031309_64938180.pdf (accessed on August 29, 2025). EDN: XPHBSH (In Russ.)
10. Zakharov V. N. *Sistema zhanrov Dostoevskogo: tipologiya i poetika* [*The System of Genres of Dostoevsky: Typology and Poetics*]. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1985. 209 p. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23826098_46503121.pdf (accessed on August 29, 2025). EDN: UBKBBV (In Russ.)
11. Zakharov V. N. The Problem of Genre in the Bakhtin “School” (M. M. Bakhtin, P. N. Medvedev, V. N. Voloshinov). In: *Russkaya literatura*, 2007, no. 3, pp. 19–30. EDN: IBDEYT (In Russ.)
12. Medvedev P. N. *Sobranie sochineniy: v 2 tomakh* [*Collected Works: in 2 Vols*]. St. Petersburg, Rostok Publ., 2018, vol. 2. 928 p. (In Russ.)
13. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 16 tomakh* [*The Complete Works: in 16 Vols*]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1937–1959 (In Russ.)
14. Strakhov N. N. Memories of Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. In: *Biografiya, pis'ma i zametki iz zapisnoy knizhki, s portretom F. M. Dostoevskogo i prilozheniyami* [*Biography, Letters and Notes from a Notebook, with a Portrait of F. M. Dostoevsky and Appendices*]. St. Petersburg, Tipografiya A. S. Suvorina Publ., 1883, pp. 169–329. (In Russ.)

15. Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Aesthetik. Mit einem Vorwort von Heinrich Gustav Hotho [Lectures on Aesthetics. With a Foreword by Heinrich Gustav Hotho]. In: *Hegel G. W. F. Sämtliche Werke: Jubiläumsausgabe in Zwanzig Bänden* [Hegel G. W. F. *The Complete Works: Jubilee Edition in Twenty Volumes*]. Stuttgart, F. Frommann Publ., 1964, vol. 12–14. (In German).
16. Huet P. D. *Traité de l'origine des romans* [Treatise on the Origin of Novels]. Paris, 1680. 294 p. Available at: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k650112/f14.image> (accessed on August 29, 2025). (In French)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT AUTHOR

Захаров Владимир Николаевич, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой классической филологии, русской литературы и журналистики Института филологии, Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск, Российская Федерация, 185910); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2709-4145>; e-mail: vnz01@yandex.ru.

Vladimir N. Zakharov, PhD (Philology), Professor, Head of the Department of Classical Philology, Russian Literature and Journalism of the Institute of Philology, Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, 185910, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2709-4145>; e-mail: vnz01@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 30.08.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 14.10.2025

Принята к публикации / Accepted 17.10.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15842

EDN: XPQDDW



От Пасхи к Рождеству: православный подтекст в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»

Г. В. Мосалева

*Удмуртский государственный университет
(г. Ижевск, Российская Федерация)*

e-mail: mosalevagv@yandex.ru

Аннотация. В статье освещается принцип универсализма православной России в романе «Война и мир», отразившем все основные православные субстанциальные символы и свойства. Это прежде всего соборность (через образы улья, русского гнезда, купола), восходящая к догмату Троицы, присущая как любимым героям автора в романе, так и ему самому. Толстой обозначил в романе одно из коренных свойств православной души — ее созерцательное умонастроение, проявляющееся через молитвенное обращение к Богу. В романе показаны разные типы святости: юродство (божьи люди), воинская святость на поле боя, мирское благочестие и подвижничество. Петербург предстает в романе как «чужой город», символом которого является масонский храм. Святая Москва в романе тождественна русскому православному космосу, простирающемуся за земные пределы. Тема Святой Москвы как воплощения Святой Руси поддерживается и развивается в романе многочисленными храмовыми мотивами и сюжетами, изображением знаковых событий в связи с церковными таинствами (крещение, причастие, отпевание, исповедь, венчание), храмовых и внехрамовых богослужений. Главным внутренним храмовым символом романа является образ Троице-Сергиевой Лавры и Святого Сергия. Все события разворачиваются в соответствии с церковным календарем. И хотя Толстой отдает предпочтение неофициальной народной религиозной праздничности (к примеру, Святкам в отличие от Рождества), главным архетипом романа является пасхальный. Несмотря на двойственность авторской точки зрения Толстого, распадающейся на сознательно-рациональную и архетипически-бессознательную, события в романе представлены из перспективы православного миропонимания.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, православная традиция, подтекст, символы и архетипы, универсализм

Для цитирования: Мосалева Г. В. От Пасхи к Рождеству: православный подтекст в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 243–264. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15842. EDN: XPQDDW

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15842

EDN: XPQDDW

From Easter to Christmas: The Orthodox Subtext in Leo Tolstoy's Novel "War and Peace"

Galina V. Mosaleva

*Udmurt State University
(Izhevsk, Russian Federation)*

e-mail: mosalevagv@yandex.ru

Abstract. The article highlights the principle of universalism in Leo Tolstoy's depiction of Orthodox Russia in his novel "War and Peace," which reflected all the main substantial Orthodox symbols and properties. First and foremost, they includes conciliarity (through the images of the beehive, the Russian nest, the dome), which goes back to the dogma of the Trinity, inherent in both the author's favorite characters in the novel and the author's own consciousness. In the novel, Tolstoy outlined one of the fundamental properties of the Orthodox soul — its contemplative mentality, manifested through prayerful appeal to God. The novel reveals different types of holiness: foolishness ("God's people,") martial holiness on the battlefield, worldly piety and asceticism. St. Petersburg appears in the novel as a "foreign city," whose symbol is the Masonic temple. Holy Moscow in the novel is identical to the Russian Orthodox cosmos, which extends beyond the earthly limits. The theme of Holy Moscow as Holy Russia is supported and developed in the novel by numerous temple motifs and plots, depiction of significant events in connection with church sacraments (baptism, communion, funeral service, confession, wedding), temple and non-temple services. The main, internal temple symbol of the novel is the image of the Trinity-Sergius Lavra and St. Sergius. All events unfold according to the church calendar. And although Tolstoy prefers unofficial religious folk festivities (for example, Yuletide) to Christmas, the main archetype of the novel is Easter. Despite the ambivalence of Tolstoy's own point of view, which diverges into a consciously rational and archetypally unconscious elements, the events in the novel are presented from the perspective of the Orthodox worldview.

Keywords: L. N. Tolstoy, Orthodox tradition, subtext, symbols and archetypes, universalism

For citation: Mosaleva G. V. From Easter to Christmas: The Orthodox Subtext in Leo Tolstoy's Novel "War and Peace". In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 243–264. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15842. EDN: XPQDDW (In Russ.)

По поводу рецепции православного подтекста романа «Война и мир» И. А. Есаулов в монографии «Категория соборности в русской литературе», изданной в Петрозаводском

университете в 1995 г., отмечал: «Несмотря на огромную литературу, посвященную анализу этого одного из вершинных для русской литературы произведений, его православный подтекст не только не описан, но и, можно сказать, даже не обозначен» [Есаулов: 83].

Спустя тридцать лет ситуация изменилась лишь отчасти. Прежде всего, за счет публикации работ, связанных с изучением эпопеи Л. Н. Толстого в контексте христианской традиции. Были восприняты и осмыслены в полной мере исследования Н. А. Бердяева [Бердяев, 1911, 1912], Н. Н. Страхова [Страхов], К. Н. Леонтьева [Леонтьев], Д. С. Мережковского [Мережковский] — представителей русской религиозной философии.

В постсоветской России одними из первых литературоведов, актуализирующих проблему рецепции православной традиции в романе «Война и мир», были И. А. Есаулов [Есаулов] и М. М. Дунаев [Дунаев]. В настоящий момент эта линия продолжается исследованиями А. В. Гулина [Гулин] и М. А. Можаровой [Можарова].

В данной статье мы ставим своей целью выявить православный подтекст романа «Война и мир» в контексте храмовых образов и литургичности (частично мы уже писали об этом в статьях: [Мосалева, 2021, 2023]). Нам представляется важным выяснить, что́ из всего православно-догматического тезауруса Л. Н. Толстой выбирает в качестве субстанциальных доминант, установить характер и сферу этого влияния, а также понять — является ли оно автономным, проявляющимся на уровне подтекста, для освоения которого нужно знать особый код или ключ, или всецелым, пронизывающим весь роман.

Известно, что Толстой не жаловал любые официальные, с его точки зрения, явления жизни: общественной, церковной, культурной. В «Войне и мире» одинаково немногочисленны описания как церковных праздников, так и праздников искусства (театральные представления, музейные посещения) (подробнее об этом см.: [Striedter]). Все, что проявляет себя с официальной стороны, Толстому казалось неискренним. И, напротив, все, что скрывалось глубоко внутри, все «душевно-телесное», по Д. Мережковскому [Мережковский], вызывало у писателя абсолютное доверие.

О переплетении внешнего и внутреннего в душе героя Толстого писал еще Н. Бердяев в работе 1912 г.: «Тайна обаяния толстовского творчества заключена в художественном приеме, составляющем его оригинальную особенность, — человек про себя думает и чувствует не то, что выражает вовне» [Бердяев, 1912]. Однако и несовпадение между внешним и внутренним мирами у Толстого не помешало проявиться в «Войне и мире» универсализму. Неслучайно «Войну и мир» Толстого называют «романом-космосом» [Гулин: 15] и даже «христианской эпопеей» [Линков: 102].

При всем своем мировоззренческом вольномыслии автор «Войны и мира» отразил в романе основные православные субстанциальные символы. Православную Россию, как и отдельную личность, Толстой предпочитает представить в ее внутренних свойствах: более душевных, чем духовных. К оценке событий и героев Толстой подходил с известной мерой:

«И нет величия там, где нет простоты, добра и правды» [Толстой; т. 6: 178].

Н. Н. Страхов эту нравственную меру назвал «русской формулой героической жизни» [Страхов: 353], «русским идеалом», перед которым «сломилась и померкла вся сила Наполеона и Наполеоновской Франции» [Страхов: 375]. Путь персонажа и историческое событие у Толстого измеряются именно этой формулой. Источник ее происхождения — православное мировоззрение. Среди субстанциальных православных свойств, отраженных в романе, на первое место, безусловно, выходит *соборность*, самым тесным образом связанная с догматом о Святой Троице — универсальная характеристика народа и личности [Есаулов].

Все любимые герои Толстого причастны соборности. Они в высшей степени индивидуальны и едины, насколько способны вместить в себя это свойство. Оставленную Москву автор сравнивает с «домиращим, обезматочившим» пчелиным ульем [Толстой; т. 5: 341]. «Роевая» философия Платона Каратаева происходит из начал соборности, хотя некоторые исследователи [Дунаев] считают иначе. Воплощением идеала соборности, орудием Божественного Провидения является гениально

созданный Толстым образ Кутузова — едва ли не лучший в романе. Другие любимые герои Толстого обретают или вырабатывают из себя должное (соборное начало) в процессе личного пути.

Монашески-мироотречный образ княжны Марьи, жаждущие правды Андрей и Пьер, лучшие представители «дурацкой ростовской породы» Николай и Наташа, как, собственно, и сам граф Илья; смиренные и кроткие Платон Каратаев, капитан Тушин, солдат Тимохин — во всех них проявляются свойства личности, выработанные православием. Платон умудряется даже «кругло» улыбаться. В этой метафоре улыбки отразилась православная теплота мирочувствия, округляющая все жесткие углы человеческих взаимоотношений.

Из православного корня у Толстого произрастает все скромное, незащитное, простое и незыблемое: любовь к родителям, к семье, к ближнему, прощение врагов, милость, благородство, великодушие, жертвенность, совесть. . . Все эти свойства коренятся в православной аскетической традиции возделывания в душе хриstopодобных качеств. Толстой сумел показать в художественном тексте мистический опыт «таинственного общения» человека с Богом. Молитва героя помогает писателю передать никому не видимую подлинную внутреннюю жизнь личности, все те же хриstopодражательные идеалы «простоты, добра и правды». У Толстого молятся Кутузов, княжна Марья, Наташа, Николай, Платон Каратаев, Пьер Безухов, даже Андрей Болконский. Молитва и богообщение — высшие духовные состояния героев, именно к ней, «а не к доводам разума прибегают все верующие толстовские герои (и думающие, и нерассуждающие) в самые высокие моменты своей жизни» [Можарова: 117]. Способность передать сокровенный опыт богообщения в художественном слове — редкое дарование. Но в русской классике оно повсеместно. И Толстой с его особой, по определению К. Н. Леонтьева, философией фатализма и филантропического пантеизма — тоже не исключение [Леонтьев].

В «Войне и мире» отражены разные типы русской святости: юродство (образы божьих людей), воинская доблесть на поле боя, мирское благочестие и подвижничество. Открывающаяся «петербургскими страницами» «Война и мир» — всецело «Московский роман». Тема противопоставления Петербурга

и Москвы в «Войне и мире» — одна из хорошо разработанных в критической литературе, но далеко не исчерпанных (см.: [Полтавец], [Иванова], [Лётин], [Ранчин]). Московская тема возникает именно в противовес петербургской. «Московиана» Толстого универсальна. Петербург как будто находится на другой планете, а из Москвы расходятся дороги во все концы вселенной, географической и инобытийной. Между Петербургом и Москвой (символом всей России) у Толстого проходит онтологическая граница. Весьма показательно, что, не упоминая ни одного петербургского православного храма, Толстой подробно изображает воздвижение масонского храма новыми приятелями-масонами Пьера: он-то и становится своеобразным *лжесимволом* Петербурга. Критически и иронически изображенное Толстым масонство — чужеродное национальному самосознанию явление, знак приверженности западной культуре.

В «Войне и мире» Толстой запечатлел образ *храмовой России*, отразив в романе главные храмы московской Руси, являющиеся ее сакральными символами. Тема *Святой Москвы* начинает проступать во втором томе в связи с бегством Пьера из Петербурга от изменницы-жены — в какой-то степени символизирующей и сам город, изменивший историческим идеалам Святой Руси. Автор подробно останавливается на влиянии московского ландшафта и нравов древней столицы на душу Пьера. После своей поездки по городу, во время которой он видит «Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами <...> площадь Кремлевскую...» [Толстой; т. 4: 303], перемещаясь от центра города к его периферии и наблюдая за московскими «стариками» и «старушками», Пьер ощущает, что вернулся домой.

Старики Толстого прекрасны и подобны старикам Рембрандта, находящимся в потоке света. «Старость», «дряблость», «ветхость», а с ними мудрость, естественность, доброта и детскость — любимые Толстым качества всех его идеальных «стариков»-мудрецов, любовно воплощенных им в романе. На вершине пантеона старцев у Толстого — историческая личность Кутузова, олицетворение вечной России, в художественном исполнении Толстого — библейский персонаж. На таковых нет закона: все, что ни сделает, — истинно. И сам

Пьер превращается в Москве в доживающего свой век старика-камергера, распознанного москвитями как свой. Иверская икона, как и Смоленская, — Путеводительницы. Они невидимо управляют путями любимых героев Толстого. Иверская икона — один из сакральных символов Москвы, «в окружении Иверской часовни располагается пантеон небесных покровителей Москвы», среди которых и преп. Сергей Радонежский [Лётин: 186]. Специально к Иверской тетушка Марья Дмитриевна Ахросимова везет Наташу и Соню, когда Ростовы приезжают к ней в гости. Тетушка приглашает Ростовых и к воскресной обедне в «свой приход Успения на Могильцах» [Толстой; т. 4: 346]. Несмотря на старания Марьи Дмитриевны, ее умение праздновать воскресные дни, Наташа остается безучастной к церковным впечатлениям в силу внутренних переживаний: неприезда Андрея, неудачного визита к Болконским и, напротив, чрезмерного интереса к ней семейства Курагиных.

Духовное отрезвление Наташи происходит, тем не менее, в связи с храмом, с появлением чувства покаяния в ее душе из-за разрыва с Болконским. В обращении Наташи к Богу особую роль сыграла «отрадинская соседка» Ростовых Аграфена Ивановна Белова, приехавшая в Москву после переезда туда Ростовых «поклониться московским угодникам» [Толстой; т. 5: 75]. Аграфена Ивановна вызывает в памяти образ Агафьи Власьевны — няни Лизы Калитиной, руководившей ею на пути к вере. И сами Наташины ранние вставания по утрам в церковь, и ее молитвы к Богу подобны подвигам и новым чувствам Лизы «перед великим, непостижимым» [Толстой; т. 5: 76]. «Дворянское гнездо» Тургенева Толстой словно подправляет «Русским гнездом» «Войны и мира». Вершиной духовного состояния Наташи становится воскресный день, в который она причащается. Наташа боится, что «не доживет до этого блаженного воскресенья» [Толстой; т. 5: 76]. Именно причастие приносит Наташе желанное спокойствие, а не «последние порошки», прописанные доктором, довольство собой которого иронически изображает автор.

Иначе Толстой оценивает православные богослужения. Как правило, с позиции «чужого», внешнего взгляда. Торжественная литургия в главном храме русских царей — *Успенском соборе*

Московского Кремля — с присутствующим на ней государем и последующей давкой изображается Толстым иронически.

Однако в связи с Бородинским сражением тема *Святой Москвы* у Толстого приобретает особое звучание: национально-освободительное и сакральное, что проявляется в эпизоде вручения ультимативного письма генералом-адъютантом его величества Балашевым. Перед разрывом, закончившимся оскорблением генерала, Наполеон заводит речь о святости Москвы, спрашивая у него о количестве церквей в русской столице. Узнав, что их «более двухсот», Наполеон выражает свое непонимание:

«К чему такая бездна церквей?» [Толстой; т. 5: 33].

Балашев деликатно и с достоинством парирует: «Русские очень набожны», однако у Наполеона свое объяснение этому явлению:

«...большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа...» [Толстой; т. 5: 33].

Балашев почтительно возражает Наполеону:

«У каждой страны свои нравы» [Толстой; т. 5: 33].

В качестве примера европейской страны, где, как и в России, «много церквей и монастырей», Балашев приводит Испанию, намекая «на недавнее поражение французов» в ней [Толстой; т. 5: 33]. В контексте этого показательного разговора наглядно проступает авторская мысль о цивилизационном столкновении Запада и России, ее отстаивании своего самобытного духовного пути. В высказываниях о церквях и монастырях Наполеон предстает как богоборец, отрекающийся от общего для обеих стран христианского наследия, выступая сознательно врагом православной России.

Вступив в Москву, Наполеон обозревает ее с Поклонной горы. Для Наполеона Москва — азиатский город, он сравнивает ее с «восточной красавицей», лежащей «перед ним» [Толстой; т. 5: 338]: «...вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца» [Толстой; т. 5: 339]. В восприятии Наполеона проявляется чувственное языческое начало. Взгляд автора противопоставлен наполеоновскому.

Он исключительно одухотворен, и в авторском описании делается акцент на *чудесной* недоступности Москвы, живущей *своей* отдельной *космической* жизнью [Толстой; т. 5: 338]. Наполеон смотрит на Москву сверху вниз, но Толстой поднимает ее еще выше, на недостижимую для завоевателя высоту, к солнцу, возвышая над ним.

Дважды в романе речь идет о соборе Василия Блаженного, мимо которого, оставляя Москву, проходят русские войска [Толстой; т. 5: 344–345]. Автор приковывает внимание читателя к пророческим крикам сумасшедшего, выпущенного из желтого дома:

«Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили меня камнями, распяли меня... Я воскресну... воскресну... воскресну» [Толстой; т. 5: 364].

Упоминание о знаменитом храме Василия Блаженного автор связывает с образом конкретного сумасшедшего, что способствует расширению храмового мотива и появлению идеи воскресения Москвы через ее гибель, соотнесенную с личностью Христа.

Одним из главных внутренних храмовых символов «Войны и мира» является Троице-Сергиева Лавра с ее основателем, «игуменом земли Русской» преп. Сергием Радонежским, предстающая перед читателем в начале четвертого тома. Путь Ростовых из Москвы лежит через Мытищи, Троицу и завершается Ярославлем, прообразуя троичный путь временного отступления из Москвы через исторические святыни Руси и возвращение в нее. Русский монастырь и у Толстого — хранитель Истины. В Мытищах Наташа встречается со смертельно раненым Андреем. Путь в Троицу через Мытищи выводит Ростовых на Троицкую дорогу. Близость Троицы словно обуславливает изменение умонастроения героев. В Мытищах Андрей обретает божеское чувство любви:

«Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета» [Толстой; т. 5: 400].

С внешней стороны Троица никак не выделена в повествовании. Описываются не лаврские соборы, не рака с преп. Сергием, а гостиница, где останавливается семейство Ростовых, причем

Наташа показательно не замечает отца-настоятеля, поднявшегося для благословения ей навстречу. Внимание настоятеля Троицы к Ростовым автор объясняет прагматическими причинами: они были «давнишними знакомыми и вкладчиками» отца-настоятеля [Толстой; т. 6: 35]. Поведение Наташи извинительно: она только что вышла «со взволнованным лицом» из комнаты Андрея и думает об одном: «Только бы он был жив» [Толстой; т. 6: 35]. Совет настоятеля «обратиться за помощью к Богу и Его угоднику» [Толстой; т. 6: 35] автор оценивает как проявление формализма. Вместе с тем жертвенная любовь Ростовых, гибель Пети, разоренье имения и прежней жизни являются отражением сюжета Троицы как воплощения божественной Любви.

Мотив куполов Новодевичьего монастыря неоднократно звучит в сюжете Пьера в плену, охватывающем три части. Монастырь словно участвует в жизни Пьера:

«Вблизи весело блестел купол Новодевичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест» [Толстой; т. 6: 40].

Монастырь является свидетелем и личного пути Пьера, и разоренья французами «русского гнезда» [Толстой; т. 6: 40], и казни ими военнопленных. Купола Новодевичьего монастыря являются символом-архетипом, пробуждая в находящемся в плену Пьере духовные силы, по сути, спасая его от гибели.

Разительным контрастом чувствам Пьера в следующей главе служит сцена, вызвавшая у русских пленных восклицания «ужаса и омерзения». Французы вымазали лицо мертвого человека сажей и поставили его «стоймя» у церковной ограды, у знаменитой церкви в Хамовниках, посвященной св. Николаю [Толстой; т. 6: 110–111]. Эпизоды глумления над верой, безжалостное отношение врагов России к побежденным — транслированы, ими пронизаны летописи, хроники, жития, воинские повести на всем протяжении русской словесности от самого ее основания. Любопытна эволюция «французов» в эпосе Толстого: от фехтовальщиков (олицетворение элитарной искусственности) до «бешеной собаки», «бегущего раненого животного». Против французской шпаги Толстой выставляет «дубину народной войны».

Среди других Никольских храмов в романе фигурируют арбатский храм Николы Явленного и собор в Можайске — «ключ от древнего Кремля» (см.: [Иванова: 20]; см. также: [Ранчин]). Вообще, соотнесенное с Никольскими храмами значение имени «Николай» в романе Толстого приобретает сакральное значение. В «Войне и мире» существенна сюжетная роль трех Николаев: Болконского-старшего, Николая Ростова и сына Болконского Николеньки — героя эпилога. Денисов носит на своей груди образ святителя Николая. В романе Толстого три Николая представляют собой три различных эпохи, также прообразуя идею Троицы.

Помимо храмов-символов не единожды в романе упоминаются различные храмы по всей России, являющиеся значимыми местами событий, а в связи с ними и церковные службы и священники, церковные таинства (крещение, отпевание, исповедь, причастие, венчание). В воронежском храме за богослужением Николай Ростов осознает свою любовь к княжне Марье, восхищается ее молитвой и сам молится. Одним из видов православного внехрамового богослужения является крестный ход — значимый православный субстанциональный символ, указывающий на соборную Россию. В «Войне и мире» крестный ход с образом Смоленской Божией Матери, в котором вместе со всеми участвует Кутузов, является чрезвычайным: совершается накануне судьбоносного Бородинского сражения. Толстой описывает его, как и почти любую церковную службу, тенденциозно [Толстой; т. 5: 203–205]. Авторская оценка не совпадает с чувствами изображаемого автором верующего народа, и в силу своей субъективности превращается в одну из многих, не претендующих на истину точек зрения. Искренне молятся ополченцы, военные, и внимание Пьера привлекают именно они, а не два сатирически изображенных генерала. Взгляд Пьера мягче, чем авторский, хотя и Пьер в этой народной среде ведет себя как наблюдатель, правда, доброжелательный, стремящийся к единению с народом:

«...все внимание его было поглощено серьезным выражением лиц» [Толстой; т. 5: 204].

А вот Кутузов — свой среди своих: солдат и ополченцев; он молится так же, как и они: просто, серьезно, искренне, по-детски [Толстой; т. 5: 206]. Молитва Кутузова и русской армии приуготовляет, несмотря на оставление ею позже Бородина, нравственную победу над врагом.

Рассмотрим последовательное развертывание православной картины мира в романе. Главная мысль первого тома движется по линии развития *от искусственности — к правде*. Символом искусственности, корпоративности, автоматизма, пошлости, гедонизма выступает Петербург с его салонной жизнью, ведущейся на французский манер. Первые страницы «Войны и мира» открываются аристократическим *suare* у Анны Павловны Шерер — воплощением всего искусственно-пошлого. Вечеринка у Курагина с ее культом опьянения и инфернальными играми смерти усугубляет линию искусственности параллелями с бесовскими оргиями. Противостоят этим европейским импортированным «праздникам» — именины Наташи у москвичей Ростовых, тихая цельная вера княжны Марьи Болконской, вера русских военачальников. Трогательно благословение Кутузовым на «великий подвиг» Багратиона:

«— Ну, князь, прощай, — сказал он Багратиону. — Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг» [Толстой; т. 3: 362].

Подлинное, доброе, тихое, искреннее, помнящее о Боге проявляется только здесь, крайне эпизодически и потому выделяется на общем фоне. Медальон со Спасителем — единственный иконический символ первого тома. Нет храмов, церковных служб, но есть теплота семейных связей, тихий внутренний мир и небо Аустерлица. Такова Россия Толстого до Бородина. Все подлинное — либо в семье, либо дальше от Петербурга, в среде апшеронцев, павлоградцев, среди Тушиных, Тимохиных, военных. Огромное значение имеет верность императору и любовь к нему Николая Ростова, хотя автор и считает государя недостойным этой любви. Иронический взгляд Толстого на восторженное поклонение Николая императору ничего не меняет. Любовь к императору Ростова разделяет Денисов, хотя и добродушно подшучивает над другом:

«Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца'я влюбился» [Толстой; т. 3: 472].

Подобная экзальтация, по Толстому, противоестественна и поэтому подготавливает катастрофу Аустерлица. Николай Ростова вместе с тем нельзя упрекнуть в корысти, его чувство к государю высоко и благородно. Любовь Ростова и армии к своему императору — залог устойчивости государственного организма [Анисимов].

Картина меняется во втором томе, открывающемся смертью и отпеванием «маленькой княгини» Лизы. События здесь развиваются под знаком **встреч и расставаний, поиска истины через ошибочные пути.**

Происходит встречное развитие пасхального и рождественского (святочного) архетипов. Умирает жена князя Андрея, но рождается их сын Николенька. Смерти героев чередуются с рождениями и рождения со смертями. Произвольный авторский вектор движения от Пасхи к Рождеству меняет свою траекторию независимо от авторской воли. Выбор Толстым Рождества, возможно, связан со страхом смерти, с идеей ее одоления не через трагедию Воскресения, а через счастье Рождества: Болконский у Толстого не воскресает, а рождается в жизнь вечную.

По частоте и значимости изображения православных праздников в «Войне и мире», казалось бы, доминирует Рождество Христово (десятая-двенадцатая главы второй и девятая-двенадцатая главы четвертой части второго тома). Но и в этом случае Толстой с особой симпатией изображает празднование Святков, делая акцент на неофициальной, народно-праздничной религиозности, противопоставляя ее официальной. Через Рождество Христово Толстой воплощает полноту физических и духовных сил народа, семейственности, а вместе с тем исторический поворот России к началам европейской жизни в ее земных формах, усвоение и одомашнивание западных архетипов. Пасха практически не изображается в «Войне и мире». Однако «кодом» этого романа, скорее всего, не осознаваемым и его автором, является все-таки *пасхальная идея — вечного обновления мира и души человеческой.*

За внешним планом названия романа выступают внутренние смыслы слов-антонимов: смерть и жизнь, миръ и мир, вражда и покой, зло и добро, ненависть и любовь. Вместе с автором каждый из героев Толстого пытается обрести евангельский Мир-Покой (εἰρήνη), противоположный Миру человеческому, страстному, Миру-Войне (κόσμος). Слово «мир» в названии романа, как известно, Толстой писал с восьмеричным «и». С благословением такого мира Христос обращается к своим ученикам: «Мир Мой даю вам» (Ин. 14:27); сравним и литургическое священническое благословение: «Мир всем» (Εἰρήνη πάσι). Не случайно князь Андрей перед своей смертью просит принести ему Евангелие.

Пасхальное разрешение конфликта между Россией и Европой символизирует сюжет по-христиански братского отношения Пети к французскому барабанщику Винсенту в последнем томе романа. Русские мужики и солдаты прозвали французского барабанщика «Висеней», а казаки — «Весенним», что косвенно ассоциируется с временем Пасхи:

«— Вам кого, сударь, надо? — сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика-француза, которого взяли нынче.

— А! Весеннего? — сказал казак» [Толстой; т. 6: 148–149].

Петя просит у Денисова позволения накормить его, и Денисов приказывает дать ему водки, баранины и одеть в русский кафтан, «не отсылая с пленными» [Толстой; т. 6: 149], то есть оставить в своей среде. Мотив переодевания мальчика-француза в «свои» одежды символизирует скорое завершение войны. Для Денисова, как и для солдат, он «жалкий мальчишка», «мальчонка», достойный снисхождения и милости. Пасхальное время угадывается в мотивах обновления природы и души Болконского. В третьем томе время движется от Троицы и Петровского поста к Успению, в четвертом — от Успения Богородицы вновь к Рождеству.

В первой части эпилога события приходятся на канун зимнего Николина дня. Завершение пасхального архетипа эпопеи в финале вновь возвращается к Рождеству: к новым героям, к новой эпохе, к повторению человечеством пройденного. В этом векторе движения, возможно, проявляется известное

тяготение Толстого в «Войне и мире» к счастливым концам. Он словно бессознательно для себя ориентируется на философию западного эвдемонизма — благополучие и счастье.

Сюжеты главных героев третьего тома развиваются под знаком **выздоровления, освобождения от заблуждений, восстановления связи с Богом**. Путь обретения истины героями романа лежит через принятие страданий. Главным событием третьего тома является Бородинское сражение, обескровившее русскую армию и повлекшее вслед за этим неизбежность жертвы ради будущей победы — оставление Москвы.

Духовно чуткой, наряду с княжной Марьей, оказывается Наташа, открывая в церкви возможность изменения себя к чистой и счастливой жизни. Встреча княжны Марьи и Николая происходит при катастрофических обстоятельствах. Счастье у Толстого не подвластно злу. Смертельное ранение князя Андрея приводит его к свиданию с Наташей, прощению ее и примирению с ней и Богом. Самый извилистый путь у Пьера. Единственный герой, не знающий извилистых путей, — Кутузов. Не случайно «детскость» гения Кутузова сопоставляется Толстым с детскостью шестилетней Малаши.

Развитие сюжетной линии в четвертом томе романа проходит под знаком **освобождения героев из плена физического и духовного, обретения ими божественного мира и любви**. Мотив Троицы продолжается здесь сюжетной линией остановки Ростовых в Лавре. Драматические события русской истории приходятся на осень с ее началом нового церковного года, Рождеством Богородицы и Воздвижением Креста Господня — праздниками, внутренне связанными с событиями романа. Основными мотивами этого тома являются жертвенная любовь героев романа ради обретения божественной любви, единение всех в своей вере. Примирение с евангельской правдой обретает и князь Андрей, без сожаления расставаясь с земным миром. Если для И. Концевича «смерть князя <...> не христианская» в силу близости Толстого буддизму, восточным религиям и Шопенгауэру [Концевич: 17], то для К. Н. Леонтьева — это «поэзия и правда»: «Предсмертные дни князя Андрея и самая смерть его <...> превосходят неизмеримо все, что в этом роде есть у графа Толстого» [Леонтьев]. Прав И. Концевич в том, что

«искать по-своему» Бога Толстого заставлял «страх смерти» [Концевич: 19].

Вторая часть четвертого тома «держится» образом «дряхлого», «слабого», но молящегося Кутузова, знаменуя первичность духа над телом. Толстой изображает Кутузова как «пассивного» полководца, сберегающего свою армию от напрасных жертв, но активного в общении с Богом. Он не позирует, молча едет «на своей серенькой лошадке, лениво отвечая на предложения атаковать» [Толстой; т. 6: 87], ожидая подходящего момента. Всю ответственность за временное оставление Москвы Кутузов берет на себя. Все это время вплоть до освобождения Москвы Кутузов словно пребывает в особом мире и состоянии, близком к юродству. Радостную весть об уходе Наполеона из Москвы Кутузову пересказывает Толь. Кутузов просит позвать поскорее Болховитинова, привезшего это долгожданное известие:

«Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

— Господи, Создатель мой! Внял ты молитве нашей... — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи! — И он заплакал» [Толстой; т. 6: 123].

Это высшая точка романа. Пафос благодарения Кутузовым Бога автор останавливает на его молитвенном плаче — благодатном виде молитвы. Важно, что Кутузов говорит не только о своей молитве, а об общей, соборной, «нашей». Образ Кутузова как военачальника является архетипическим, продолжением образов идеального благоверного князя и православного царя, реализующих качества воина и священника. Таковы в древнерусской литературе святые Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий Донской.

В первой части Эпилога разрешаются главные сюжетные линии. Это самая *свадебная часть* романа: брак Пьера и Наташи, Николая и Марьи. Мысль военная плавно перетекает здесь в мысль семейную, свидетельством чего является Дневник Марьи о воспитании. Проблематика открытого повествования

эпопеи трансформируется в жанры «закрытого» нарратива. Старое поколение (граф Ростов) уходит, на смену ему приходит новое и выбирает для себя свои авторитеты. Для сына Болконского идеалом становится Пьер Безухов, олицетворяющий пафос необходимости будущего преобразования России. Именно в связи с Пьером в эпилоге возникает вопрос о государстве, о роли тайных обществ. Идиллия обретенного мира разрушается. В дружной семье намечается линия будущего раскола: между Николаем и Пьером. Николай Ростов на протяжении всего романа сохраняет мировоззренческую твердость и устойчивость, его ценности не меняются: «...далеко не Ростов был зачинщиком конфликта в эпилоге "Войны и мира"» [Гулин: 60]. В *миру* постоянно сохранять свойство любви можно только в состоянии святости, пребывая в Христовом *мире*, поэтому завершение романа намеком на будущий конфликт естественно и правдоподобно. Человечество в реальной истории постоянно движется от войны к миру; в апокалиптической — от войны к войне.

Вторая часть Эпилога — свидетельство перетекания художественной литературы в историсофскую, публицистическую; отмена художественности и выход за границы жанра. Вместо Промысла Божьего Толстой предлагает Закон необходимости, что представляет собой рационализацию идеи провиденциализма в истории. Рационалистичность, подчеркнутая субъективность авторской точки зрения в романе автоматически превращает ее в одну из многих, далеко не всегда истинных. В древнерусской литературе автор — передатчик Божественного Откровения, в литературе Нового времени этот принцип меняется, и «авторство» Толстого является ярчайшим свидетельством этого изменения, заявляющего о себе как единоличном распорядителе своего произведения. Стремление автора стать единственным «законником» в повествовании приводит к обратному: превращению его в один из «голосов» романа. Авторская точка зрения раздваивается на сознательно-рациональную и архетипически-бессознательную. Бессознательное начало по неведомым законам провиденциализма включает в себя и авторскую субъективность, подчиняя ее воле Творца. Авторский образ Толстого подобен образу

старика Болконского, говорящего «Бог тут ни при чем», тиранствующего над дочерью и лишь на смертном одре вдруг проявляющего свою любовь к ней, а тем самым и веру, скрываемые им на протяжении всей жизни.

Вместе с тем даже отказываясь от позиции «внутринаходимости» при изображении православных таинств и символов, постоянно подчеркивая свой личный особый взгляд на все события и явления, нередко весьма критический, Толстой сумел с нескрываемой теплотой передать веру православной России как главный источник ее красоты, силы и истины. Рецепция православного подтекста романа «Война и мир» тому явное свидетельство.

Список литературы

1. Анисимов П. Д. Николай Ростов в системе героев «Войны и мира» Л. Н. Толстого // «Война и мир» Л. Н. Толстого: духовные константы и социальные переменные отечественной истории: мат-лы XVI Барышниковских чтений (Липецк, 24–25 октября 2019 г.). Липецк: ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. С. 14–20 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41253268_15539529.pdf (20.03.2025). EDN: MXPTVN
2. Бердяев Н. А. Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/b/berdjaew_n_a/text_1911_o_relig_soznanii.shtml (20.03.2025).
3. Бердяев Н. А. Л. Толстой [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/b/berdjaew_n_a/text_1912_tolstoy.shtml (20.03.2025).
4. Гулин А. В. Роман-эпопея «Война и мир» как религиозно-поэтическое единство // Л. Н. Толстой: нравственный поиск и творческая лаборатория. М.: ИМЛИ РАН, 2021. С. 14–65. DOI: 10.22455/LT-978-5-9208-0664-2-14-65. EDN: EWVQSI
5. Дунаев М. М. Л. Н. Толстой // Дунаев М. М. Православие и русская литература: [в 6 ч.]. М.: Христианская литература, 2003. Ч. 4. С. 3–395.
6. Есаулов И. А. Идея соборности в романе Толстого «Война и мир» // Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. С. 83–116.
7. Иванова Е. В. Образ Никольского собора в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» // Наука и школа. 2019. № 3. С. 19–22 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_38512554_54385812.pdf (20.03.2025). EDN: GIWSLF
8. Концевич И. М. Истоки душевной катастрофы Л. Н. Толстого. Мюнхен: Тип. обители преп. Иова Почаевского, 1960. 106 с.

9. Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. (Критический этюд) [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/leontxew_k_n/text_0130oldorfo.shtml (20.03.2025).
10. Лётин В. А. Terra Moskovia: город как родовое пространство в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» // Ярославский педагогический вестник. 2010. Т. 1. № 2. С. 182–186 [Электронный ресурс]. URL: https://vestnik.uspu.org/releases/2010_2ag/37.pdf (20.03.2025). EDN: MVMBUD
11. Линков В. Я. «Война и мир» Л. Толстого. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 103 с. EDN: RBBMDZ
12. Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.: Республика, 1995. 622 с. (Сер.: Прошлое и настоящее.)
13. Можарова М. А. Тема веры и разума в «Войне и мире» и учение И. В. Киреевского о цельности духа // Толстой и о Толстом. Материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2009. Вып. 3. С. 94–120. EDN: YLGUQH
14. Мосалева Г. В. Храмовая поэтика метаромана И. А. Гончарова // Два века русской классики. 2021. Т. 3. № 3. С. 84–103 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/images/2021-3-3/05_Mosaleva_84-103.pdf (20.03.2025). DOI: 10.22455/2686-7494-2021-3-3-84-103. EDN: VQJKNP
15. Мосалева Г. В. Храмово-литургический канон в древней русской словесности: истоки и развитие // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2023. Т. 33. № 2. С. 326–334 [Электронный ресурс]. URL: <https://journals.udsu.ru/history-philology/article/view/8170/7036> (20.03.2025). DOI: 10.35634/2412-9534-2023-33-2-326-334. EDN: KKOVCW
16. Полтавец Е. Ю. Мифология Москвы в «Войне и мире» Л. Н. Толстого // Вестник государственного гуманитарно-технологического университета. 2021. № 3. С. 137–145 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_46651734_49614999.pdf (20.03.2025). EDN: IQDXYR
17. Ранчин А. М. Символика в «Войне и мире». Из опыта комментирования // Литература. 2005. № 17. С. 34–40.
18. Страхов Н. Н. Л. Н. Толстой // Страхов Н. Н. Критические статьи о И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. Репр. воспроизведение изд. 1895 г. Ижевск: Удмуртский ун-т, 2011. С. 183–484.
19. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 12 т. / [под общ. ред. С. А. Макашина и Л. Д. Опульской]. М.: Правда, 1987. (Сер.: Библиотека «Огонек». Отечественная классика.)
20. Striedter J. Feste des Friedens und Feste des Krieges in “Krieg und Frieden” // Das Fest / herausgegeben von Walter Haug und Rainer Warning. München: Wilhelm Fink Verlag, 1989. S. 375–418. (Ser.: Poetik und Hermeneutik 14.)

References

1. Anisimov P. D. Nikolai Rostov in the System of Heroes of “War and Peace” by Leo Tolstoy. In: *“Voyna i mir” L. N. Tolstogo: dukhovnye konstanty i sotsial’nye peremennye otechestvennoy istorii: materialy XVI Baryshnikovskikh chteniy (Lipetsk, 24–25 oktyabrya 2019 g.)* [Leo Tolstoy’ “War and Peace”:

- Spiritual Constants and Social Variables of Russian History: Proceedings of the 16th Baryshnikov Readings (Lipetsk, October 24–25, 2019)*. Lipetsk, Lipetsk State Pedagogical University Named After P. P. Semenov-Tyan-Shansky Publ., 2019, pp. 14–20. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_41253268_15539529.pdf (accessed on March 20, 2025). EDN: MXPTVN (In Russ.)
2. Berdyaev N. A. *Vetkhii i Novyy Zavet v religioznom soznanii L. Tolstogo* [*The Old and New Testaments in the Religious Consciousness of Leo Tolstoy*]. Available at: http://az.lib.ru/b/berdjaew_n_a/text_1911_o_relig_soznanii.shtml (accessed on March 20, 2025). (In Russ.)
 3. Berdyaev N. A. *L. Tolstoy*. Available at: http://az.lib.ru/b/berdjaew_n_a/text_1912_tolstoy.shtml (accessed on March 20, 2025). (In Russ.)
 4. Gulin A. V. The Epic Novel “War and Peace” as a Religious and Poetic Unity. In: *L. N. Tolstoy: нравственный поиск и творческая лаборатория* [*Leo Tolstoy: Moral Search and Creative Laboratory*]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2021, pp. 14–65. DOI: 10.22455/LT-978-5-9208-0664-2-14-65. EDN: EWVQSI (In Russ.)
 5. Dunaev M. M. L. N. Tolstoy. In: *Dunaev M. M. Pravoslavie i russkaya literatura: v 6 chastyakh* [*Dunaev M. M. Orthodoxy and Russian Literature: in 6 Parts*]. Moscow, Khristianskaya literatura Publ., 2003, part 4, pp. 3–395. (In Russ.)
 6. Esaulov I. A. The Idea of Sobornost’ (Unity) in Tolstoy’s Novel “War and Peace”. In: *Esaulov I. A. Kategoriya sobornosti v russkoy literature* [*Esaulov I. A. The Category of Sobornost’ in Russian Literature*]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1995, pp. 83–116. (In Russ.)
 7. Ivanova E. V. The Image of St. Nicholas Cathedral in L. N. Tolstoy’s Novel “War and Peace”. In: *Nauka i shkola* [*Science and School*], 2019, no. 3, pp. 19–22. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_38512554_54385812.pdf (accessed on March 20, 2025). EDN: GIWSLF (In Russ.)
 8. Kontsevich I. M. *Istoki dushevnoy katastrofy L. N. Tolstogo* [*The Spiritual Tragedy of Leo Tolstoy*]. Munich, Printing House of the Monasteries of St. Job of Pochaev Publ., 1960. 106 p. (In Russ.)
 9. Leont’ev K. N. *O romanakh grafa L. N. Tolstogo. Analiz, stil’ i veyanie. (Kriticheskiy etyud)* [*About the Novels of Leo Tolstoy. Analysis, Style and Trend. (Critical Study)*]. Available at: http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0130oldorfo.shtml (accessed on March 20, 2025). (In Russ.)
 10. Lyotin V. A. Terra Moskovia: a City as a Patrimonial Space in L. N. Tolstoy’s Novel “War and Peace”. In: *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik* [*Yaroslav Pedagogical Bulletin*], 2010, vol. 1, no. 2, pp. 182–186. Available at: https://vestnik.yspu.org/releases/2010_2ag/37.pdf (accessed on March 20, 2025). EDN: MVMBUD (In Russ.)
 11. Linkov V. Ya. “*Voyna i mir*” L. Tolstogo [*“War and Peace” by Leo Tolstoy*]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Publ., 2003. 103 p. EDN: RBBMDZ (In Russ.)

12. Merezhkovskiy D. S. L. *Tolstoy i Dostoevskiy. Vechnye sputniki* [L. Tolstoy and Dostoevsky. *Eternal Companions*]. Moscow, Respublika Publ., 1995. 622 p. (Ser.: Past and Present.) (In Russ.)
13. Mozharova M. A. The Theme of Faith and Reason in “War and Peace” and I. V. Kireevsky’s Teaching on the Wholeness of the Spirit. In: *Tolstoy i o Tolstom. Materialy i issledovaniya* [Tolstoy and About Tolstoy. *Materials and Researches*]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2009, issue 3, pp. 94–120. EDN: YLGUQH (In Russ.)
14. Mosaleva G. V. Temple-Related Poetics of Goncharov’s Meta-Novel. In: *Dva veka russkoy klassiki* [Two Centuries of Russian Classics], 2021, vol. 3, no. 3. pp. 84–103. Available at: https://rusklassika.ru/images/2021-3-3/05_Mosaleva_84-103.pdf (accessed on March 20, 2025). DOI: 10.22455/2686-7494-2021-3-3-84-103. EDN: VQJKNP (In Russ.)
15. Mosaleva G. V. Temple and Liturgic Canon in Old Russian Literature: Origin and Development. In: *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Ser.: Istoriya i filologiya* [Bulletin of the Udmurt University. Ser.: History and Philology], 2023, vol. 33, no. 2, pp. 326–334. Available at: <https://journals.udsu.ru/history-philology/article/view/8170/7036> (accessed on March 20, 2025). DOI: 10.35634/2412-9534-2023-33-2-326-334. EDN: KKOVC (In Russ.)
16. Poltavets E. Yu. The Mythology of Moscow in “War and Peace” by L. N. Tolstoy. In: *Vestnik gosudarstvennogo gumanitarno-tekhnologicheskogo universiteta* [Vestnik of State University of Humanities and Technology], 2021, no. 3, pp. 137–145. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_46651734_49614999.pdf (accessed on March 20, 2025). EDN: IQDXYR (In Russ.)
17. Ranchin A. M. Symbolism in “War and Peace”. From the Experience of Commenting. In: *Literatura*, 2005, no. 17, pp. 34–40. (In Russ.)
18. Strakhov N. N. L. N. Tolstoy. In: *Strakhov N. N. Kriticheskie stat’i o I. S. Turgeneve i L. N. Tolstom. Reprintnoe vosproizvedenie izdaniya 1895 g.* [Strakhov N. N. *Critical Articles on I. S. Turgenev and L. N. Tolstoy. Reprint of the 1895 Edition*]. Izhevsk, Udmurt State University, 2011, pp. 183–484. (In Russ.)
19. Tolstoy L. N. *Sobranie sochineniy: v 12 tomakh* [Tolstoy L. N. *The Collected Works: in 12 Vols*]. Moscow, Pravda Publ., 1987. (Ser.: Biblioteka “Ogonek”. Otechestvennaya klassika.) (In Russ.)
20. Striedter J. Feste des Friedens und Feste des Krieges in “Krieg und Frieden” [Festivals of Peace and Festivals of War in “War and Peace”]. In: *Das Fest [Holiday]*. München, Wilhelm Fink Verlag Publ., 1989, pp. 375–418. (Ser.: Poetics and Hermeneutics 14.) (In German)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Мосалева Галина Владимировна, *Galina V. Mosaleva*, PhD (Philology), Professor of the Department of History of Russian Literature and Literary Theory, Udmurt State University (ул. Университетская 1/2, Izhevsk, 426034, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5342-7305>; e-mail: mosalevagv@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 25.05.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 20.07.2025

Принята к публикации / Accepted 25.07.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16002

EDN: ВУНМУР



Гимнастика в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого и «Бесах» Ф. М. Достоевского: тело, движение, упражнение

М. Н. Волвенкин

*Воронежский государственный университет
Воронежский государственный лесотехнический университет
им. Г. Ф. Морозова
(г. Воронеж, Российская Федерация)*

e-mail: mvolvenkin@mail.ru

Аннотация. В русской литературе второй половины XIX в. в связи с ростом популярности гимнастики в обществе и распространением гимнастического дискурса нередко встречаются герои-гимнасты. Одним из них является герой «Бесов» Ф. М. Достоевского — Кириллов, гимнастические экзерциции которого на первый взгляд противоречат логике его суждений. Статья посвящена анализу этой телесной практики в романе, основанном на сопоставлении образа Кириллова с Левиным — пожалуй, самым известным героем в русской классической литературе, увлеченным гимнастикой. Между этими героями кроме самой гимнастики существуют еще две важнейшие точки пересечения, позволяющие выделить и разграничить их модели, — это нарушения в речи и тесно связанные с ними суицидальные мысли. Модель гимнаста Левина можно представить в виде оппозиции полей жизни и смерти, видимыми проявлениями которых являются, соответственно, тело и речь. При этом телесная деятельность соотносится с порядком, а речь — с хаосом. В «Бесах» создается иллюзия такой оппозиции, но за ней просматривается совершенно иная логика. Тело и речь в модели гимнаста Кириллова связаны миметически. Главным атрибутом гимнастических занятий этого героя является мяч, необходимый для «укрепления спины». Однако эта необходимость не имеет никакого отношения к телу: ее исток находится в гордыне героя. Кроме того, возникающая в тексте ассоциация между мячом и планетой позволяет интерпретировать гимнастические упражнения Кириллова как проекцию роли Бога. В финале статьи подчеркнута взаимосвязь обеих моделей со спецификой «нового проекта» гимнастики.

Ключевые слова: гимнастика, тело, речь, мимесис, действие, хаос, порядок, упражнение, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 24-18-00762 «Классики русской литературы второй половины XIX века: биографические "пересечения", критическая рецепция и интертекстуальные связи», <https://rscf.ru/project/24-18-00762/> ИРЛИ РАН).

Для цитирования: Волвенкин М. Н. Гимнастика в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого и «Бесах» Ф. М. Достоевского: тело, движение, упражнение // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 265–281. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16002. EDN: BUHMYP

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16002

EDN: BUHMYP

Gymnastics in “Anna Karenina” by L. N. Tolstoy and “Demons” by F. M. Dostoevsky: Body, Movement, Exercise

Mikhail N. Volvenkin

Voronezh State University

*Voronezh State Forest Engineering University Named After G. F. Morozov
(Voronezh, Russian Federation)*

e-mail: mvolvenkin@mail.ru

Abstract. With the growing popularity of gymnastics in society and the spread of gymnastic discourse, gymnast heroes characters frequently appear in Russian literature of the second half of the 19th century. One of them is Kirillov, the protagonist of Fyodor Dostoevsky’s “Demons,” whose gymnastic exercises at first glance seem to contradict the logic of his thinking. The article is devoted to the analysis of this bodily practice in the novel and based on the comparison of Kirillov with Levin, perhaps the most famous character in Russian classical literature who is passionate about gymnastics. Besides gymnastics itself, two other key junctions exist between these characters, which allow us to identify and differentiate their models: speech disorders and suicidal ideation, which is closely related to the former. Levin’s model of the gymnast can be considered an opposition between the spheres of life and death, whose visible manifestations are the body and speech, respectively. In this context, bodily activity is associated with order, and speech — with chaos. In “Demons,” the illusion of such an opposition is created, but a completely different logic is discernible behind it. Body and speech in the models of the gymnast Kirillov have a mimetic appearance. The main attribute of this character’s gymnastics is a ball, required for “strengthening the back.” However, this need has nothing to do with the body: it stems from pride. Furthermore, the association between the ball and the “planet” that emerges in the text allows Kirillov’s gymnastic exercises to be interpreted as a projection of the role of God. The article concludes by emphasizing the connection between both models and the specific nature of the “new project” of gymnastics.

Keywords: gymnastics, body, speech, mimesis, action, chaos, order, exercise, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky

Acknowledgments. The research was carried with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF, project number 24-18-00762, <https://rscf.ru/project/24-18-00762/> The Institute of Russian Literature (Pushkinskiy Dom) of the Russian Academy of Sciences).

For citation: Volvenkin M. N. Gymnastics in “Anna Karenina” by L. N. Tolstoy and “Demons” by F. M. Dostoevsky: Body, Movement, Exercise. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics], 2025, vol. 23, no. 4, pp. 265–281. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16002. EDN: BUHMYP (In Russ.)

Гимнастика как особая телесная практика берет истоки еще в Античности. Однако с конца XVIII и почти весь XIX в. она получает новое теоретическое наполнение. Многие виды гимнастических упражнений остаются в культурной памяти, однако сам взгляд на тело заметно меняется. Основной чертой «нового проекта» гимнастики становится пристальное внимание к движению: врачи в многочисленных гимнастических пособиях и специальных исследованиях концентрируются на анализе механики тела [Вигарелло, Холт]. В течение XIX в. в Европе наблюдался рост интереса к этой телесной практике, что нашло свое отражение, в частности, в художественной литературе¹.

В «Бесах» Ф. М. Достоевского среди немногочисленных занятий, которым Кириллов уделяет свое время и внимание, особое место занимает гимнастика. Впрочем, в романе есть всего два упоминания об этом. Первое (косвенное) появляется после того, как Николай Всеволодович, явившийся к Кириллову с просьбой быть секундантом, случайно застаёт его за игрой в мяч с полуторагодовалой девочкой: последний поясняет, что мяч привезен им из Гамбурга и нужен для «укрепления спины». В другой раз уже Петр Степанович, пришедший напомнить Кириллову об обещании, становится случайным свидетелем его гимнастических экзерциций. При этом какие-либо черты во внешнем облике героя, в его поведении не позволяют предположить в нем склонности к регулярному выполнению физических упражнений. Судя по всему, в некотором удивлении находится и сам Верховенский:

¹ О гимнастическом дискурсе в русской литературе XIX в. см.: [Волвенкин].

«— Вы, однако ж, о здоровье своем сильно заботитесь, — проговорил он громко и весело, входя в комнату; — какой славный, однако же, мяч, фу, как отскакивает; он тоже для гимнастики?» [Достоевский; т. 10: 319].

Верховенский же подсказывает одну из возможных трактовок вышеуказанной черты Кириллова: он потому занимается гимнастикой, что не принял еще решение лишить себя жизни. Гимнастика, по этой логике, подчеркивает в нем стремление укрепить здоровье, которое явно не согласуется с мыслью о самоубийстве. Впрочем, на внутреннюю противоречивость героя, хотя и проявляющуюся уже в другом плане, указывает и Ставрогин, заметивший в комнате у Кириллова горящую лампадку:

«— Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в Бога веруете...» [Достоевский; т. 10: 207].

Действия Кириллова в обоих случаях не согласуются с его идеями, они раскрывают их противоречия.

А. Камю в «Мифе о Сизифе» (1942) также обращает внимание на человеческое в этом стремящемся занять место Бога герое:

«Важно прежде всего отметить, что человек, выступающий со столь безумными притязаниями, вполне от мира сего. *Каждое утро он занимается гимнастикой, поддерживая здоровье.* Он радуется, что к Шатову вернулась жена. На листке, который найдут после его смерти, ему хочется нарисовать "рожу с высунутым языком". Он ребячлив и гневлив, страстен, методичен и чувствителен. *От сверхчеловека у него только логика, только навязчивая идея; от человека — весь остальной набор чувств*» (курсив наш. — М. В.)².

С точки зрения философа-экзистенциалиста, это расхождение между логикой рассуждения и поведением Кириллова не раскрывает его безумие, а наталкивает на иное понимание его притязаний. Это абсурдный герой, который не стремится в буквальном смысле стать Богом, а постулирует отсутствие метафизики в мире и одновременно наличие в человеке своеволия.

² Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / пер. с фр. И. Я. Волевич и др. М.: Политиздат, 1990. С. 82–83. (Сер.: Мыслители XX века.)

И все же эти рассуждения не избавляют от некоторых принципиальных вопросов. Во-первых, противоречивость Кириллова осознается только со стороны. Когда Ставрогин и Верховенский приходят к нему, они обращают внимание и даже указывают на «несвойственное» герою поведение. Однако Кириллов, претендующий на роль «человекобога» и застигнутый за вполне человеческими занятиями, нисколько не теряется и даже, как отмечает хроникер, не удивляется:

«— Ставрогин? — сказал Кириллов, приподымаясь с полу с мячом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту, — хотите чаю?» [Достоевский; т. 10: 202].

Без особого смущения (только с недоброжелательностью, которая связана не с ситуацией, а с отношением к вошедшему) он реагирует на процитированную выше реплику Верховенского, «с минуту» наблюдавшего за его действиями:

«Кириллов надел сюртук.

— Да, тоже для здоровья, — пробормотал он сухо, — садитесь» [Достоевский; т. 10: 319].

Во-вторых, Достоевский наделяет Кириллова таким гимнастическим атрибутом, как мяч. Нужно отметить, что он совершенно не типичен для самых распространенных гимнастических систем XIX в.: французской (военной, «практической»), немецкой (педагогической) и шведской (врачебной). Этот предмет не только объединяет рассматриваемые нами эпизоды, но благодаря ему открывается ретроспектива: упражнения вошли в жизнь героя во время его пребывания за границей. Однако гимнаст с мячом — совершенно нетипичный образ для XIX в. Гимнастика в этом столетии переживает этап обновления, развиваются новые методы и подходы, но даже в тех гимнастических системах, где «свободные движения» оттеснены на периферию, а упражнения с использованием различных вспомогательных средств (напр., брусья, горизонтальный шест, балансовая мачта, различные виды лестниц, поперечная перекладина, гимнастический козел и гимнастический конь, железная гирия и т. д.) составляют их основу, мяч практически не используется. Он имеет место в играх, но сами игры не являются главным инструментом в физическом воспитании, как

оно понималось в рамках гимнастики, а являются некоторым его дополнением³.

Кириллов оказывается гимнастом неожиданно для читателя и других героев. Левин же при первом появлении на страницах «Анны Карениной» охарактеризован Облонским так:

«— Ах да, позвольте вас познакомиться, — сказал он. — Мои товарищи: Филипп Иванович Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, — и обратившись к Левину: — земский деятель, новый, земский человек, *гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов*, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Ивановича Кознышева» (курсив наш. — М. В.) [Толстой; т. 18: 21].

Кроме того, в этом представлении содержится указание на распространенный гимнастический атрибут — позволяющие развивать силу рук две пудовые гири, которые стоят в его кабинете. Заметим, что упражнения с гирями (хотя и не только с ними) дают результат, что отражается в теле Левина. Например, на обеде у Облонского он демонстрирует гостям свой бицепс:

«Левин улыбнулся, напряжил руку, и под пальцами Степана Аркадьича, *как круглый сыр, поднялся стальной бугор* из-под тонкого сукна сюртука» (курсив наш. — М. В.) [Толстой; т. 18: 404].

Помимо самих гимнастических упражнений, пусть и разных, выполняемых для здоровья — «укрепления спины» и развития силы, между героями есть еще две точки пересечения, тесно связанные с их увлечением гимнастикой и представляющие собой своеобразный смысловой комплекс.

Левин, вбежавший в одно из московских присутствий, в социальном плане разительно выделяется на фоне остальных посетителей этого учреждения. Его внимание «поглощают», даже вызывают ненависть руки Гриневича, «с такими белыми длинными пальцами, с такими длинными, желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими

³ Подробнее о европейских гимнастических системах, а также о преподавании гимнастики в Европе второй половины XIX в. можно узнать в обширном научном отчете русского ученого и педагога П. Ф. Лесгафта «Приготовление учителей гимнастики в государствах Западной Европы (извлечения)». См.: Лесгафт П. Ф. Собрание педагогических сочинений. М.: Физкультура и спорт, 1953. Т. 4. С. 107–197.

запонками на рубашке» [Толстой; т. 18: 21], а сам он привлекает внимание, судя по репликам Облонского, своими мускулами и свежестью, «как у двенадцатилетней девочки» [Толстой; т. 18: 23].

Кроме того, специфичной оказывается речь героя. На вопрос о причинах прекращения своего участия в земской деятельности Левин начинает отвечать:

«— Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, — сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. — Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может...» [Толстой; т. 18: 21].

Примечательно здесь не только нарушение логики высказывания, которое должно состояться не сейчас, а «когда-нибудь», но и эмоциональная окраска: он говорит так, «как будто кто-то сейчас обидел его», «как будто кто-нибудь из присутствующих оспаривал его мнение» [Толстой; т. 18: 21, 22]. Эта речевая особенность еще отчетливее проявляется, например, в его споре с Кознышевым о «земском деле»: Левин сначала неохотно высказывает свои взгляды на пользу школ, медицинских пунктов и аптек для крестьян, но под влиянием настойчивых доводов брата постепенно «горячится» и об общей философской истине — личном счастье как двигателе всех человеческих действий — говорит так, «как будто прорвало плотину его слов», постоянно перескакивая при этом в своем рассуждении «к совершенно нейдущему к делу» [Толстой; т. 18: 260, 261].

Итак, слова Левина в этих примерах вдруг выходят из-под контроля, стихийно стремясь соответствовать хаотичному движению мысли, нарушают логический порядок высказывания, следствием чего является непонимание. Заметим, что они не только не выражают мысли, но и не передают ощущения:

«Константин Левин не любил говорить и слушать про красоту природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел» [Толстой; т. 18: 255].

Похожие затруднения — несоответствие слова и мысли — испытывал и сам Л. Н. Толстой на раннем этапе своего творческого пути, о чем писал еще Б. М. Эйхенбаум в работе «Молодой Толстой» (1922) [Эйхенбаум: 58–60].

О. Сливацкая в книге «"Истина в движеньи". О человеке в мире Л. Толстого» приводит интересное наблюдение: «Портрета у Левина нет — ни экспозиционного, ни лейтмотивного. Существует лишь некоторое общее впечатление от него: он сильный, мужественный, умный, застенчивый, некрасивый, — в собственных глазах, а в глазах других, по-своему привлекательный. Внутреннее у Левина — и это доминанта его личности — духовные поиски, носящие, как и у Толстого, самый общий и тем самым жгуче личный характер». Если оно верно, то причина рассматриваемой нами выше речевой особенности Левина кроется в находящейся «в глубинах его смятенного сознания» [Сливацкая: 415] авторской точке зрения, с которой он виден читателю: авторская интенция приводит здесь к дисгармонии внутреннего и внешнего, проявляющейся в невозможности адекватного выражения мысли словами.

И все же Левин присутствует в пространстве романа не только как «смятенное сознание», но и как тело. Более того, оно не просто производит некоторое «впечатление», но проявляется рельефно. Мускулы Левина, а вместе с ними его быстрые и легкие движения отчетливо видны со стороны и являются его яркой индивидуальной чертой. С одной стороны, порой нелогичная речь, а с другой — структурированное тело.

Похожей речевой особенностью обладает и Кириллов. Уже при первом описании этого героя ей уделяется значительное внимание:

«Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее» [Достоевский; т. 10: 80].

Его речь тоже временами теряет структуру, но выражается это иначе: если у Левина слова словно выходят из-под контроля в стремлении «догнать» мысль, то у Кириллова они скорее распадаются, он не может совладать с ними, но в другом плане — ему иной раз тяжело словно из пустоты нащупать мысль. Так же тяжело понять мысль другого. Например, рассуждение Николая Всеволодовича о самоубийстве как способе избавиться от стыда и позора, проиллюстрированное им примером с осуждением

жителями Луны человека, совершившего там «смешные пакости» и переселившегося на планету, вызывает у Кириллова совершенное непонимание:

«— Не знаю, — ответил Кириллов, — я на луне не был, — прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта» [Достоевский; т. 10: 205].

Слова Верховенского сводятся до прямого значения, что лишает их всякого смысла.

Однако если в случае с Левиным наблюдается оппозиция беспорядочной речи и упорядоченного тела, то в случае с Кирилловым — только иллюзия оппозиции. Последний, несмотря на занятия гимнастикой, соматически почти никак не выделяется среди других героев «Бесов». Более того, в его образе жизни практически отсутствует всякое движение: он редко покидает комнату, в которой он «живет и пьет чай» [Достоевский; т. 10: 201], размышляя о своей «большой идее». Если Левин тяжело переносит бездействие, то для Кириллова нет никакой проблемы пролежать на полу четыре месяца.

Еще одна точка пересечения — мысли о самоубийстве. Конечно, их логика у Левина и Кириллова кардинально отличается. Но здесь нас интересует само их наличие, а также связь с особенностями речи героев и гимнастикой. Вид тяжело больного брата сводит для Левина все к «одному концу»:

«Я работаю, я хочу сделать что-то, а я и забыл, что всё кончится, что — смерть» [Толстой; т. 18: 368].

Теперь все его и без того нелегкие поиски сталкиваются с проблемой брэнности человека, становясь и вовсе мучительными, доводя героя до отчаяния и близости к самоубийству. Однако заметим, что эта проблема все-таки занимает Левина практически с самого начала романа. Приехав в Москву, чтобы сделать предложение Кити, он останавливается у Кознышева и случайно становится свидетелем разговора брата с «известным профессором философии» о границе между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека. Левин прерывает этот диалог самым главным, как ему кажется, вопросом:

«Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть?» [Толстой; т. 18: 28].

Сама идея смерти для Левина травматична, она полностью разрушает стройный порядок его физической деятельности. Мысль о самоубийстве словно продолжает логику периодически теряющей контроль речи Левина. Можно сказать, что они соотносятся друг с другом как центр и периферия. Это отчасти напоминает размышления Ж. Лакана и С. Жижека о «символическом порядке», уничтожающем живое: «...смерть сама по себе представляет собой символический порядок, структуру, которая, подобно паразиту, подчиняет себе живое существо» [Жижек: 163]. Только у Толстого «символический порядок» скорее является «символическим хаосом».

После отказа Кити и встречи с братом Николаем Левин поднимает гири, чтобы «привести себя в состояние бодрости». По окончании спора с Кознышевым о личном счастье как двигателе всех человеческих действий он, чувствуя необходимость в физическом движении, идет косить луг. И, наконец, боясь совершить суицид, только больше занимается делами в деревне. Тело в этих случаях всегда работает как противовес. Когда мысли и рассуждения заводят Левина в тупик, тело его спасает:

«Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже *не руки махали косой, а сама коса двигала за собой всё сознающее себя, полное жизни тело*, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой» (курсив наш. — М. В.) [Толстой; т. 18: 267];

«Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаянье; но когда он переставал спрашивать себя об этом, он как будто знал и что он такое и для чего он живет, *потому что твердо и определенно действовал и жил; даже в это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде*» (курсив наш. — М. В.) [Толстой; т. 19: 371].

Как бы это ни было парадоксально, тело подвержено разрушению, но оно не знает хаоса смерти и даже обладает способностью восстанавливать порядок жизни. Здесь уместно вспомнить, как относятся к смерти и телесным страданиям

«простые» герои произведений Толстого. К примеру, в рассказе «Севастополь в декабре месяце» (1855) один из солдат, лишившийся ноги в бою, поведав о пережитом, заключает:

«Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Всё больше оттого, что думает человек» [Толстой; т. 4: 7].

Таким образом, модель Левина-гимнаста можно представить в виде двух полей, находящихся в оппозиции друг к другу. В центре одного из них находится смерть как высшее проявление хаоса, чуть дальше от ядра — мысли, еще дальше — речь. В центре второго поля находится жизнь как высшее проявление порядка, затем — «движенье» и тело.

Как известно, самоубийство является важнейшим положением «большой идеи» Кириллова. Р. Жирар в книге «Ложь романтизма и правда романа» (1961), рассматривая логику поведения этого героя в рамках концепции «миметического» или «треугольного» желания, заметил: «Кириллов одержим фигурой Христа. В комнате у него — икона, перед ней горят свечи. Для *осознающего* Верховенского Кириллов "верует пуще чем поп". Он делает из Христа Медиатора — только не в христианском, а в прометеевском, романтическом смысле слова. Именно Христу подражает в своей гордыне Кириллов. Чтобы положить конец христианству, его смерть должна быть сходна с Христовой — хотя и противоположной по смыслу. Кириллов — обезьяна искупления» [Жирар: 311]. То есть логика самоубийства Кириллова обнаруживается в гордыне, вызванной подражанием «медиатору», которым в данном случае выступает Христос. Мы полагаем, что связь между героем и его гимнастическими занятиями также прослеживается в мимесисе.

Итак, оппозиция, характерная для гимнаста-Левина, в гимнасте-Кириллове иллюзорна, а потому тело не способно выступить в качестве противовеса, позволяющего свернуть с пути самоубийства. Его «доведенный до исступления разум» [Достоевский; т. 10: 215] оказывается в полной власти над телом. Любопытно, что наши рассуждения вполне перекликаются со спецификой мимесиса в произведениях Толстого и Достоевского. Особенности описания телесности, заключающиеся

в раскрытии «наиболее тонких элементов человеческой пластики, физиогномики», «заставляют» толстовский язык, как отмечает В. А. Подорога, «служить реальному». Иначе у Достоевского, который своим «подслеповатым взглядом» «не видит, а *слушает*»: «За языком, описывающим реальное, нет еще, собственно, ни тела, ни души, одна иллюзия, что перед нами действительно человеческая плоть, до которой можно дотронуться» [Подорога: 442, 443]. Тело гимнаста в «Анне Карениной» возвращает к порядку жизни. Гимнастика в «Бесах» лишь создает иллюзию, поэтому невольно возникает вопрос: действительно ли тело Кириллова — это тело гимнаста?

Тело встраивается в его «большую идею» не только благодаря планируемому акту самоубийства. С его точки зрения, после победы над болью и страхом мир и человек *физически* преобразятся:

«Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?» [Достоевский; т. 10: 102].

Здесь логика совершенно противная логике гимнастической механики, где каждое движение призвано довести до совершенства исходное строение человеческого тела, а не произвести метаморфозу. Причем возможность метаморфозы коренится не внутри тела, а в самой идее. Соответственно, если в случае с Левиным упорядоченному телу противопоставляются речевые нарушения, то в случае с Кирилловым и тело, и речь испытывают влияние придавившей его идеи.

Напомним, мяч, предназначенный для «укрепления спины», был куплен, по словам самого Кириллова, в Гамбурге. Примечательна здесь именно привязка места покупки к назначению предмета⁴. Кириллов приобрел мяч примерно в тот же период, когда Ставрогин «утверждал в нем ложь и клевету», а в сердце Шатова «насаждал Бога и родину» [Достоевский; т. 10: 215].

⁴ Немецкая школа играет большую роль в «новом проекте» гимнастики. Ее основателями считаются Г. У. А. Фит, И. К. Ф. Гутс-Мутс и Ф. Л. Ян. Нужно отметить, что немецкая гимнастика не была однородным явлением, хотя в ней заметен педагогический уклон. В частности, подход Яна был основан на взаимосвязи между физическими упражнениями и воспитанием патриотизма (турнерство).

Необходимость «укреплять спину» скорее семантически связана с характеристикой, данной хроникером Шатову, но также относящейся и к Кириллову:

«Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг *поразит* какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно *придавит их собою*, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот *вся жизнь их проходит* потом как бы в последних корчах *под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем*» (курсив наш. — М. В.) [Достоевский; т. 10: 27–28].

«Придавленное» состояние героя-гимнаста прослеживается в речевых нарушениях, но также и в физических упражнениях: тело не сопротивляется идее, а подражает ей в гордыне. Красноречиво первое впечатление хроникера, в котором подчеркивается не только рассеянность Кириллова, но одновременно его телосложение:

«Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, *стройный и сухощавый брюнет*, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску» (курсив наш. — М. В.) [Достоевский; т. 10: 80].

«Укрепление спины» необходимо герою в силу специфики его «человекобожия», о которой, в частности, писал Жирар.

Кроме того, упражнения Кириллова с мячом можно интерпретировать как проецирование роли Бога. В «Бесах» неоднократно употребляется слово *планета*, синонимом которого часто выступает (*земной*) *шар*. Так, например, Верховенский угрожает Кириллову:

«...я вас *на другом конце шара*... повешу как муху... раздавлю... понимаете!» (курсив наш. — М. В.) [Достоевский; т. 10: 478].

Или Лизавета Николаевна восхищенно говорит о Маврикии Николаевиче:

«Это самый лучший и самый верный человек *на всем земном шаре*, и вы его непременно должны полюбить, как меня!» (курсив наш. — М. В.) [Достоевский; т. 10: 94].

А в черновых записях к роману встречается такой ряд синонимов:

«Но мы не только живую силою пойдем наконец (как понимали наконец, т. е. непосредственно живьем, но и умом), мы разрушим путы Европы, облепившие нас, и они рассыплются как паутина, и мы догадаемся наконец все сознательно, что никогда еще *мир, земной шар, земля* — не видали такой громадной идеи, которая идет теперь от нас, с Востока, на смену Европейских масс, чтоб возродить мир» (курсив наш. — М. В.) [Достоевский; т. 11: 308–309].

И когда Кириллов говорит: «Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль» [Достоевский; т. 10: 526], — то имеет ввиду вполне определенную геометрическую форму. «Заявить своеволие», стать Богом — значит в буквальном смысле взять земной шар, стоящий на лжи, в свои руки. Это возможно так же, как в его представлениях возможно физическое изменение человека. Гимнаст Кириллов грезит об обновлении мира. Именно в своем самоубийстве он видит отправную точку этого «переворота». И гимнастический мяч, которым он упражняется, ассоциативно соотносится с Землей. «Человекобожие» Кириллова — это новый этап жизни планеты, который он вот-вот готов начать своими руками. Таким образом, противоречие между идеей Кириллова и его гимнастическими упражнениями наблюдается только извне, тогда как изнутри идея «продолжается» в теле.

Заметим, что «новый проект» гимнастики, сформировавшийся в XIX в., имел в себе все основания как для одной, так и для другой модели героя-гимнаста. С одной стороны, она преподносилась многими преподавателями, врачами и авторами пособий как новая панацея от всевозможных телесных и душевных недугов и встраивалась в один ряд с такими практиками, как магнетизм или гомеопатия. Потому в романе Достоевского гимнастика подстраивается под «человекобожие» Кириллова. С другой стороны, в ней есть внимание к механике тела, пристальный анализ движения, основанный на изучении физиологии и анатомии мышц. Именно гимнастическая механика оказывается близка толстовской «логике порядка».

Толстой и Достоевский по-разному воспринимают и воплощают в своих текстах специфику современной им гимнастики.

Расхождения в построении моделей героев-гимнастов указывают на некоторые антитетические особенности художественной антропологии писателей. В толстовском тексте телесный порядок противопоставляется хаосу речи. Работа мускулов в гимнастических упражнениях или в труде позволяет Левину бороться с мучительными размышлениями о смерти. Благодаря движению восстанавливается структура жизни. В романе Достоевского остается иллюзия оппозиции тела и речи, но при этом само тело функционирует совершенно иначе. Кириллову, по сути, чужда идея поддержания здоровья: он не заботится о гармоничном развитии всех мышц, а только «укрепляет спину» и грезит о чуждой гимнастической теории физической метаморфозе человека. Его гимнастика не связана с реальной потребностью тела в движении. В то же время Кириллов не осознает того противоречия между мыслями о самоубийстве и гимнастикой, на которое указывают Ставрогин и Верховенский. Странное, на первый взгляд, увлечение героя стоит рассматривать во взаимосвязи с его «большой идеей». Это позволяет проследить семантические корреляции между гимнастическими упражнениями и гордыней героя, вознамерившегося занять место Бога.

Список литературы

1. Вигарелло Ж., Холт Р. Работа над телом. Гимнасты и спортсмены в XIX веке / пер. с фр. О. Аверьянова // История тела: в 3 т. М.: Новое литературное обозрение, 2018. Т. 2. С. 262–318.
2. Волвенкин М. Н. Два взгляда на гимнастику: Лев Толстой и Николай Чернышевский // Культура и текст. 2025. № 1 (60). С. 124–136 [Электронный ресурс]. URL: <https://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2025/03/124-136.pdf> (30.08.2025). DOI: 10.37386/2305-4077-2025-1-124-136. EDN: EGYUDU
3. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: в 35 т. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 2013–2022-. Т. 1–11.
4. Жижек С. Чума фантазий / пер. с англ. Е. С. Смирновой. Харьков: Гуманитарный центр, 2012. 388 с.
5. Жирар Р. Ложь романтизма и правда романа / пер. с фр. А. Зыгмонта. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 352 с. (Сер.: Studia Religiosa.)
6. Подорога В. А. Мимесис: материалы по аналитической антропологии литературы: в 2 т. М.: Культурная революция, Логос, Logos-altera, 2006. Т. 1: Н. Гоголь, Ф. Достоевский. 688 с.

7. Сливницкая О. В. «Истина в движении»: о человеке в мире Л. Толстого. СПб.: Амфора, 2009. 443 с.
8. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1928–1958.
9. Эйхенбаум Б. М. Молодой Толстой. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2019. 192 с. (Сер.: «Как быть писателем?», Библиотека «Формального метода».)

References

1. Vigarello G., Holt R. Working on the Body. Gymnasts and Athletes of the 19th Century. In: *Istoriya tela: v 3 tomakh [History of the Body: in 3 Vols]*. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2018, vol. 2, pp. 262–318. (In Russ.)
2. Volvenkin M. N. Two Views on Gymnastics: Leo Tolstoy and Nikolai Chernyshevsky. In: *Kul'tura i tekst [Culture and Text]*, 2025, no. 1 (60), pp. 124–136. Available at: <https://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2025/03/124-136.pdf> (accessed on August 30, 2025). DOI: 10.37386/2305-4077-2025-1-124-136. EDN: EGYUDU (In Russ.)
3. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 35 tomakh [The Complete Works and Letters: in 35 Vols]*. St. Petersburg, Nauka Publ., 2013–2022, vol. 1–11 (the publication continues) (In Russ.)
4. Žižek S. *Chuma fantaziy [The Plague of Fantasies]*. Kharkiv, Gumanitarnyy tsentr Publ., 2012. 388 p. (In Russ.)
5. Girard R. *Lozh' romantizma i pravda romana [The Lie of Romanticism and the Truth of the Novel]*. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2019. 352 p. (Ser.: Studia Religiosa.) (In Russ.)
6. Podoroga V. A. *Mimesis: materialy po analiticheskoy antropologii literatury: v 2 tomakh [Mimesis: Materials on the Analytical Anthropology of Literature: in 2 Vols]*. Moscow, Kul'turnaya revolyutsiya Publ., Logos Publ., Logos-Altera Publ., 2006, vol. 1. 688 p. (In Russ.)
7. Slivitskaya O. V. “*Istina v dvizhen'ii*”: o cheloveke v mire L. Tolstogo [“*Truth in Motion*”: *About Man in the World of L. Tolstoy*]. St. Petersburg, Amfora Publ., 2009. 443 p. (In Russ.)
8. Tolstoy L. N. *Polnoe sobranie sochineniy: v 90 tomakh [The Complete Works: in 90 Vols]*. Moscow, Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1928–1958. (In Russ.)
9. Eykhenbaum B. M. *Molodoy Tolstoy [Young Tolstoy]*. Moscow, Ekaterinburg, Kabinetnyy uchyonyy Publ., 2019. 192 p. (Ser.: “How to Be a Writer?”, Library of the “Formal Method”.) (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Волвенкин Михаил Николаевич, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры истории и типологии русской и зарубежной литературы, Воронежский государственный университет (Университетская площадь, 1, г. Воронеж, Российская Федерация, 394018); старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова (ул. Тимирязева, 8, г. Воронеж, Российская Федерация, 394087); ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0793-0787>; e-mail: mvolvenkin@mail.ru.

Mikhail N. Volvenkin, PhD (Philology), Lecturer of the Department of History and Typology of Russian and Foreign Literature, Voronezh State University (Universitetskaya ploshchad' 1, Voronezh, 394018, Russian Federation); Senior Lecturer of the Department of Social Sciences and Humanities, Voronezh State University of Forestry and Technologies Named After G. F. Morozov (ul. Timiryazeva 8, Voronezh, 394087, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0793-0787>; e-mail: mvolvenkin@mail.ru.

Поступила в редакцию / Received 02.09.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 30.10.2025

Принята к публикации / Accepted 01.11.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16062

EDN: AVRCTN



Принцип антиномии в лирике А. А. Фета (исторические и поэтологические аспекты)

Т. А. Кошемчук

*Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
(г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)*

e-mail: koshemchukt@mail.ru

Аннотация. Антиномичность рассмотрена как ключевой принцип поэтики А. А. Фета. В его стихах разворачиваются полярные ряды образов, резко противопоставляющие два отдельных мира. В исследовании обозначены два типа лирических оппозиций. Во-первых, дуальность высокого и низкого проявлена прежде всего как оппозиция в размышлениях о сущности поэтического: истинная поэзия, красота, вдохновение — псевдопоэзия, пошлость, трезвый расчет. Утверждая истинное, поэт с презрением отрицает ложное. Эта непримиримая противоположность относится к миру земному, горизонтальному плану бытия. В вертикальных же оппозициях второй группы стихотворений, которые можно отнести к области поэтической онтологии, обнаруживается не только напряженность дуальности земного мира и мира горнего, но и претворение ее в высшее единство. Полярность находит выражение в противопоставленных образах не по принципу оппозиции низкого и высокого, но как контраст высокого (земной красоты) и высочайшего (духовности высших сфер бытия). Это для поэта два равно желанных мира, и они связаны между собой разнообразными нитями: взглядом в горнее, созерцанием красоты мира, переживанием творчества или любви. Антиномичные миры проницаемы друг для друга в вертикальных связях. В нисхождении высшего и восхождении земного достигается гармоническое претворение антиномий.

Ключевые слова: Фет, лирика, поэтическая онтология, антитеза, антиномия, двоемирие, противоположности, синтез, гармония

Для цитирования: Кошемчук Т. А. Принцип антиномии в лирике А. А. Фета (исторические и поэтологические аспекты) // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 282–306. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16062. EDN: AVRCTN

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16062

EDN: AVRCTN

The Principle of Antinomy in A. A. Fet's Lyrics (Historical and Poetological Aspects)

Tatiana A. Koshemchuk

Saint Petersburg State Agrarian University
(Pushkin, Saint Petersburg, Russian Federation)

e-mail: koshemchukt@mail.ru

Abstract. Antinomianism is examined as a key principle in Fet's poetics. Polar series of images unfold in his poems, sharply counterposing two separate worlds. Two types of lyrical oppositions have been identified. First, the duality of high and low is manifested primarily as an opposition in reflections on the essence of poetry: true poetry, beauty, inspiration vs. pseudo-poetry, vulgarity, sober calculations. While affirming the true, the poet contemptuously denies the false. This irreconcilable contrast applies to the earthly world, to the horizontal plane of existence. The vertical oppositions of the second group of poems, which can be attributed to the sphere of poetic ontology, reveal not only the tension of the duality of the earthly world and the world above, but also its transformation into a higher unity. The polarity is expressed in the opposed images not according to the principle of the contrast of low and high, but as an opposition of the high (earthly beauty) and the highest (spirituality of the higher spheres of being). For the poet, these are two equally desirable worlds, and they are interconnected by various threads: direct gaze into the higher world, contemplation of beauty, the experience of creativity or love. Antinomic worlds are permeable to each other in vertical connections. In the descents of the higher and ascents of the earthly, the harmonious realization of antinomies is achieved.

Keywords: Fet, lyrics, poetic ontology, antithesis, antinomy, duality, opposites, synthesis, harmony

For citation: Koshemchuk T. A. The Principle of Antinomy in A. A. Fet's Lyrics (Historical and Poetological Aspects). In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [*The Problems of Historical Poetics*], 2025, vol. 23, no. 4, pp. 282–306. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16062. EDN: AVRCTN (In Russ.)

Значимость выбранной темы, развернутой в поэтологическом ключе, определяется долговременной литературоведческой традицией представлять А. А. Фета как раздвоенного поэта. Его личность, начиная с Д. С. Дарского (см.: [Дарский]), определялась ключевой для биографии и творчества поэта оппозицией Фет — Шеншин. Эта полярность конкретизировалась (Дарским и другими авторами) в целом ряде диадных проявлений: Марфа и Мария его души, толстый офицер — лирическая дерзость, жестокий помещик — тонкий поэт, прозаичность — поэтичность, мрачное презрение к жизни — культ красоты и т. д. Если Дарский, обрисовав непримиримые, казалось бы, оппозиции, подчеркивал в Фете цельность, единство подобных противоположений в одном творческом сознании, то большинство исследователей акцентировали именно антиномическую разорванность личности и поэзии Фета. Разрешению этой проблемы может способствовать исследование принципа полярности в фетовской поэтике. Но прежде нужно высказать несколько предваряющих соображений: об антиномичности в целом и в поэтическом преломлении, об отражении фетовской поэтики в русской и зарубежной филологической мысли.

В настоящее время рассмотрены антиномии в лирике ряда поэтов, начиная с Пушкина¹. В числе этих поэтов² и Фет. Авторы статей выделяют различные пары образов его стихотворений, прежде всего — обобщенные, присущие в действительности многим поэтам (такие как *он — она, раньше — сейчас, лето — осень, звук — тишина, радость — страдание*). Отмечают и такие фетовские темы, как *скука внешнего земного бытия — мечтания и радости мира внутреннего* [Сафонова] или *мрак осенней ночи — улыбка благосклонной феи* [Константинова]. Их вряд ли можно считать антиномиями, но, скорее, противопоставлениями. Очевидно, что подобная парность является постоянным признаком любой поэтической речи, ибо все сущности мира можно сопоставить между собой и противопоставить одну другой, создавая ряды метафор по принципу сходства или выявляемых различий — контекстных антонимических характеристик. Так, если упомянуть

¹ Проблема поставлена Т. Г. Мальчуковой. См.: [Мальчукова].

² Ряд исследований, посвященных проблеме антитезы в стихах разных поэтов, приводится в библиографии к статье: [Станиславская: 169–170].

одну из выделенных пар, *лето* можно противопоставить *зиме*, *весне* или *осени*, в самом лете *июнь* — *августу* в поэтических высказываниях на подобные темы. Но, говоря об антиномичности, или полярности, как принципе охвата бытия, стоит под термином «антиномия» понимать именно два противоположных (разведенных по принципу «да — нет») высказывания, которые мыслимы как истинные и только совместно. Поэтому эти противоположности, тезис и антитезис, требуют разрешения в какой-либо форме: синтез, снятие, преодоление. Нужно отметить, какие именно оппозиции присущи лирике поэта, выявить и описать характерные для него бинарности, от глобальных до индивидуальных, определить характер их соотношенности, остроту противопоставлений и, главное, при ее наличии, — интенцию поэта к преодолению дуальности. Сказывается ли в осмыслении полярностей их единство или же оно отрицается? Как проявляется духовная личность поэта в его антиномиях? Таковы вопросы, стоящие перед исследователями поэтических антиномий.

Фундаментальные оппозиции бытия в сквозном для истории человеческой мысли принципе дуальности, такие как *Бог* — *мир*, *идеальное* — *реальное*, *жизнь* — *смерть*, *разум* — *материя*, *человек* — *мир*, по-разному проявляют себя в различных мыслительных традициях. Так, в сфере безрелигиозного сознания главенствует аспект их борьбы; философы-идеалисты западной традиции от Платона до Канта и Гегеля говорят о единстве антиномий. И если для Канта, например, антиномия есть познавательная граница, то в контексте русской религиозной мысли антиномизм осмысляется как знаменующий границу лишь для сферы отвлеченного мышления. Но верующий разум поднимается над полярностями³, ибо, по о. П. Флоренскому, религиозное мышление устремлено к их преодолению, к «высшему религиозному единству» [Флоренский: 162]⁴.

³ В осмыслении А. Ф. Лосева: «Мы принимаем сразу и тезис, и антитезис каждой антиномии и объединяем их в живом синтезе» [Лосев: 155].

⁴ Исследователь антитетичности в богословской мысли о. П. Флоренского, свящ. Д. Горячев писал, что Флоренский, «первопроходец в вопросе богословской антиномии», как свой метод утверждал «нахождение равновесия между полярными явлениями» [Горячев: 4].

Переходя к лирической поэзии, в которой принцип полярности образов является характерной чертой поэтики начиная с эпохи Возрождения, нужно учесть опыт его описания в такой, казалось бы, частной литературоведческой области, как исследование сонета. Сонет был осмыслен как «диалектический» жанр по преимуществу⁵ и как основная форма поэзии: осуществляясь в этом качестве в историческом бытовании, сонет лишь ярче выявил в себе потенции диалектичности, чем иная поэтическая форма. В сонете ярко проявилась «возможность воплощения <...> антиномического характера бытия, восприятия и отражения его как единства противоположностей», как писал К. С. Герасимов. Исследователь ссылался и на сонет о сонете Шлегеля, утверждавшего как идеал поэзии «чистую соразмерность противоположностей» (“...reines Ebenmaß der Gegensätze”) [Герасимов: 23], которая нередко, впрочем, в сонете нисходила до игры в антиномии.

Всякому ли поэту удастся в своих стихах утвердить эту *чистую соразмерность* (по Шлегелю), этот *живой синтез* (по Лосеву)? Или, наоборот, поэт склонен акцентировать антиномичностью поэтики трагическую разорванность мира? Так можно конкретизировать ситуацию полярности образов у того или иного поэта.

Следует обратить внимание и на особенности изучения фетовской поэтики. Она была объектом пристального внимания советских филологов в XX в., получив свое обобщающее отражение в обширных статьях Б. Я. Бухштаба. Они сохраняют свое непреходящее значение, несмотря на то что отягощены резким осуждением фетовского пристрастия к «чистому искусству» и к антисоциальным темам. В его работах учтен опыт критиков конца XIX — начала XX в. Прежде всего исследователем отмечена сущностная особенность лирики Фета — передача неуловимого и мимолетного, или же «грез» и «снов». Обращение к этой стихии Бухштаб истолковывает как «своего рода эстетический догмат» Фета [Бухштаб: 40],

⁵ Эта мысль впервые обоснована в хорошо известной на Западе монографии о сонете В. Мёнха (“Das Sonnet. Gestalt und Geschichte”), согласно которой сонет — это форма для диалектической мысли, причем «диалектическая структура сонета визуально различима в его строфическом членении» [Mönch: 33].

которому соответствуют все особенности его поэтики — от акцентуации эмоционального ореола слов до звукописи. Авторитетный ученый еще раз подтвердил общую мысль многих исследователей о богатстве формы, которому противостоит бедность содержания. Антиномичности как особенности поэтики Фета Бухштаб не касается. Современные исследования фетовских «антиномий» делают лишь первый шаг — обозначают постановку проблемы. Англоязычные авторы почти не касаются ни поэтологии, ни поэтики Фета: чаще всего они основываются на идеях широко известного на западе труда “History of Russian Literature” (1926, 1927)⁶ Д. П. Святополка-Мирского⁷. Опуская его категорические негативистские оценки Фета как человека («подхалим и лизоблюд», «эгоистичен, скрытен и циничен», «атеист и антихристианин» [Мирский: 358, 359]), западные исследователи развивают суждения Святополка-Мирского о нем. Они характеризуют Фета как поэта чистого искусства, известного стихами о природе, напоминающими Верлена; отмечают его пантеизм, музыку ассоциаций; говорят об эволюции поэта в 1860-е гг. в метафизическую сторону и о появлении «вечных вопросов»; признают лучшими любовные стихи (обнаруживая в них фрейдистские оттенки). Характерно, что авторы обобщающих сочинений по истории русской поэзии на английском языке следуют не только суждениям Мирского, но и его выбору главного стихотворения. Единственный текст, который целиком приведен Мирским, — «Буря на небе вечернем...», и именно он, единственный, подробно разобран М. Вахтелем [Wachtel: 113]. Характерно и то, что обобщающий обширный труд на английском языке, «История русской поэзии», акцентируя приверженность Фета «чистому искусству» (“Russia’s only major poet of the art-for-art’s-sake tendency”⁸ [Bristol: 140]), вслед за Мирским

⁶ Русский перевод этого обширного труда появляется лишь в 90-е гг. XX в. См.: [Мирский].

⁷ В изданиях его трудов и в исследованиях о нем встречаются псевдонимы: Д. Мирский, Д. С. Мирский (см.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: в 4 т. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1957. Т. 2. С. 190).

⁸ «Единственный крупный русский поэт, придерживающийся направления “искусство для искусства”» (перевод мой. — Т. К.).

отказывает стихам Фета в глубине: “His themes seem to be less important than his impressionistic style” [Bristol: 140]. Фет преподносится как поэт-новатор, но не поэт мысли, даже при констатации религиозных мотивов в позднем творчестве [Bristol: 143]. При этом идущая от Мирского оценка фетовских стихов как мыслительно скудных и сам отбор стихотворений для анализа направляют мысль исследователей к привычной констатации параллелизма между сознанием поэта и природой, но не к антиномиям как черте его мировидения и поэтики. Это относится и к выбору Вахтелем стихотворения «Буря на небе вечернем...» в качестве представительного для всей лирики Фета, и к отбору немногих стихотворений у Бристоль.

В настоящее время философским и религиозным темам Фета посвящен целый том серии “Pro et contra” [А. А. Фет], собравший размышления критиков, противостоящих господствовавшему ранее тезису о бедности содержания в стихах поэта. Фетовская поэтика, в том числе образный антиномизм, также нуждается в дальнейших углубленных исследованиях.

Принцип полярности не только воплощен Фетом в стихах, но и осмыслен теоретически: «Все живое состоит из противоположностей: момент их гармонического соединения неуловим, и лиризм, этот цвет и вершина жизни, по своей сущности, навсегда останется тайной», — писал Фет в его известной статье о поэзии Тютчева [А. А. Фет: 61]. В ней он как исследователь разгадывает тайны тютчевской *поэтической мысли*. Этот термин, «поэтическая мысль», Фет вводит впервые [А. А. Фет: 53–55] и связывает его со средствами ее выражения: «...художественность формы — прямое следствие полноты содержания» [А. А. Фет: 62]. Так, мысль Фета о *противоположностях* и об их трудноуловимом *гармоническом соединении* как признаке истинного лиризма можно принять как ключ к теме.

Отметим сразу факт, предлежащий исследователю: полярности в фетовской лирике наиболее остро выражены в одной особенной теме — теме поэзии. Для нее характерна предельная

⁹ «Его темы представляются менее значимыми, чем его импрессионистический стиль» (перевод мой. — Т. К.).

дуальность: *поэт* и *пошлый мир*, *поэт* и *толпа*. И не случайно эта тема воплощена в сонетной форме — в «Сонете» («Когда от хмелю преступлений...»). «Толпа» первого катрена (тезис сонета) «развратна», «буйна», погружена в «хмель преступлений», подчинена «злому гению», который «влачит в грязи» творческое величие («мужей великих имена») [Фет: 291]. Глумление над высшим, уничижение великих творцов является в сонете ключевым пунктом для неприятия «толпы», подвластной «злому» духу эпохи. Его бескомпромиссное отрицание¹⁰ выражено в антитезисе второго катрена: «Мои сгибаются колени...» [Фет: 291]. Терцеты развивают мысль далее: поэт во внутреннем храме своей души («в тени таинственного храма») противостоит злу эпохи. Он обращен к поэтам-предшественникам не только преклонением перед их величием («голова преклонена») и их восхвалением («волны фимиама»), но смиренным ученичеством: он учится — «внимать» им как «наставникам» и дышать их воздухом,

«...забывая гул народный,
Вверяясь думе благородной...» [Фет: 291].

Так сонет завершается заострением антитезы: *толпа*, *встапывающая в грязь величие*, — *поэт*, *вверяющий себя ему*. Нота первого катрена звучит в концовке сонета еще раз отнюдь не ради синтеза, а с целью окончательного отрицания: «...забывая гул народный...». Ему противопоставляется радикально иное — *благородство дум* («...вверяясь думе благородной»), так что рифмующиеся слова с антонимическим звучанием (*народный* — *благородной*) являются по сути антирифмой, подчеркивая остроту дуальности.

Та же антиномия выражена в стихотворении «Поэтам»: здесь то же коленапреклоненное благоговение перед поэзией с ее «чертогами». Это образ культуры как величественного здания, воздух которого благоприятен для поэта: «В ваших чертогах мой дух окрылился...» [Фет: 119]. Итог этого ученичества-окрыления — способность видеть правду «с высей творенья»

¹⁰ Противопоставленность двух катренов отмечена в статье В. Н. Захарова: «...буйству "развратной толпы" и "злого гения" противостоят "властительные тени" и их письма...» [Захаров: 172].

и созерцать «родное небо». Презрительный жест отрицания в адрес оставленного низкого земного выражен поэтом в концовке:

«С торжищ житейских, бесцветных и душных...» [Фет: 120].

Обозначив в единственной строке то, что подвержено предельному неприятию, «торжища», мысль поэта обращается вновь к утверждаемому им многокрасочному миру поэзии:

«Видеть так радостно тонкие краски,
В радугах ваших, прозрачно-воздушных,
Неба родного мне чудятся ласки» [Фет: 120].

В ситуации этого стихотворения та же острота полярности. *Душная* жизнь в образе города, в низшей его грани, противопоставлена *чертогам* и *родному небу*, являющему свою благосклонность. Так неразрешимые антиномии *низкой жизни* — *духовной высоты*, *плоти мира* — *духа*, выраженные в паре образов *торжище* — *родное небо*, звучат как резкое противостояние несоединимого. Целый ряд отражений той же диадности можно отметить в сопутствующих иным фетовским темам образах. Например, в стихах, обращенных к близкому человеку, которому есть доступ в закрытый для толпы «храм», будь то возлюбленная или друг поэта. Так, в стихотворении «Постой! здесь хорошо!..» «тишина» противопоставит «мятежным звукам» отрицаемого поэтом мира:

«Какая тишина! Из-за горы высокой
Сюда и доступа мятежным звукам нет» [Фет: 82].

Та же резкая полярность находит место в стихотворении «В душе, измученной годами...»: образ храма, сакральная ценность поэта — «неприступный чистый храм» души, «девственный тайник» [Фет: 289], где нетленно хранятся все сокровища жизни. Он противопоставлен «миру», которому вход в этот храм закрыт: туда «хотя б и мог, скорей иссохнет, / Чем путь укажет мой язык» [Фет: 289]. В этой радикальной недопустимости «мира» в «храм» еще раз выражен острейший конфликт полярностей: «я», *поэт* — *мир*, *народ*, *толпа*. Он же выражается вскользь, например, в обращении поэта к Музе («Надолго ли опять мой угол посетила...»). В нем очевидна

контрастность поэтического состояния, навеянного Музой, и сферы житейской:

«Как сладко, позабыв житейское волнение,
От чистых помыслов пылать и потухать...» [Фет: 276].

В оппозиции *чистые помыслы* — *житейское волнение* последнее подлечит даже не отрицанию, а забвению.

Эта линия в поэзии Фета кульминирует самым категоричным отрицанием житейской пошлости в образах «рынка», «желудка», «затхлой площади», «грязи» [Фет: 297] в стихотворной инвективе «Псевдопоэту». Высшим воплощением пошлости выступает псевдопоэт, служащий ей, а абсолютным противопоставлением ему — «чистый храм» муз, «богомольное» вознесение в «свежую мглу» поэзии, близкую истинному поэту, «любимцу муз» [Фет: 297]. Псевдопоэту полагается молчать, когда перед ним упоминают истинного поэта, «любимца муз», само имя его есть как бы «страшный суд» для адресата фетовских обличений. Так, в этом стихотворении развернуты ряды противостоящих образов, выражающих полную и бескомпромиссную противоположность поэзии и псевдопоэзии. К ряду названных полярностей относится и оппозиция «свобода — низкопоклонство». Псевдопоэт, служащий пошлости толпы, есть «продажный раб», которому неведома *свобода* [Фет: 297].

Фетовская мысль здесь явно созвучна пушкинскому пониманию свободы, противопоставленной поклонению как народу, так и тирану в стихотворении «Из Пиндемонти»:

«Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно?» [Пушкин: 336].

Фету было близко пушкинское отношение к народу в одной из важнейших его граней — в принципе аристократизма в понимании искусства: «Молчи, бессмысленный народ...» [Пушкин: 85]. Но если у Пушкина эта категорическая тональность “*Procul este, profani*” была характерна для одного из аспектов темы (неспособность народа быть судьей в искусстве), то у Фета в теме искусства и народа эта тональность презрения была главенствующей. Фет не знал и не искал компромисса,

особенно в эпоху противостояния агрессивному народопоклонству, которое господствовало в литературно-критической школе революционной демократии. Так что и в лирике Фета, обращенной к теме поэта и народа или попутно затрагивающей ее, нет ни малейшего стремления к примиряющему синтезу. Предельно напряженная фетовская антиномия *жизнейское, пошлое, псевдопоэтическое — высшее, истинно поэтическое, духовное* не имеет никакого шанса на снятие¹¹.

Однако отмеченная дуальность не отличается всеобъемлющим характером, она локализована внутри горизонтальной, земной плоскости бытия. Тем не менее ее непримиримость определяется именно открытостью высшему измерению. Ибо псевдопоэтической пошлости неведом выход в «свежеющую мглу» горнего мира, она даже не подозревает о его существовании, как неведома ей и духовная свобода, сведенная ею в сферу политики.

Иные, более глубокие антиномии доминируют в поэзии Фета, их сфера — поэтическая онтология. Речь идет о противопоставлениях двух планов бытия: *земное — небесное, человеческое — божественное*. Как раз в этих диадах, вертикально ориентированных, захватывающих высший бытийный уровень, обнаруживаются явные связи, соединяющие нити.

Так, в обращении к Богу («Не тем, Господь, могуч, непостижим...») поэт говорит о Его «непостижимости»: она не только в величии и законосообразности сотворенного Им космоса, но прежде всего в самой сущности человека:

«...я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной» [Фет: 105].

Душа человека, согласно Фету, по своей природе есть огонь, подобный огню звезд и пламени высших иерархий. Эта мысль преодолевает глубокий дуализм: *видимая ничтожность*

¹¹ В отмеченном фетовском презрении можно усмотреть прихотливость и своеволие его мысли, что отличает его от пушкинской гармоничной мыслительной многогранности. Подобное отмечает исследователь и в различии концепций времени, вытекающем из общего положения: «Фет олицетворяет в истории русской романтической лирики сам процесс перехода от рационализма, еще сохранявшего свои позиции в лирике Пушкина, к прихотливо ассоциативному типу творчества» [Смирнов: 99].

человека, его «я» («...я — добыча суеты, / Игралище ее непостоянства...») — *вечность Бога и высших духов*. Соединяющее начало — огонь, который «ни времени не знает, ни пространства» [Фет: 105], «вечный» и «вездесущий», как и сам Бог. Бог и душа человека едины по их огненной природе — эта не постижимая для рационального осмысления, но пережитая поэтом идея выражена в тональности глубокого изумления.

В стихотворении Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...»¹² *горний мир*, объект устремлений души поэта, противопоставлен *земному миру* в диадах: *свет звезд — мрак, вечность — время*. Высший мир доступен взору поэта:

«...доступна вся бездна эфира...» [Фет: 98].

В этой «бездне» открыт для взора поэта и ее центр, «солнце мира», отблеском лучей которого является все в мироздании. Оно разделено на два уровня: «плотское» и «бесплотное», но между ними есть соединяющее начало, это их общий первоисточник, «солнце мира». Между «солнцем мира» в ночи и душой поэта, который «прямо» смотрит в него, нет границы, созерцанию поэта открывается пламя этого вечного солнца, и оно благотратно воздействует на его душу:

«Легко мне жить и дышать мне не больно» [Фет: 98].

Это достижимое гармоническое соединение полярных миров есть суть и смысл этого стихотворения поэта и его высочайший духовный взлет, запечатленный в стихах.

Звезды, говорящие с душой поэта (стихотворение «Среди звезд»), казалось бы, противостоят ей: «Вечность — мы, ты — миг», мы — «беззакатный день», ты — в «сумраке непроглядном», «мысль» человека не может догнать «думы вечной»; на земле «всё темно и скудно», в глуби звезд — «пышно и светло»; в мире земном «дышать так трудно» — среди звезд «отрадно» [Фет: 97]. Но это напряжение противоположностей снимается, как бы от лица звезд — в их «мы», в утверждаемом ими нисхождении: они «горят» навстречу взору поэта:

¹² См. подборку об этом стихотворении из статей разных авторов: «О стихотворении А. А. Фета "Измучен жизнью, коварством надежды..."» [А. А. Фет: 835–853].

«...когда дышать так трудно,
Тебе отрадно так поднять чело
С лица земли, где всё темно и трудно,
К нам, в нашу глубь, где пышно и светло» [Фет: 97].

Идею сопряженности двух миров несет в себе и стихотворение «Я потрясен, когда кругом...». Это прямое обращение к Богу: на Него Фет указал эпитафией из державинской оды «Бог» («Дух всюду сущий и единый»). Бог, непостижимый, все Собою наполняющий (как звучит у Державина в цитируемой строке из оды), есть адресат фетовского послания. Если величие грозных стихий мира вызывает у поэта изумление (первая строфа), то высшую степень потрясенности и восторженную немоту перед Его «властью неземной» душа поэта переживает (вторая строфа) в час, когда «светлый ангел шепчет <...> / Неизреченные глаголы» [Фет: 112].

Здесь повторяется мысль Фета о глубине человеческой души: сама природа души — вот истинное просветленное потрясение. К ней напрямую обращен «светлый ангел». В душе в «томленьях крайнего усилья» рождается ответный порыв — устремление «в небо». Вновь поэт утверждает: не может быть границы между парящей душой, в ее взлете, и небом:

«...верю сердцем, что растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья» [Фет: 113].

Различные природные лики позволяют созерцать «непорочную красу» мира и отражаются в устремлении души поэта к миру горнему. Так, в стихотворении «Есть ночи зимней блеск и сила...», когда «тени» и «тревожный ропот» лета исчезают, обнажаются небеса, высшая сущность пейзажа:

«...тем всевластней, тем заметней
Огни безоблачных небес» [Фет: 313].

Прямое откровение красоты поэт переживает как своего рода мгновенное посвящение по высшей воле всеведущего Бога. И вновь результат — это «прямой» взгляд в горнее, преодолевающий границу между противоположными мирами. Отсюда рождается понимание сущности природного бытия:

«Как будто волею всезрящей
На этот миг ты посвящен
Глядеть в лицо природы спящей
И понимать всемирный сон» [Фет: 313].

Высший мир легко достижим, как это показано в стихотворении «Одним толчком согнать ладью живую...»: одним усилием можно оттолкнуться от земного берега и подняться к высшему. Этот берег, «наглаженный отливами», как и пейзажи в других отмеченных стихотворениях, — не обычная жизнь, но мир природной красоты. Высший же и прекраснейший мир — тот, куда душа стремится как на свою родину. И поэт может

«Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветер с цветущих берегов,
Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упитья вдруг неведомым, родным...» [Фет: 116].

Так описывается в стихотворении то, что *может* поэт, в чем его «признак и венец», чем «певец лишь избранный владеет». Он *может* совершить это путешествие к «цветущим берегам» горнего мира, более того, выразить свой опыт в слове, по крайней мере, «шепнуть» [Фет: 116] об этом.

Платонически оркестрованная дуальность, «двойное бытие» в стихотворении «Заря прощается с землею...» утверждается поэтом как опыт созерцания деревьев на заре, в свете солнечных лучей, и пейзаж становится своеобразным уроком для мысли, ибо деревья и есть существа двух миров, живые символы их соединения и их равной ценности:

«Как будто, чуя жизнь двойную
И ей овяны вдвойне, —
И землю чувствуют родную
И в небо просятся оне» [Фет: 214].

Итак, антиномичное противостояние двух миров, земного и небесного, многократно утвержденное поэтом, отмеченное здесь в ряде стихотворений, преодолимо прежде всего благодаря красоте природного мира, поднимающей ввысь душу поэта, и благодаря ответной нисходящей благодати высшего мира. Но то же искомое соединение полярного инициируется

и иными переживаниями. Прежде всего оно осмысливается поэтом как дар земной любви: «...*двойное бытие* вручила ты...» (курсив мой. — Т. К.) («Томительно-призывно и напрасно...») [Фет: 95]. Любовь дает поэту возможность пережить неразрывное единство душ — человека земного, здесь, в мире, и умершей возлюбленной, там, на небесах.

Ощутить тонкие связи между мирами может лишь чуткое сердце; оно, как пишет Фет в стихотворении «Другу», «чует невыразимое ничем»,

«То, что в явленьи незаметном
Дрожит гармонией дыша,
И в тайнике своем заветном
Хранит бессмертная душа» [Фет: 473].

Гармония, скрытая, *дрожащая* в незаметном явлении, открывается сердцем и передается другу «лучом из ока в око». И этот миг примиряет «со всем, что мучило жестоко» [Фет: 474]. Так, подобно любви, и дружба может без слов подарить переживание горнего.

Мост между мирами создается и в творчестве — благодаря нисхождению Музы, «нетленной богини» [Фет: 301], которая, напрямую обращаясь к душе поэта, осуществляет это единство, как в стихотворении «Надолго ли опять мой угол посетила...» [Фет: 275].

Разделенность миров может быть ослаблена и благодаря надежде, живущей в душе («Какая грусть! Конец аллеи...»). Сначала выявляется острая дуальность: зимний пейзаж, холод, ветер, белизна земного мира — и «весна и красота» мира горнего. Холоду первого противостоит тлеющая надежда, что «опять душа помолодеет, / Опять родной увидит край» [Фет: 161], то есть тот мир, родину души, где

«бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста, —
И посвященным только зримо
Цветет весна и красота» [Фет: 161].

Еще одна связующая миры нить — сны поэта:

«Сны и тени,
Сновиденья,

В сумрак трепетно манящие...» [Фет: 192].

Сны влекут далее, к «переходу сокровенному», к «свету отдаленному» — вплоть до сумрачного «свода», минуя который души становятся тенями и покидают «покрывала» телесности [Фет: 192, 193].

Тонкие переживания высшего, незримого, но ощутимого, также могут вести к искомой гармонии. Неявная связь миров выражена в стихотворении «Вчерашний вечер помню живо...». Звезды, отраженные в фонтане, сохранились в памяти поэта. И, хотя новая ночь скрывает их в тумане, поэт не только помнит о них, но и переживает невидимое присутствие высшего:

«Но не томлюсь среди тумана,
Меня не давит мрак лесной, —
Я слышу плеск живой фонтана
И чую звезды над собой» [Фет: 192].

Слышание неслышимого и видение невидимого, прихотливые тонкие связи между мирами — подобные мотивы можно отметить в десятках стихотворений Фета. Эти чувства пронизывают весь фетовский поэтический мир и в вертикальном его измерении, и в горизонтальной плоскости земного бытия.

Так, связующая сила любви, дружбы, творчества, мечтаний, снов, ощущений и надежд гармонизирует отношения между разными планами бытия. Однако главное переживание, выраженное в стихах, которое снимает противостояние мира высшего и земной жизни, — это утверждаемое поэтом *прямое смотрение* в горнее. Речь идет о созерцании высшего и о рожденной поэтом мысли о соединимости полярных миров, о мосте между ними, который выстраивается непосредственно в проникновенных восхождениях души к «жизни мировой». Отметим дополнительно некоторые особенности отношений поэта и горнего мира.

У фетовских переходов между планами бытия при всей их легкости есть некое условие. Оно высказано в стихотворении «Нельзя»: если «земного путника манит» то, «что видимо для ока» [Фет: 475], то для поэта возможность духовного взлета связывается с исчезновением дневного света и ночным мраком:

«В движеньи, в блеске жизни дольной
 Не сходит свыше благодать:
 Нельзя в смятенности невольной
 Красы небесной созерцать.
 Нельзя с безбрежностью Творенья
 В чаду отыскивать родства,
 И ночь, и мрак уединенья —
 Единый путь до Божества» [Фет: 476].

Так поэт формулирует условие преодоления грани между полярными планами бытия, обозначенными в напряженных оппозициях: *жизнь дольная, движение, блеск ее, смятенность души и чад бытия — благодать, сходящая свыше, краса небесная, безбрежность Творенья, Божество*. Восхождение от первого ко второму обусловлено ночным отстранением от дольного, одолением смятенности чувств.

Нередко у Фета переход от земного к высшему переживается именно в ночных ландшафтах (примерно в половине отмеченных здесь стихотворений). В иной, дневной час поэт ощущает труднопреодолимую грань между двумя сферами гораздо острее — об этом говорится в стихотворении «Ласточки». В нем стремительный полет птицы над гладью вод знаменует противостояние: хрупкое крыло и вода, «запредельная» стихия. «Я» поэта уподобляется ласточке, задевающей «молниевидным» крылом водную границу. Душа поэта «дерзает на запретный путь», «стихии чуждой, запредельной, / Стремясь хоть каплю зачерпнуть» [Фет: 108].

Это возможно: как ласточка, существо воздуха, касается воды, чуждой ей стихии, так и человек может прикоснуться к *запредельному*. Б. В. Никольский определил смысл этого стихотворения: «...сравнением с ныряющей ласточкой поэт, очевидно, хотел намекнуть на коренную жажду сверхчувственного, потустороннего познания, присущую духу человеческому» [Никольский: 483]. Значимый нюанс в образной параллели стихотворения (воздух — вода) — опасность этой *коренной жажды* для бренного человека, необходимость *дерзания* духа в стремлении к *запретному*. Но стихотворение утверждает эту возможность — зачерпнуть свою «каплю»:

«Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь...» [Фет: 108].

Характерна для фетовских переживаний горнего и легкость обратного перехода. Так, поэт, слушая в ночи «глагол стихийной жизни, отрешенной» (стихотворение «Весна и ночь покрыли дол...») [Фет: 472], вновь утверждает созвучие миров, но здесь в фокусе его внимания — нисхождение «неземного бытия»:

«И неземное бытиё
Свой разговор ведет с душою
И веет прямо на нее
Своею вечною струею» [Фет: 472].

Далее описывается возвращение в дневное бытие, которое приемлет душа: «И встретить очевидный день / Душа с восторгом вылетает» [Фет: 472]. Так при всей разделенности противостоящих миров поэт переживает родство и с нетленным небесным миром, и с прекрасным миром земли, к которому он возвращается без драматизма, без горечи, как это было показано, например, в стихотворениях Тютчева, у которого созерцание высшего и родного для души мира сменяется драматическим, горестным возвращением из «чистого пламенного эфира» к тусклому, тенеподобному существованию¹³:

«...конец виденью,
Его ничем не удержать,
И тусклой, неподвижной тенью,
Вновь обреченных заключенью,
Жизнь обхватила нас опять» [Тютчев: 96].

На фоне драматичности тютчевских «платонических» стихотворений, в которых высказывается душа как «жилица двух миров», стоящая «на пороге / Как бы двойного бытия» [Тютчев: 75], нельзя не отметить редкостную фетовскую гармонию между красотой земли и духовностью мира высшего, равно желанными.

¹³ См. об этом: [Кошемчук].

Глубочайшая примиренность полярностей в мире «божески едином» ознаменована Фетом в стихотворении «Кричат перепела, трещат коростели...»:

«Приснится мне опять весенний светлый сон
 На лоне божески едином,
 И мира юного, покоен, примирен,
 Я стану вечным гражданином» [Фет: 284].

По мысли поэта, в будущем, после смерти, в светлом царстве вечности будут обретены окончательное успокоение и полная гармония.

В отмеченном ряде стихотворений можно усмотреть проявления гармонии противоположностей, или же фетовского поэтического дуомонизма. Так можно обозначить характерную черту мироощущения Фета — утверждение двуединства миров.

Завершить рассмотрение фетовских антиномий можно едва ли не единственным стихотворением, где у Фета соединились две отмеченные выше линии (непримиримость земных оппозиций и гармония иерархически противопоставленных планов бытия). В стихотворении «Quasi una fantasia» говорится о соединении земной природной красоты и высшего мира. Оно переживается в легкости восхождения, когда, как пишет поэт, «надо мною / Высь светла» [Фет: 317]. Тогда открывается возможность без усилий подняться в желанный мир, который не отделен непроходимо от светлой весенней природы:

«Без усилий
 С плеском крылий
 Залетать
 В мир стремлений,
 Преклонений
 И молитв...» [Фет: 317].

Но в стихотворение неожиданно вторгается иная тема: мысль поэта обращается вдруг к низкому миру с его борьбой, которая есть та же пошлость, то же пристрастие *бессмысленной толпы*. Отсюда категоричность итогового суждения-отрицания, бескомпромиссного противопоставления:

«Радость чуя,
Не хочу я
Ваших битв» [Фет: 317].

Дуальность планов, которая структурирует фетовскую лирику, двояко проявлена в этом стихотворении: гармоническое соединение вертикальных полярностей и острота земных противостояний.

Итак, ключевым принципом поэтики Фета является антиномичность, выраженная и по-разному осмысленная им в двух рядах стихотворений. Для фетовской поэзии, как было показано, характерны два основных типа лирических оппозиций. Первый из них характеризует сферу творчества: *истинная поэзия* и *псевдопоэтическая пошлость*. Эта антиномия предельно заострена поэтом и не предполагает никакого смягчения. Поэт отказался от примирения двух земных сфер — низшей (корысти и борьбы) и высшей (красоты и творчества). Резкая дуальность темы не стала для него источником трагизма или безысходности в переживании мира, ибо душа поэта не привязана к земному, а сама эта антиномия охватывает лишь одну из составляющих земного мира, она локализована в горизонтальной плоскости бытия, внутри мира здешнего.

Второй тип оппозиций относится к сфере всеобъемлющего, универсального бытия: *мир горний* и *мир земной*. Это противостояние выражено в десятках кульминационных стихотворений Фета, несущих в себе глубокую философскую мысль. Полярности конкретизируются в этих стихотворениях Фета как *высший мир духа* — *мир земной красоты*, как высокое и высочайшее, в равной степени желанные для поэта миры при всей их вертикальной несоизмеримости. Интенция к преодолению дуальности в полной мере сказывается в целом ряде стихотворений: поэт выстраивает явные или скрытые в образной ткани антиномии и одновременно соединяет их тем или иным способом. Для поэта словно не существует непреодолимой грани между противоположными сферами: объединяющая их красота делает высший мир, объект устремлений поэтической мысли, проницаемым и достижимым. Вертикальные оппозиции этой группы стихотворений претворяются в высшее единство

на религиозно намеченных путях (именно намеченных, никогда не данных в явном перевесе духовного или мыслительного над образным).

Охарактеризовав эти типы фетовских антиномий, можно перейти к целому ряду исходящих из них оппозиций и противопоставлений, будь то *время — вечность*, *день — ночь* и многие другие. Размышляя о фетовском мировоззрении, стоит еще раз подчеркнуть интенцию преодоления диадности, окрашенную проникновенным чувством *миров иных*, устремление к нераздельной двойственности бытия, к соединению антиномий в *чистую соразмерность* по Шлегелю, в проникновенную гармонию, многократно запечатленную поэтом. Эта соразмерность, связанность высшего и земного есть в точном значении слова — религия¹⁴, RELIGIO.

Список литературы

1. А. А. Фет: pro et contra: антология. 2-е изд., испр. и доп. / сост., вступ. ст., коммент. Т. А. Кошемчук. СПб.: РХГА, 2022. 960 с. (Сер.: Русский Путь.)
2. Бухштаб Б. Я. А. А. Фет // Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1959. С. 5–78. (Сер.: Б-ка поэта. Большая серия. 2-е изд.)
3. Герасимов К. С. Диалектика канонов сонета // Гармония противоположностей: аспекты теории и истории сонета. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1985. С. 17–51.
4. Горячев Д., свящ. Антиномика Флоренского. Белгород: Политерра, 2022. 172 с. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_49483089_21152169.pdf (10.05.2025). EDN: UZYFVK
5. Дарский Д. С. «Радость земли»: исследование лирики Фета. М.: К. Ф. Некрасов, 1916. 207 с.
6. Захаров В. Н. Концепция романа как творческий диалог Толстого и Достоевского: «Война и мир» и «Преступление и наказание» // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 2. С. 159–176 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1748517323.pdf (10.05.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2025.15202. EDN: TBLEDG
7. Константинова С. К. О некоторых особенностях поэтических антиномий А. А. Фета // Курское слово. 2010. № 7. С. 43–47 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24930581_67132699.pdf (10.05.2025). EDN: UZOLOZ
8. Кошемчук Т. А. О платонизме в поэзии Тютчева и композиции «платонических» стихотворений // Онтология стиха: сб. ст. памяти В. Е. Холшевникова. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2000. С. 210–227.
9. Лосев А. Ф. Философия имени. М.: Изд-во МГУ, 1990. 269 с.

¹⁴ От глагола *religare* (лат.) — связывать.

10. Мальчукова Т. Г. Антитезы и антиномии в поэзии А. С. Пушкина (к постановке вопроса) // Проблемы анализа художественного текста: к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова: мат-лы междунар. науч. конф. (Петрозаводск, 3–5 июня 2014 г.) / отв. ред. Л. Л. Шестакова, Н. В. Патроева. Петрозаводск: ПетрГУ, 2014. С. 62–65. EDN: TCPSTL
11. Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / пер. с англ. Р. Зерновой. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. 882 с.
12. Никольский Б. В. Основные элементы лирики Фета // А. А. Фет: pro et contra: антология. 2-е изд., испр. и доп. / сост., вступ. ст., коммент. Т. А. Кошемчук. СПб.: РХГА, 2022. С. 477–498. (Сер.: Русский Путь.) EDN: XITOUR
13. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977. Т. 3. 496 с.
14. Сафонова Т. В. «Тоскливый сон прервать единым звуком». Антитеза в лирике А. А. Фета // Русская речь. 2007. № 5. С. 13–15 [Электронный ресурс]. URL: <https://russkayarech.ru/ru/archive/2007-5/13-15?ysclid=mf-nzrbdm2c727534613> (10.05.2025).
15. Смирнов А. А. О двух романтических концепциях времени (Пушкин и Фет) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. Вып. 2. С. 94–101 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2363> (10.05.2025). EDN: SFOKFH
16. Станиславская С. А. Антитеза как структурно-семантический принцип организации поэтического текста (на материале поэзии Анны Ахматовой) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2021. Т. 21. Вып. 2. С. 166–170 [Электронный ресурс]. URL: https://bonjour.sgu.ru/sites/bonjour.sgu.ru/files/text-pdf/2023/05/9_s_a_stanislavskaya_1.pdf (10.05.2025). DOI: 10.18500/1817-7115-2021-21-2-166-170. EDN: GAEDDC
17. Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма: в 6 т. М.: Классика, 2003. Т. 2. 640 с.
18. Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1959. 899 с. (Сер.: Б-ка поэта. Большая серия. 2-е издание.)
19. Флоренский П. А. [Сочинения]. М.: Правда, 1990. Т. 1 (I): Столп и утверждение истины. 490 с. (Сер.: Прилож. к журн. «Вопросы философии». Из истории отечественной философской мысли.)
20. Bristol E. A History of Russian Poetry. New York; Oxford: Oxford University Press, 1991. 372 p.
21. Mönch W. Das Sonnet. Gestalt und Geschichte. Heidelberg: F. H. Kerle Verlag, 1955. 341 s.
22. Wachtel M. The Cambridge Introduction to Russian Poetry. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2004. 166 p. EDN: QSUAMN

References

1. A. A. Fet: *pro et contra: antologiya* [A. A. Fet: *Pro et Contra: An Anthology*]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2022. 960 p. (Ser.: The Russian Way.) (In Russ.)
2. Bukhshtab B. Ya. A. A. Fet. In: *Fet A. A. Polnoe sobranie stikhotvoreniy* [Fet A. A. *The Complete Collection of Poems*]. Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 1959, pp. 5–78. (Ser.: Library of the Poet. Large Series. 2nd Edition.) (In Russ.)
3. Gerasimov K. S. The Dialectic of the Sonnet Canons. In: *Garmoniya protivopolozhnostey: aspekty teorii i istorii soneta* [The Harmony of Opposites: Aspects of Sonnet Theory and History]. Tbilisi, Tbilisi State University Publ., 1985, pp. 17–51. (In Russ.)
4. Goryachev D., Priest. *Antinomika Florenskogo* [Florensky's Antinomies]. Belgorod, Politerra Publ., 2022. 172 p. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_49483089_21152169.pdf (accessed on May 10, 2025). EDN: UZYFVK (In Russ.)
5. Darskiy D. S. “*Radost' zemli*”: *issledovanie liriki Feta* [“The Joy of the Earth”: A Study of Fet's Lyrics]. Moscow, K. F. Nekrasov Publ., 1916. 207 p. (In Russ.)
6. Zakharov V. N. The Concept of the Novel as a Creative Dialogue Between Tolstoy and Dostoevsky: “War and Peace” and “Crime and Punishment”. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics], 2025, vol. 23, no. 2, pp. 159–176. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1748517323.pdf (accessed on May 10, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2025.15202. EDN: TBLEDG (In Russ.)
7. Konstantinova S. K. On Some Features of A. A. Fet's Poetic Antinomies. In: *Kurskoe slovo* [Kursk Word], 2010, no. 7, pp. 43–47. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_24930581_67132699.pdf (accessed on May 10, 2025). EDN: UZOLOZ (In Russ.)
8. Koshemchuk T. A. On Platonism in Tyutchev's Poetry and the Composition of “Platonic” Poems. In: *Ontologiya stikha: sbornik statey pamyati V. E. Kholshchevnikova* [The Ontology of Verse: A Collection of Articles in Memory of V. E. Kholshchevnikov]. St. Petersburg, Faculty of Philology of Saint Petersburg State University Publ., 2000, pp. 210–227. (In Russ.)
9. Losev A. F. *Filosofiya imeni* [The Philosophy of the Name]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Publ., 1990. 269 p. (In Russ.)
10. Mal'chukova T. G. Antitheses and Antinomies in A. S. Pushkin Poetry (to the Question). In: *Problemy analiza khudozhestvennogo teksta: k 200-letiyu so dnya rozhdeniya M. Yu. Lermontova: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii* (Petrozavodsk, 3–5 iyunya 2014 g.) [Problems of Literary Text Analysis: to the 200th Anniversary of M. Yu. Lermontov's Birth: Proceedings of the International Scientific Conference (Petrozavodsk, June 3–5, 2014)]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2014, pp. 62–65. EDN: TCPSTL (In Russ.)

11. Mirskiy D. S. *Istoriya russkoy literatury s drevneyshikh vremen do 1925 goda* [The History of Russian Literature from Ancient Times to 1925]. London, Overseas Publications Interchange Ltd Publ., 1992. 882 p. (In Russ.)
12. Nikol'skiy B. V. The Main Elements of Fet's Lyrics. In: *A. A. Fet: pro et contra: antologiya* [A. A. Fet: Pro et Contra: an Anthology]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2022, pp. 477–498. (Ser.: The Russian Way.) EDN: XITOUR (In Russ.)
13. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 10 tomakh* [The Complete Works: in 10 Vols]. 4th ed. Leningrad, Nauka Publ., 1977, vol. 3. 496 p. (In Russ.)
14. Safonova T. V. "To Interrupt a Dreary Dream with a Single Sound." The Antithesis in the Lyrics of A. A. Fet. In: *Russkaya rech'* [Russian Speech], 2007, no. 5, pp. 13–15. Available at: <https://russkayarech.ru/ru/archive/2007-5/13-15?ysclid=mfnzrbdm2c727534613> (accessed on May 10, 2025). (In Russ.)
15. Smirnov A. A. About Two Romantic Conceptions of Time (Pushkin and Fet). In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1992, issue 2, pp. 94–101. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2363> (accessed on May 10, 2025). EDN: SFOKFH (In Russ.)
16. Stanislavskaya S. A. Antithesis as a Structural and Semantic Principle of Organizing a Poetic Text (Based on the Poetry of Anna Akhmatova). In: *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Ser.: Filologiya. Zhurnalistika* [Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism], 2021, vol. 21, issue 2, pp. 166–170. Available at: https://bonjour.sgu.ru/sites/bonjour.sgu.ru/files/text-pdf/2023/05/9._s._a._stanislavskaya_1.pdf (accessed on May 10, 2025). DOI: 10.18500/1817-7115-2021-21-2-166-170. EDN: GAEDDC (In Russ.)
17. Tyutchev F. I. *Polnoe sobranie sochineniy i pis'ma: v 6 tomakh* [The Complete Works and Letters: in 6 Vols]. Moscow, Klassika Publ., 2003, vol. 2. 640 p. (In Russ.)
18. Fet A. A. *Polnoe sobranie stikhotvoreniy* [The Complete Collection of Poems]. Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 1959. 899 p. (Ser.: Library of the Poet. Large Series. 2nd Edition.) (In Russ.)
19. Florenskiy P. A. *Sochineniya* [Works]. Moscow, Pravda Publ., 1990, vol. 1 (1): The Pillar and Affirmation of Truth. 490 p. (Ser.: Supplement to the Journal "Problems of Philosophy". From the History of Russian Philosophical Thought.) (In Russ.)
20. Bristol E. *A History of Russian Poetry*. New York, Oxford, Oxford University Press Publ., 1991. 372 p. (In English)
21. Mönch W. *Das Sonnet. Gestalt und Geschichte* [The Sonnet. Form and History]. Heidelberg, F. H. Kerle Publ., 1955. 341 p. (In German)
22. Wachtel M. *The Cambridge Introduction to Russian Poetry*. Cambridge, New York, Cambridge University Press Publ., 2004. 166 p. EDN: QSUAMN (In English)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Кошемчук Татьяна Александровна, *Tatiana A. Koshemchuk*, PhD (Филологический факультет, профессор, зав. кафедрой иностранных языков и культуры речи, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (Петербургское шоссе, 2, г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, 196601, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4606-2525>; e-mail: koshemchukt@mail.ru).

Поступила в редакцию / Received 15.06.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 21.08.2025

Принята к публикации / Accepted 02.10.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15902

EDN: BLEDSN



Семантика вериг
в повести Л. Н. Толстого «Детство»,
романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
и рассказе А. П. Чехова «Убийство»

Е. Л. Сузрюкова

*Новосибирский государственный технический университет
(г. Новосибирск, Российская Федерация)*

e-mail: sellns@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается семантика образа вериг в повести Л. Н. Толстого «Детство», романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и рассказе А. П. Чехова «Убийство». Ношение вериг традиционно понимается как подвиг, совершаемый христианскими аскетами. В русской литературе XIX в. этот мотив актуализируется при изображении персонажей, наделенных чертами юродства и/или странничества. Осмысление рассматриваемого житийного по своему происхождению мотива в произведениях разных авторов неодинаково. В повести «Детство» и романе «Война и мир» Л. Н. Толстого тапан и княжна Марья, персонажи, искренне и глубоко верующие, признают духовную пользу ношения вериг, которые есть у странников, принимаемых ими в своих домах (Гриша, Федосьюшка). Вериги здесь — один из символов отречения юродивого или странника от мира, усиленный духовный подвиг, сопряженный с любовью к Богу. В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» вериги становятся знаком исключительно внешнего подвижничества, лишённого своего духовного содержания: отец Ферапонт, хотя и обладает некоторыми чертами юродивого, наделен гордостью. На наш взгляд, такая интерпретация образа вериг сопряжена у Ф. М. Достоевского со святоотеческой традицией, в частности — с практикой духовного руководства в Оптиной пустыни, которую писатель посетил в 1878 г. Так, в житии оптинского старца Леонида (Льва) есть эпизод, в котором упоминаются бесноватые, самовольно надевшие тяжелые вериги и не совершавшие при этом внутреннего духовного подвига очищения сердца от страстей, а потому и впавшие в состояние демонической одержимости. Отец Ферапонт в «Братьях Карамазовых» всюду видит нечистую силу. Он носит вериги, усиленно постится, ходит босым, но не сознает, что находится в состоянии тщеславия, зависти и осуждения. Ношение вериг без благословения превышает духовные силы персонажа. Смирение и покаяние, отказ от ношения вериг, как видно из жития преп. Леонида (Льва) Оптинского, — единственно возможный путь возвращения к должному духовному состоянию для героя, который он для себя, однако, не избирает. В рассказе

А. П. Чехова «Убийство» продолжается смысловая линия изображения вериг, заданная Ф. М. Достоевским. Матвей Терехов уклоняется в сектанство, осуждая священнослужителей Православной Церкви. При этом он носит вериги, много молится и усиленно постится, пытается самостоятельно совершать богослужение. Отречение от своих заблуждений сопровождается у персонажа также отказом носить вериги, мысль надеть которые, по словам его хозяина, исходит «от беса». В анализируемых произведениях Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова ценностно значимой, спасительной для души, оказывается именно православная вера, от которой герой не должен отступать, не уклоняясь исключительно во внешнее подвижничество, не оставляя Православную Церковь.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, вериги, юродивый, аскетика, семантика, православие

Для цитирования: Сузрюкова Е. Л. Семантика вериг в повести Л. Н. Толстого «Детство», романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и рассказе А. П. Чехова «Убийство» // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 307–328. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15902. EDN: BLEDSN

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15902

EDN: BLEDSN

Semantics of Chains in the Short Novel “Childhood” by L. N. Tolstoy, the Novel “The Brothers Karamazov” by F. M. Dostoevsky, and the Short Story “The Murder” by A. P. Chekhov

Elena L. Suzryukova

*Novosibirsk State Technical University
(Novosibirsk, Russian Federation)*

e-mail: sellns@mail.ru

Abstract. The article delves into the use of verigi (chains) as a symbol in L. N. Tolstoy’s autobiographical short novel “Childhood,” F. M. Dostoevsky’s novel “The Brothers Karamazov,” and A. P. Chekhov’s short story “The Murder.” The act of wearing chains is traditionally understood as a feat performed by Christian ascetics. In 19th-century Russian literature, this motif is actualized in texts through the depiction of characters endowed with traits of foolishness for Christ and/or on a pilgrimage. The interpretation of this hagiographic motif varies among different authors. Maman and Princess Mary, two deeply religious characters in Leo Tolstoy’s “Childhood” and “War and Peace,” realize the spiritual value of chains worn by their pilgrim guests (Grisha and Fedosyushka). In this context, chains symbolize the renunciation of worldly desires by the fool for Christ or the pilgrim, who represent a heightened spiritual feat

intertwined with love for God. In contrast, in Fyodor Dostoevsky's "The Brothers Karamazov," chains become a sign of purely external asceticism, devoid of its spiritual content: although Father Therapont's humility and love for his neighbors resemble certain features of a holy fool, he is endowed with pride. This interpretation of the chains imagery in Dostoevsky's works is linked, in our view, to the tradition of the holy fathers, particularly to the practices of spiritual guidance at Optina Monastery, which the writer visited in 1878. For example, in the life of Elder Leonid (Lev) of Optina, there is an episode about demon-possessed people who, while wearing heavy chains, fail to engage in the internal spiritual struggle required to cleanse their hearts of passions, eventually succumbing to demonic possession. Father Therapont in "The Brothers Karamazov" sees evil spirits everywhere. Despite wearing chains, fasting dutifully, and walking barefoot, he is unaware that he is consumed by vanity, envy, and judgement. Wearing chains without blessing exceeds the character's spiritual strength. As shown in the life of Elder Leonid (Lev) of Optina, true humility and repentance, rather than wearing chains, are the only means of returning to a proper spiritual state, which the protagonist fails to choose. In Anton Chekhov's "The Murder," the thematic thread of the imagery of chains initiated by Dostoevsky continues. Matvey Terekhov veers into sectarianism, condemning the clergy of the Orthodox Church. Meanwhile, he wears chains, prays a lot, and fasts rigorously, attempting to conduct his own liturgy. The character's rejection of his delusions is accompanied by his unwillingness to wear chains, which, according to his master, are "from the devil." In the analyzed works of L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky and A. P. Chekhov, it is the Orthodox faith that turns out to be valuable and saving for the soul, the faith from which the hero must not retreat, neither by deviating exclusively into external asceticism, nor by leaving the Orthodox Church.

Keywords: L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky, A. P. Chekhov, the image of chains, holy fool, ascetic, semantics, Orthodoxy

For citation: Suzryukova E. L. Semantics of Chains in the Short Novel "Childhood" by L. N. Tolstoy, the Novel "The Brothers Karamazov" by F. M. Dostoevsky, and the Short Story "The Murder" by A. P. Chekhov. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 307–328. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15902. EDN: BLEDSN (In Russ.)

В Православной энциклопедии вериги определяются как «тяжелые цепи или иные металлические предметы, ношение к<ото>рых на теле является одним из видов аскетического подвижничества»¹. В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля подробно перечисляется то, что относится к веригам: «...кандалы, цепи, железа, оковы; разного вида железные цепи, полосы, кольца, носимые спасающимися на голом теле, для смирения плоти; железная шляпа,

¹ Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. Т. 7: Варшавская Епархия — Веротерпимость / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. С. 714.

железные подошвы, медная икона на груди, с цепями от нее, иногда пронятыми сквозь тело или кожу и пр.»².

Среди русских подвижников, носивших вериги, наиболее известны преп. Никита Столпник (XII в.), преп. Евфросиния Полоцкая (XII в.), преп. Иринарх Ростовский (кон. XVI — нач. XVII в.). В житии преп. Никиты содержится история о чудесном возвращении вериг после смерти святого в монастырь, где он прежде подвизался: «... "ближние его два", прельстившиеся железными веригами, блескующими, как серебро, убили Никиту <...>. Житие заканчивается рассказом о возвращении в Никитский монастырь вериг и крестов Никиты. Они были брошены убийцами в Волгу неподалеку от ярославского монастыря во имя святых апостолов Петра и Павла, но не утонули, а плавали на поверхности воды и были найдены благодаря чудесному видению старцу Симону исходящих от них 3 каменных столбов высотой до неба и сияющих, как солнце» [Федотова: 519]. Образ вериг сопряжен здесь с семантикой драгоценности, а также со значением особого сияния, блеска, появившегося как посмертное чудо в житии подвижника. Что касается другого святого, носившего вериги, то «имеются упоминания о "будничных" и "праздничных" веригах преп. Иринарха. По подсчетам Корсунского, "труды" святого весили 9 пудов 34 фунта (свыше 150 кг)» [Доброцветов: 389]. Кроме того, в Православной энциклопедии отмечается, что «в<ериги> носили не только монахи-аскеты, но и нек<ото>рые церковно-государственные деятели — напр<имер>, Патриарх Московский и всея Руси Никон»³. В Вознесенском соборе Новоиерусалимского монастыря эти вериги «весом в 14 фунтов (около 6 кг)»⁴ висели продолжительное время. Их иногда спускали, чтобы возложить на больных: «Многие из недужных, с верою притекавших к гробнице патриарха Никона, получали от его вериг немедленное и полное исцеление»⁵.

² Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля: в 4 т. СПб.: Изд. книгопродавца-тип. М. О. Вольфа, 1880. Т. 1. С. 183.

³ См.: Православная энциклопедия. Т. 7. С. 714.

⁴ Крест в России. Альбом. М.: Даниловский благовестник, 2006. С. 184.

⁵ Там же.

Ношение на себе вериг было свойственно и юродивым, о чем упоминается, к примеру, в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина:

«...юродивые, или блаженные, нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека укорять в глаза беззаконною жизнью...»⁶.

О. А. Туминская, перечисляя средства «уничуждения плоти», применяемые юродивыми, пишет в том числе и о веригах: «Юродивые во Христе в вопросах усмирения плоти достигли апогея: они не только смиряли свое физическое естество, но и исповедовали максимум "уничуждения плоти", что выражалось в отказе от самых необходимых потребностей человека в жизни — еды, питья, одежды, жилища, общения с близкими, и удваивали свои страдания путем ношения вериг, власяниц, принятия дополнительных строжайших и болезненных обетов» [Туминская: 99]. Вериги здесь имеют семантику добровольно переносимых мук, ношение их — один из наиболее трудных аскетических подвигов.

В исследованиях, посвященных теме юродства, идет речь, в частности, о внешнем виде подвижников такого типа. Вериги здесь, по мнению А. М. Панченко, — «актерские атрибуты» [Панченко: 93]. Ученый указывает на наиболее яркие элементы внешнего облика, которые характеризуют юродивого: «колпак великий и тяжкий» Иоанна Водоносца, «медные кольца» на его «тайных удах» [Панченко: 93]. А. М. Панченко отмечает: «Юродивый — это актер *suí generis*, как клоун или конферансье. Костюм юродивого должен прежде всего подчеркивать его особность, непохожесть, выделять его из толпы. Отсюда разнообразие костюмов юродивых, которые удовлетворяют только одному условию — они обязательно экстравагантны» [Панченко: 93]. В таком случае вериги в числе прочих «несообразностей» в облике юродивого, как считает исследователь, включены в зрелище, цель которого — «ругаться миру», т. е. «жить в миру, среди людей, обличая пороки и грехи сильных и слабых и не обращающая внимания на общественные приличия» [Панченко: 79].

⁶Карамзин Н. М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2007. С. 843.

Однако, с точки зрения И. А. Есаулова, «юродство является не эксцентрическим отклонением от "нормы", а ее восстановлением» [Есаулов: 185]. Более того, ученый пишет, что «в русской православной традиции главным ориентиром является не "норма", определяемая Законом, а святость, соприродная Благодати, которой и наследует юродство» [Есаулов: 185]. В этом контексте внешний вид юродивого — признак его отделенности от мира греха и знак приобщения к Небесному Царству: «В целом пасхальный характер юродства проявляется, очевидно, в том, что люди должны помнить об изгнанности из рая и не принимать здешний земной мир — даже после явления в нем Христа — за этот рай. Спасение "куплено" ценою Распятия: надеющимся на воскресение следует всегда помнить об этом» [Есаулов: 164]. В. В. Иванов называет юродивого героя «хриstopодобным человеком» [Иванов, 2016: 100], «странность поступков» которого «возникает как следствие акта пробужденной совести» [Иванов, 2016: 97]. Ношение вериг в этом контексте позволяет осмысливать их как эксплицитно данный знак духовного движения к Богу.

Добавим, что в молитвословии вериги уподобляются грехам («Ко множеству мѣлости Твояе ныне прибегаю: разреши вериги, Богородице, согрешений моих» (тропарь по 19-й кафизме Псалтири⁷)), следовательно, ношение их — еще и зримое напоминание подвижнику о необходимости покаяния для спасения души.

В русской литературе XIX в. вериги в прямом значении слова вводятся в художественный текст не так часто. В «Борисе Годунове» А. С. Пушкина есть ремарка:

«Входит Юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками» [Пушкин: 77].

Здесь вериг подчеркнута много, и они не скрыты от постороннего взгляда. «Шапка», согласно словарю В. И. Даля, тоже относится к веригам, хотя автор и разделяет здесь вериги как таковые и носимый на голове «убор». Железо, из которого сделаны вериги, по словам Л. В. Карасева, имеет семантику смертности, оно «агрессивно и беспощадно» [Карасев: 103].

⁷ Псалтирь. М.: Трифонов Печенгский монастырь, «Новая книга», «Ковчег», 2001. С. 326.

В аскетическом плане железные вериги — и символ покаяния, и способ «умерщвления» плоти, греховного начала в себе.

В первой части трилогии Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность» дети желают увидеть вериги, которые носит «юродивый и странник Гриша» [Толстой; т. 1: 17], не выставляя их напоказ, в отличие от пушкинского героя, и для этого они прячутся в чулане, где Грише дали ночлег. Но в результате дети так и не увидели вериг, хотя можно было угадать, что они все же имеются:

«Оставшись в одном белье, он [Гриша] тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно было, с усилием — потому что поморщился — поправил под рубашкой вериги» [Толстой; т. 1: 34].

Это «тайна» подвижника, «великого христианина», как называет его повествователь, которая парадоксальным образом все же стала известна людям.

Первое упоминание вериг в этом произведении связано с образом матан. Вериги она использует в качестве одного из аргументов «в защиту» юродивых:

«...трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и не снимая носит под платьем вериги в два пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, — трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени» [Толстой; т. 1: 19].

В словах матушки Николеньки сообщается в том числе и о весе вериг (пуд — 16,38 кг, значит, вериги Гриши весят около 32,72 кг). В целом же матан предстает в этой сцене как человек искренне и глубоко верующий, для которого очевидны отдельные грани подвижничества юродивых. И. В. Мотеюнайте отмечает, что образ Гриши позволяет судить о различии духовных и культурных ориентаций матери и отца Николеньки Иртеньева. «Показательно уже различие замечаемых родителями внешних деталей: мать видит вериги на ногах, а отец — грязные ноги» [Мотеюнайте: 293–294]. Заметим, однако, что вериги Гриша носит не на ногах, а под одеждой. Тем не менее оценка исследователя верна: отец в повести

показан как человек рационалистической культуры, нерелигиозный, а мать, Наталья Николаевна, «душевно тонкая и впечатлительная» [Мотеюнайте: 294] — напротив, приобщена «к непостижимому рассудком миру» [Мотеюнайте: 294] веры. Она знает о «невидимых» для поверхностного взгляда веригах, свидетельствующих об аскетической стороне жизни Гриши. Дети соприкасаются с нею, пытаются как раз увидеть то, что недоступно взгляду человека нерелигиозной культуры. В результате вериги становятся знаком приобщения повествователя к миру веры и чувству близости к Богу. Пытаясь разглядеть вериги, дети видят и слышат, как молится юродивый. Таким образом, от внешнего знака богоугодной жизни, вызывающего любопытство, для них открывается путь внутреннего «делания», жизни в соответствии с христианской верой, который, как и вериги, скрыт от постороннего взора⁸.

Подобного рода персонаж появляется и в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (том второй, ч. 3, глава XXVI):

«Была одна странница, Федосьюшка, 50-ти-летняя, маленькая, тихенькая, рябая женщина, ходившая уже больше 30-ти лет босиком и в веригах» [Толстой; т. 10: 237].

Эту странницу принимает у себя княжна Марья Болконская, образ которой, как и образ татап в повести «Детство», связан с родной матерью писателя, урожденной кн. Марией Николаевной Волконской. Княжна Марья в романе Л. Н. Толстого размышляет о сущности подвига такого рода «Божьих людей»:

«...Христос, Сын Бога сошел на землю и сказал нам, что эта жизнь есть мгновенная жизнь, испытание, а мы все держимся за нее и думаем в ней найти счастье. Как никто не понял этого? — думала княжна Марья. — Никто кроме этих презренных Божьих людей, которые с сумками за плечами приходят ко мне с заднего крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать от него, а для того, чтоб его не ввести в грех. Оставить семью, родину, все заботы о мирских благах для того, чтобы не прилепляясь ни к чему, ходить в посконном рубище, под чужим именем с места на место, не делая вреда людям, и молясь за них, молясь и за тех, которые гонят, и за тех, которые

⁸ О связи Гриши с мотивами смерти и принятия воли Божией, следования евангельской Истине см.: [Федорова, Любарец].

покровительствуют: выше этой истины и жизни нет истины и жизни!» [Толстой; т. 10: 236].

Федосьюшка с ранней юности отказалась от мирской жизни. Она, как и Гриша, несет подвиг странничества. Объединяет их в тексте образ вериг (ношение избыточной тяжести) и хождение без обуви (лишение себя необходимого). Это знаки отказа от принадлежности к сфере мирского, недуховного. Здесь присутствует и появление несвойственных человеку качеств: перенесение любых условий погоды, необычная выносливость, терпение. Все это признаки духовной силы в поэтике Л. Н. Толстого.

Княжна Марья желает и сама стать такой же странницей и получает на это благословение от духовника:

«В воображении своем она уже видела себя с Федосьюшкой в грубом рубище, шагающею с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам, и в конце концов, туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а вечная радость и блаженство» [Толстой; т. 10: 237].

С. Р. Шаваринская отмечает: «Вера княжны Марьи канонична, при этом ей свойственно стремление к подвижничеству в простонародном его понимании, когда странствие понимается как великое дело, ради которого можно бросить все и идти милостынею по миру, молясь за всех» [Шаваринская: 69]. Однако княжна выбирает для себя иной путь:

«Но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она грешница: любила отца и племянника больше, чем Бога» [Толстой; т. 10: 237].

Странничество, таким образом, остается для княжны высоким идеалом, не воплощенным в жизнь, хотя путь ее семейной жизни, по словам С. Р. Шаваринской, «Толстой изображает как ответ любви горней» [Шаваринская: 70].

Итак, вериги у Л. Н. Толстого — атрибут подвижника, юрдивого и/или странника, символ истинной веры, знак отрешенности от соблазнов мирской жизни, причастности миру духовному.

Интересно, что в XX в. у представителя русского зарубежья, писателя В. А. Никифорова-Волгина, появляется рассказ «Вериги Толстого», в котором прозаик, по словам О. В. Христолюбовой и Е. В. Ясновой, обращается «к теме возможного покаяния Толстого, стремления искупить свой грех, нося на своем теле, как следует из текста, тяжелые вериги, которые после его смерти были захоронены в лесу» [Христолюбова, Яснова: 234]. Рассказ деда Арсения, слышавшего о веригах Льва Толстого от «одного захожего человека»⁹, служившего на станции Астапово, — оправдание Л. Н. Толстого, чьи художественные произведения он высоко ценит:

«До слез, говорю, книжки его люблю читать, где он про мужиков да про любовь Христову пишет...» (*Никифоров-Волгин, 2013: 250*).

Целью пути Толстого Арсений считает монастырь, в котором писатель, как рассказывает старик, намеревался снять вериги:

«Перед смертью он хотел вериги с себя снять и в монастыре их оставить...» (*Никифоров-Волгин, 2013: 249*).

Заметим, что сама тема тайны смерти созвучна у В. А. Никифорова-Волгина с мотивом, присутствующим в ряде произведений Л. Н. Толстого («Три смерти», «Смерть Ивана Ильича», «Посмертные записки старца Федора Кузмича...» и др.). Присутствует в тексте и скептическая нота:

«— Ну уж, дедушка, это побасенки! — улыбнулись мы. — Никаких вериг Толстой не носил. Жизнь и смерть его изучены до последней мелочи!» (*Никифоров-Волгин, 2013: 249*).

Но эта фраза, звучащая в первой половине текста, не получает своего развития, а история деда Арсения, напротив, обростает подробностями. Л. Н. Толстой для В. А. Никифорова-Волгина в контексте данного рассказа, по-видимому, является образом раскаявшегося грешника, чье покаяние было скрыто от посторонних глаз. В тексте не упоминаются сочинения Толстого, направленные против догматов Православной

⁹ Никифоров-Волгин В. А. Ключи заветные от радости. М.: Дарь, 2013. С. 249–250. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Никифоров-Волгин, 2013* и указанием страницы в круглых скобках.

Церкви. В. А. Никифоров-Волгин включает в свой рассказ лишь то, что способствует духовному преобразению человека, то, что не противоречит его собственной вере. Несомненно, это говорит о стремлении самого автора русского зарубежья XX в. видеть в человеке лучшее, что в нем есть. Читателю предоставляется возможность самостоятельно решить, прав или нет дед Арсений, рассказавший удивительную историю о Льве Толстом.

В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» вериги носит персонаж, которого считали юродивым. Это отец Ферапонт:

«...из приходящих мирских очень многие чтили его как великого праведника и подвижника, несмотря на то, что видели в нем несомненно юродивого. Но юродство-то и пленяло» [Достоевский: 151].

«Говорили, что носит он на себе под армяком тридцатифунтовые вериги. Обут же был в старые почти развалившиеся башмаки на босу ногу» [Достоевский: 152].

Слух о ношении персонажем вериг подтверждается в первой главке седьмой книги романа «Глетворный дух», когда отец Ферапонт появляется для обличения уже почившего старца Зосимы¹⁰:

«Ноги же совсем были босы. Как только стал он махать руками, стали сотрясаться и звенеть жестокие вериги, которые носил он под рясой» [Достоевский: 302].

С одной стороны, в этой сцене подчеркивается принадлежность отца Ферапонта древней христианской аскетической традиции, но с другой — здесь обнаруживается то, что должно быть скрыто от постороннего взгляда. Вместо тайно совершаемого подвига — его подчеркивание. Вместо «уничтожения плоти» — демонстрация окружающим якобы должного духовного состояния, что говорит об отсутствии смирения, о духе гордыни. Рассуждая об образе отца Ферапонта, В. Розанов указывал именно на такое духовное его качество, вопреки внешним подвигам:

¹⁰ О семантике имен Зосимы и Ферапонта см.: [Мартынюк].

«Ферапонт, несмотря на слова о себе "поган есмь" (что довольно верно), имеет Богом себе свою гордость...» [Розанов: 13].

Войдя в келью с гробом, отец Ферапонт проводит обычный для себя обряд экзорцизма¹¹, сопровождаемый словами:

«— Сатана, изыди, сатана, изыди! — повторял он с каждым крестом. — Извергая извергну! — возопил он опять» [Достоевский: 302].

Интересно, что императив «изыди» повторяет уже отец Паисий по отношению к отцу Ферапонту:

«— Изыди, отче! — повелительно произнес отец Паисий, — не человеки судят, а Бог. Может, здесь "указание" видим такое, коего не в силах понять ни ты, ни я и никто. Изыди, отче, и стадо не возмущай! — повторил он настойчиво» [Достоевский: 303].

Л. Милентиевич так трактует эту сцену: «Уже не помогают увещевания отца Паисия "не тревожить малое стадо", потому что для Ферапонта возрастает самоощущение святости, которое было естественно присуще апостолам и святым, а теперь вкатилось в "не поправленное" сердце Ферапонта. Он привык, чтобы многие обращались к нему с большим почтением <...>. Он требует к себе *adoratio*, как церковному служителю» [Милентиевич: 84–85].

В связи с рассматриваемой ситуацией следует обратиться к эпизоду из жития преп. Леонида (Льва) Оптинского, в котором упоминаются вериги:

«Приводили к преп. Леониду и многих бесноватых. Было также немало и таких, которые прежде и сами не знали, что они одержимы бесом, и только в присутствии старца по обличении

¹¹ Заметим, что, по народным поверьям, железо, из которого сделаны вериги, является оберегом от нечистой силы. Е. Е. Левкиевская отмечает: «Часто в качестве оберегов используются предметы, сделанные из железа: игла, нож, ножницы, коса, топор, вилы и др. колющие и режущие железные предметы. Они служат для охраны роженицы и ребенка, а также молодых на свадьбе от порчи и болезней (о.-слав.); в Сочельник их втыкают в лавку и кладут под стол, чтобы оградить дом от покойников (з.-укр.). Оберегами являются также кочерга, ухват, сковорода и другие железные предметы, связанные с очагом и с огнем — с их помощью отвращали градовые тучи (полес., з.-укр., ю.-слав.)» [Левкиевская: 200]. Железные вериги тоже, по-видимому, приобретают такую семантику.

им таившейся в них прелести начинали бесноваться. Так нередко бывало с теми из мирских неразумных подвижников, которые все спасение души своей поставляли в том, что облагались тяжелыми железными веригами, нисколько не помышляя об очищении сердца от страстей. Преп. Леонид приказывал с таких людей снимать вериги, и, когда воля его исполнялась, у некоторых из них становилось явным беснование. На всех таких страдальцев старец возлагал епитрахиль и читал над ними краткую заклинательную молитву из требника, а сверх того помазывал их елеем или давал им оный пить, и было очень много поразительных случаев чудесных исцелений»¹².

Ношение вериг здесь сопряжено с духовной опасностью, так как человек становится открыт воздействию на него духов зла, если такой человек не пытается исполнять заповеди Божии в своей жизни¹³. Ф. М. Достоевский, посетивший Оптиную пустынь в 1878 г., мог или знать этот эпизод из жития преп. Леонида (Льва), и/или наблюдать подобные случаи при старце Амвросии Оптинском.

Отец Ферапонт, видящий инфернальные образы, то есть одержимый ими («постоянные бесовидения указывают на то, что Ферапонт в заблуждении», — пишет свящ. М. Липунцов, относящий отца Ферапонта к типу ложного духовника [Липунцов: 254]), подвизается лишь внешне, без внутреннего духовного делания, очищения своего сердца. Отсюда — гордыня ума, порождающая обличение и осуждение ближнего. Вериги в этом контексте становятся знаком формы, лишенной внутреннего — должного для подвижника благодатного — содержания.

В житии преп. Леонида идет речь и о противнике старчества, каким показан в романе Ф. М. Достоевского отец Ферапонт:

«Против старца восстал некто отец Вассиан, который себя считал старожилом в монастыре и не признавал старческого

¹² Великие старцы Оптиной пустыни / вступ. ст. А. Яковлева. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2003. С. 44–45.

¹³ Ср. с высказыванием преп. Феофана Затворника: «Существенно необходимы внешние подвиги; но останавливаться на них одних — беда!». Феофан (Говоров Г. В.) Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Начертание христианского нравоучения: [в 2 т.]. [Репринт. изд.]. Печоры; М.: Изд-во Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря: Паломник, 1994. Т. 1. С. 56.

руководства. Этот отец Вассиан признавал только внешние подвиги умерщвления плоти. Подобный ему инок описан Достоевским в романе "Братья Карамазовы" под именем Ферапонта. Вассиан стал писать доносы на старца»¹⁴.

Вериги в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», таким образом, не связаны с истинным духовным подвигом верующего человека. А отец Ферапонт, несмотря на ношение вериг, заблуждается. Его духовный путь, в отличие от пути старца Зосимы, не привел к любви, а значит, и к Богу.

Среди рассказов и повестей А. П. Чехова вериги в прямом значении слова упоминаются лишь в одном тексте — рассказе «Убийство». Их носил некоторое время один из персонажей семьи, прозванный Богомолowym, хотя настоящая его фамилия — Терехов:

«Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище — Богомоловы. Но, быть может, оттого, что они жили особняком, как медведи, избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. Бабка Авдотья, которая построила постоялый двор, была старой веры, ее же сын и оба внука (отцы Матвея и Якова) ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образом молились с таким же благоговением, как старым; сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор, а у внуков была та особенность, что они понимали Писание не просто, а все искали в нем скрытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна. Правнук Авдотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаниями и едва не погиб, другой правнук, Яков Иванович, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома» [Чехов: 143–144].

Фамилия-прозвище, полученная семейством, парадоксальным образом указывает не на особую глубину его веры и близость к Богу, а на приверженность к религиозным поискам, разные формы отклонения от православия — традиционной религии русского народа. Основой такого отклонения в тексте названы «мечтания», порождающие «колебания в вере».

¹⁴ Великие старцы Оптиной пустыни. С. 41.

По свт. Феофану Затворнику, «свойства сей мечтательности, именно: удаление от действительного, развлечение, смятение, непостоянство мыслей — дают ясно разуместь ее причину. Когда человек сдвинулся со своего места истинного и попал в ложное, неистинное, то вслед за тем и мысли его устремились не к тому, что истинно, а к тому, что мнится быть таковым — к обманчивым призракам»¹⁵:

«...когда самовольная фантазия как в темницу какую заключает человека, в сем мраке всюю силою начинает свирепствовать сатана. Когда фантазия предается самовольному движению, тогда приходит сатана в сердце и похищает у него Слово Божие или добро, как семя, посеянное при пути, и, напротив, засеменяет свое зло, как в притче враг человек посеял плевелы среди пшеницы. Опомнившись от мечтаний, человек находит, что настроен на известное зло, и понять не умеет, как и откуда»¹⁶.

Матвей в рассказе «едва не погиб» [Чехов: 143] от мечтаний. «Мечтанием» Матвей называет помысел, который пришел ему во время совершения Таинства исповеди:

«Только вот по прошествии времени исповедаюсь я однажды у священника и вдруг такое мечтание: ведь священник этот, думаю, женатый, скоромник и табачник; как же он может меня исповедать и какую он имеет власть отпускать мне грехи, ежели он грешнее, чем я? Я даже постного масла остерегаюсь, а он, небось, осетрину ел. Пошел я к другому священнику, а этот, как на грех, толстомясый, в шелковой рясе, шуршит будто дама, и от него тоже табаком пахнет. Пошел я говеть в монастырь, и там мое сердце не спокойно, все кажется, будто монахи не по уставу живут» [Чехов: 138–139].

За «мечтанием» скрывается здесь осуждение, горделивое превозношение, самомнение. Предшествуют этому усиленные внешние подвиги, среди которых есть те, что свойственны были юродивым Христа ради:

«Самое первое, дал я обет не кушать по понедельникам скоромного и не кушать мяса во все дни, и вообще с течением времени нашла на меня фантазия. В первую неделю Великого поста до субботы

¹⁵ Феофан (Говоров Г. В.) Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. С. 259.

¹⁶ Там же. С. 261.

святые отцы положили сухоядение, но трудящим и слабым не грех даже чайку попить, у меня же до самого воскресенья ни крошки во рту не было, и потом во весь пост я не разрешал себе масла ни отнюдь, а в среды и пятницы так и вовсе ничего не кушал. <...> И, кроме того, налагал я на себя всякие послушания: вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну, и вериги тоже» [Чехов: 138].

Хождение босиком по снегу, ношение вериг, чрезмерный пост без благословения — начальные ступени пути, который приведет Матвея к организации отделенной от Церкви общины и впадению в блуд, а затем и в болезни. К. А. Лукьяненко, анализируя линию Матвея в этом рассказе, пишет: «Самочинное уклонение — это прямое нарушение аскетической традиции, которая предполагает духовное руководство мудрыми наставниками, без которых многие сбивались с верного пути и "повреждались"» [Лукьяненко: 35]. Возвращению к православной вере персонажа будет способствовать беседа с хозяином Осипом Варламычем, человеком «строгой, богоугодной жизни и труженником» [Чехов: 140]. Хозяин даст трезвую духовную оценку происшедшему.

«Ну, запер дверь и — "давно, говорит, я до тебя добираюсь, такой-сякой... Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой, а богоотступник, еретик и злодей!.." И пошел, и пошел... Не могу я вам выразить, как это он говорил, складненько да умненько, словно по-писаному, и так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами, открылись мои глаза. Слушал я, слушал и — как зарыдаю! "Будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверх обыкновения, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, моленная твоя от беса; все, говорит, это гордость"» [Чехов: 140–141].

Вериги в этой ситуации — знак отдаления от Церкви, а не принадлежности к ней. Более того, указан и источник, побуждающий героя носить вериги — inferнальная сила. В такой смысловой системе ношение вериг — уже не служение Богу, а служение Его противнику. Путь отпадения от истинной веры в рассказе пройдет и брат Матвея, Яков Иваныч, осудивший младшего брата за вкушение масла и совершивший тяжкий грех

братоубийства, Каинов грех. В конце рассказа Яков обретет «простую веру», но, подобно евангельскому богачу из притчи о богаче и Лазаре, он поймет, что сожаления его окажутся слишком поздно пришедшими и прошлое уже невозвратимым.

В художественной прозе Л. Н. Толстого вериги носят юродивые странники (Гриша, Федосьюшка). Рассматриваемый образ сопряжен с семантикой святости, крайним аскетизмом, отказом от всего мирского. В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» инок Ферапонт, носящий вериги, не достигает духовной цели, ради которой должны совершаться такого рода тяжелые упражнения для смирения плоти и духа. В. В. Иванов пишет о «ложном юродстве Ферапонта» [Иванов, 2004: 270]. Исследователь утверждает: «Не телесным, но духовным благовоением обладает истинная святость, не внешней, но внутренней красотой должен обладать христианский подвижник» [Иванов, 2004: 269]. Вериги поэтому здесь оказываются семантически «пустым» знаком, поскольку принадлежат персонажу, который подвизается без смирения и покаяния. Это подвиг, взятый на себя без рассуждения и без духовного благословения, что, в частности, выражается и в непонимании этим персонажем сути старческого служения, и в «бесовидениях». Ношение вериг усиливает состояние гордости, в котором пребывает персонаж, а не исцеляет от нее. В рассказе А. П. Чехова «Убийство» вериги носит отпавший от Церкви Матвей Терехов. Возвращение этого героя в лоно Церкви сопровождается отказом от ношения вериг и от других аскетических упражнений, взятых на себя самовольно. Это тоже лже-юродивый, его вериги становятся знаком гордости, самомнения. Вериги в рассматриваемых нами произведениях являются знаком, позволяющим характеризовать истинно или ложно юродивых, устремленных к Богу в смиренном сознании своей немощи или горделиво превозносящихся над другими.

Ношение вериг для героев рассматриваемых нами произведений — попытка через вещное, материальное найти выход к вечному, духовному. Такой подвиг оставляет печать «инаковости» на персонаже, готовом угнетать плоть ради возвышения духа. Однако веригоношение не является безусловной гарантией спасения души. В отличие от святых в древнерусских

житиях, литературные герои с веригами в XIX в. необязательно приобщаются к Божьему миру. Тем не менее это попытка преодолеть земное «притяжение» ради обретения Царства Небесного в сюжете богоискательства. Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, вводя в повествование героя с веригами, пытаются найти ответ на вопрос: в чем заключается истинное служение Богу? Ценностно значимой для авторов анализируемых нами текстов является православная вера, от которой герой не должен уклоняться, обращаясь лишь к внешним подвигам и оставляя исполнение заповедей о любви к Богу и ближним.

Список литературы

1. Доброцветов П. К. Иринарх, затворник, Борисоглебский, Ростовский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. Т. 26: Иосиф I Галисиот — Исаак Сирий / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С. 387–393.
2. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14: Братья Карамазовы. Кн. 1–10. 510 с.
3. Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с. EDN: QRDEXB
4. Иванов В. В. Христианские традиции в творчестве Ф. М. Достоевского: дис. ... д-ра филол. наук. Петрозаводск, 2004. 428 с. EDN: NMYPQJ
5. Иванов В. В. Юродивый герой в диалоге духовных типов // Вестник Костромского государственного университета. 2016. Т. 22. № 3. С. 96–101 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26673836_83484475.pdf (10.07.2025). EDN: WLSHJR
6. Карасев Л. В. О символах Достоевского // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 90–111. EDN: SGKCDP
7. Левкиевская Е. Е. Железо // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. М.: Междунар. отношения, 1999. Т. 2: Д — К (Крошки). С. 198–201.
8. Липунцов М., свящ. Образы пастырей и духовное окормление в произведениях Ф. М. Достоевского // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. Тамбов, 2019. № 7. С. 242–262 [Электронный ресурс]. URL: <https://ojs.tamds.ru/1/article/view/37/43> (10.07.2025). EDN: SCAPJJ
9. Лукьяненко К. А. Рискогенный потенциал гиперрелигиозности (на примере повести А. П. Чехова «Убийство») // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2017. Т. 17. № 1. С. 32–39 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28990427_45515725.pdf (10.07.2025). DOI: 10.18500/1819-7671-2017-17-1-32-39. EDN: YKKIMF

10. Мартынюк О. А. О различии христианского миропонимания в речи героев романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (старца Зосимы и отца Ферапонта) // Волжский вестник науки. 2017. № 3 (7). С. 26–28 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29449577_91141946.pdf (10.07.2025). EDN: YULOQJ
11. Милендиевич Л. Столкновение двух христианств в образах Зосимы и Ферапонта // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2019. № 2 (6). С. 72–97 [Электронный ресурс]. URL: https://dostmirkult.ru/images/DOST_2019-26-intern1-73-98.pdf (10.07.2025). DOI: 10.22455/2619-0311-2019-2-72-97. EDN: NFFKRR
12. Мотенюайте И. В. Образ юродивого Гриши как знак русской православной культуры в повести Л. Н. Толстого «Детство» // Славянский альманах 1999. М.: Индрик, 2000. С. 293–298 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-yurodivogo-grishi-kak-znak-russkoj-pravoslavnoy-kultury-v-povesti-l-n-tolstogo-detstvo/viewer> (10.07.2025).
13. Панченко А. М. Смех как зрелище // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 72–153. EDN: YLGULA
14. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 17 т. М.: Воскресенье, 1995. Т. 7: Драматические произведения. 395 с.
15. Розанов В. В. Собрание сочинений. Около церковных стен / под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995. 558 с.
16. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1935. Т. 1. 358 с.; 1938. Т. 10. 432 с.
17. Туминская О. А. Мотив уничтожения плоти аскетов средневековья в русском изобразительном искусстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2017. Т. 7. № 1. С. 98–114 [Электронный ресурс]. URL: <https://artsjournal.spbu.ru/article/view/1950/1743> (10.07.2025). DOI: 10.21638/11701/spbu15.2017.106. EDN: ZCCSGV
18. Федорова Е. А., Любарев В. В. Телеологический сюжет в произведениях Достоевского и Толстого о детстве // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2024. № 2 (53). С. 242–249 [Электронный ресурс]. URL: <https://portal.novsu.ru/file/2145914> (10.07.2025). DOI: 10.34680/2411-7951.2024.2(53).242-249. EDN: QSTSPE
19. Федотова М. А. Никита, прп., Столпник, Переяславский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2018. Т. 49: Непеин — Никодим / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С. 516–519.
20. Христолюбова О. В., Яснова Е. В. Духовные портреты А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого в восприятии В. А. Никифорова-Волгина // Проблемы гуманитарного образования: филология, журналистика, история: сб. науч. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Т. В. Стрыгиной. Пенза: Пензенский гос. ун-т, 2016. С. 232–235. EDN: XGNSAT
21. Чехов А. П. Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Наука, 1977. Т. 9. 541 с.

22. Шаваринская С. Р. Отражение духовных исканий Л. Н. Толстого в изображении женских типов и характеров в романе «Война и мир» (образ княжны Марьи) // Духовно-нравственные основы русской литературы: сб. науч. ст. по материалам Шестой Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. Н. Г. Коптелова; отв. ред. А. К. Котлов. Кострома: Костромской гос. ун-т, 2018. С. 68–70. EDN: HVIUFF

References

1. Dobrotsvetov P. K. Irinarch, a Recluse, Borisoglebsky, of Rostov. In: *Pravoslavnyaya entsiklopediya [Orthodox Encyclopedia]*. Moscow, Tserkovno-nauchnyy tsentr “Pravoslavnyaya entsiklopediya” Publ., 2011, vol. 26, pp. 387–393. (In Russ.)
2. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [The Complete Works: in 30 Vols]*. Leningrad, Nauka Publ., 1976, vol. 14. 510 p. (In Russ.)
3. Esaulov I. A. *Paskhal'nost' russkoy slovesnosti [Paskhal'nost' of Russian Literature]*. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p. EDN: QRDEXB (In Russ.)
4. Ivanov V. V. *Khristianskie traditsii v tvorchestve F. M. Dostoevskogo: dis. ... d-ra. filol. nauk [Christian Traditions in the Works of F. M. Dostoevsky. PhD. philol. sci. diss.]*. Petrozavodsk, 2004. 428 p. EDN: NMYPQJ (In Russ.)
5. Ivanov V. V. Feeble-Minded Hero in Spiritual Types' Dialogue. In: *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Kostroma State University]*, 2016, vol. 22, no. 3, pp. 96–101. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_26673836_83484475.pdf (accessed on 10 July, 2025). EDN: WLSHJR (In Russ.)
6. Karasev L. V. About Dostoevsky's Symbols. In: *Voprosy filosofii*, 1994, no. 10, pp. 90–111. EDN: SGKCDP (In Russ.)
7. Levkieskaya E. E. The Iron. In: *Slavyanskije drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 tomakh [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary: in 5 Vols]*. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 1999, vol. 2, pp. 198–201. (In Russ.)
8. Lipuntsov M., Priest. Images of Priests and Spiritual Guidance in F. M. Dostoevsky's Works. In: *Bogoslovskiy sbornik Tambovskoy dukhovnoy seminarii [Theological Collection of Tambov Theological Seminary]*, 2019, no. 7, pp. 242–262. Available at: <https://ojs.tamds.ru/1/article/view/37/43> (accessed on 10 July, 2025). EDN: SCAPJJ (In Russ.)
9. Luk'yanenko K. A. Risk-Producing Potential of Hyperreligiosity (by the Example of Anton Chekhov's Story “The Murder”). In: *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filosofiya. Psikhologiya. Pedagogika [Izvestiya of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy]*, 2017, vol. 17, no. 1, pp. 32–39. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_28990427_45515725.pdf (accessed on 10 July, 2025). DOI: 10.18500/1819-7671-2017-17-1-32-39. EDN: YKKIMF (In Russ.)
10. Martynyuk O. A. About the Difference of the Christian Worldview in the Speech of Characters of F. M. Dostoyevsky's Novel “The Brothers Karamazov” (The Elder Zosima and Father Ferapont). In: *Volzhskiy vestnik nauki*,

- 2017, no. 3 (7), pp. 26–28. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_29449577_91141946.pdf (accessed on 10 July, 2025). EDN: YULOQJ (In Russ.)
11. Milentievich L. The Clash of Two Christianities in the Images of Zosima and Ferapont. In: *Dostoevskiy i mirovaya kul'tura. Filologicheskij zhurnal [Dostoevsky and World Culture. Philological Journal]*, 2019, no. 2 (6), pp. 72–97. Available at: https://dostmirkult.ru/images/DOST_2019-26-intern1-73-98.pdf (accessed on 10 July, 2025). DOI: 10.22455/2619-0311-2019-2-72-97. EDN: NFFKRR (In Russ.)
 12. Moteyunayte I. V. The Image of the Holy Fool Grisha as a Sign of Russian Orthodox Culture in the Short Novel “Childhood” by L. N. Tolstoy. In: *Slavyanskiy al'manakh 1999 [Slavic Almanac 1999]*. Moscow, Indrik Publ., 2000, pp. 293–298. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-yurodivogo-grishi-kak-znak-russkoy-pravoslavnoy-kultury-v-povesti-l-n-tolstogo-detstvo/viewer> (accessed on 10 July, 2025). (In Russ.)
 13. Panchenko A. M. Laughter as a Spectacle. In: *Likhachev D. S., Panchenko A. M., Ponyrko N. V. Smekh v Drevney Rusi [Likhachev D. S., Panchenko A. M., Ponyrko N. V. Laughter in Ancient Rus']*. Leningrad, Nauka Publ., 1984, pp. 72–153. EDN: YLGULA (In Russ.)
 14. Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: v 17 tomakh [The Complete Works: in 17 Vols]*. Moscow, Voskresen'ye Publ., 1995, vol. 7. 395 p. (In Russ.)
 15. Rozanov V. V. *Sobranie sochineniy. Okolo tserkovnykh sten [The Collected Works. Near Church Walls]*. Moscow, Respublika Publ., 1995. 558 p. (In Russ.)
 16. Tolstoy L. N. *Polnoe sobranie sochineniy: v 90 tomakh [The Complete Works: in 90 Vols]*. Moscow, Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1935, vol. 1. 358 p.; 1938, vol. 10. 432 p. (In Russ.)
 17. Tuminskaya O. A. The Motif of the Humiliation of the Body of the Medieval Ascetics in the Visual Arts. In: *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Iskusstvovedenie [Vestnik of Saint Petersburg University. Arts]*, 2017, vol. 7, no. 1, pp. 98–114. Available at: <https://artsjournal.spbu.ru/article/view/1950/1743> (accessed on 10 July, 2025). DOI: 10.21638/11701/spbu15.2017.106. EDN: ZCCSGB (In Russ.)
 18. Fedorova E. A., Lyubarets V. V. Teleological Plot in the Works of Dostoevsky and Tolstoy About Childhood. In: *Uchenye zapiski Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Memoirs of NovSU]*, 2024, no. 2 (53), pp. 242–249. Available at: <https://portal.novsu.ru/file/2145914> (accessed on 10 July, 2025). DOI: 10.34680/2411-7951.2024.2(53).242-249. EDN: QSTSPE (In Russ.)
 19. Fedotova M. A. Nikita St., Stylite, Pereyaslavsky. In: *Pravoslavnaya entsiklopediya [Orthodox Encyclopedia]*. Moscow, Tserkovno-nauchnyy tsentr “Pravoslavnaya entsiklopediya” Publ., 2018, vol. 49, pp. 516–519. (In Russ.)
 20. Khristolyubova O. V., Yasnova E. V. Spiritual Portraits of A. S. Pushkin and L. N. Tolstoy in the Perception of V. A. Nikiforov-Volgin. In: *Problemy gumanitarnogo obrazovaniya: filologiya, zhurnalistika, istoriya: sbornik nauchnykh statey III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Problems of Humanitarian Education: Philology, Journalism, History:*

- Collection of Scientific Articles of the 3rd International Scientific and Practical Conference*]. Penza, Penza State University Publ., 2016, pp. 232–235. EDN: XGNSAT (In Russ.)
21. Chekhov A. P. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Complete Works: in 30 Vols]. Moscow, Nauka Publ., 1977, vol. 9. 541 p. (In Russ.)
 22. Shavarinskaya S. R. The Reflection of Spiritual Searches of Leo Tolstoy in the Depiction of Women's Types and Characters in the Novel "War and Peace" (the Image of Princess Marya). In: *Dukhovno-nravstvennye osnovy russkoy literatury: sbornik nauchnykh statey po materialam Shestoy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Spiritual and Moral Foundations of Russian Literature: Collection of Scientific Articles Based on the Materials of the Sixth International Scientific and Practical Conference]. Kostroma, Kostroma State University Publ., 2018, pp. 68–70. EDN: HVIUFF (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Сузрюкова Елена Леонидовна, *Elena L. Suzryukova*, PhD (Philology), кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, Новосибирский государственный технический университет (пр-т К. Маркса, 20, г. Новосибирск, Российская Федерация, 630073); ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4739-0042>; e-mail: sellns@mail.ru.

Elena L. Suzryukova, PhD (Philology), Associate Professor of the Department of Russian Language, Novosibirsk State Technical University (prospekt Karla Marksa 20, Novosibirsk, 630073, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4739-0042>; e-mail: sellns@mail.ru.

Поступила в редакцию / Received 15.07.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 17.09.2025

Принята к публикации / Accepted 19.09.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья
DOI: 10.15393/j9.art.2025.16222
EDN: HGZEWY



Повесть А. П. Чехова «Дуэль» как гибридный гипертекст

С. А. Кибальник

*Институт русской литературы (Пушкинский Дом),
Российская академия наук
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)*

e-mail: kibalnik007@mail.ru

Аннотация. В статье показаны интертекстуальные связи повести А. П. Чехова «Дуэль» (опубл. 1891) с произведениями Льва Толстого — отчасти с «Крейцеровой сонатой» (1887–1889, опубл. 1890), но в первую очередь с «Анной Карениной» (1873–1877, опубл. 1875–1877). Они показывают, что Чехов в повести в значительной степени «переписал» роман Толстого: Лаевский находится в сюжетной ситуации Вронского, а Надежда Федоровна — в сюжетной ситуации Анны второго тома толстовского романа. Перенеся действие своей истории в иную, более демократическую социальную среду, Чехов продолжил ее на свой лад, начав сразу со второго тома «Анны Карениной». Впрочем, в образе Надежды Федоровны отразились черты не только Анны, но и Эммы Бовари, а Лаевский временами, скорее, похож на флюберовского Шарля. В финале же он и вовсе оказывается соотносен с Карениным в сцене родов Анны, когда тот неожиданным образом оказался способен простить ее. Так что повесть Чехова представляет собой как бы гибридный гипертекст сразу двух в свою очередь связанных между собой произведений. Это выражается и в характерах второстепенных героев. Так, например, Александр Давидович Самойленко явно позаимствовал свое непомерное жизнелюбие от Степана Аркадьевича Облонского, а Марья Константиновна Битюгова свою влюбчивость и ханжество — от графини Лидии Ивановны. При этом Чехов не просто опирается на образы Толстого, но осуществляет игровое развитие сюжета «Анны Карениной». Во многом следуя внутренним интенциям толстовского романа, он подвергает сомнению выводы Толстого. По Чехову, в любом человеке — в том числе и в Лаевском, и в Надежде Федоровне, и даже в фон Корене — сохраняется возможность «обновления». При этом острие чеховской полемики направлено не только против «Анны Карениной», но и против «Крейцеровой сонаты». Не стоит, по Чехову, так строго судить людей, как Толстой, а уж тем более вершить над ними самостоятельный суд, как это сделал его герой Позднышев (и собирався сделать фон Корен).

Ключевые слова: Чехов, Толстой, «Дуэль», «Анна Каренина», «Крейцера соната», отсылка, цитата, реминисценция, реинтерпретация

Для цитирования: Кибальник С. А. Повесть А. П. Чехова «Дуэль» как гибридный гипертекст // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 329–343. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16222. EDN: HGZEWY

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.16222

EDN: HGZEWY

A. P. Chekhov's Short Novel "The Duel" as a Hybrid Hypertext

Sergei A. Kibalnik

*Institute of Russian Literature (Pushkinskiy Dom),
Russian Academy of Sciences
(Saint Petersburg, Russian Federation)*

e-mail: kibalnik007@mail.ru

Abstract. The article reveals the intertextual connections of A. P. Chekhov's novel "The Duel" (published 1891) with the works of Leo Tolstoy, partly with the "Kreutzer Sonata" (1887-1889, published in 1890), but primarily with "Anna Karenina" (1873-1877, published in 1875-1877). They show that Chekhov largely "rewrote" Tolstoy's novel in the story: Laevsky is in the same plot situation as Vronsky, and Nadezhda Fyodorovna is in the same position as Anna in the second volume of Tolstoy's novel. Having transferred the action of his story to a different, more egalitarian social environment, Chekhov continued it in his own way, starting directly from the second volume of Anna Karenina. However, the image of Nadezhda Fyodorovna reflects the features of not only Anna, but also Emma Bovary, and Laevsky at times even resembles Flaubert's Charles. In the finale, he is ultimately correlated with Karenin in the scene of Anna giving birth, when he unexpectedly turns out to be capable of forgiving her. Thus, Chekhov's story is like a hybrid hypertext of two works that are, in turn, interconnected. This is also reflected in the personalities of the minor characters. For example, Alexander Davidovich Samoylenko clearly borrowed his exorbitant love of life from Stepan Arkadyevich Oblonsky, and Marya Konstantinovna Bityugova her amorousness and hypocrisy from Countess Lidia Ivanovna. At the same time, Chekhov does not merely draw on many of Tolstoy's images, he also provides a playful development of the plot of "Anna Karenina." Largely following the inner intentions of Tolstoy's novel, he questions Tolstoy's conclusions. According to Chekhov, everyone has a potential for "renewal," including Laevsky, Nadezhda Fyodorovna, and even von Koren. At the same time, the cutting edge of Chekhov's polemic is directed not only against "Anna Karenina", but also against the "Kreutzer Sonata." According to Chekhov, one should not judge people as severely as Tolstoy, much less judge them independently, as his hero Pozdnyshhev did (and von Koren intended to do).

Keywords: Chekhov, Tolstoy, "Duel", "Anna Karenina", "Kreutzer Sonata", reference, quotation, reminiscence, reinterpretation

For citation: Kibalnik S. A. A. P. Chekhov's Short Novel "The Duel" as a Hybrid Hypertext. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 329–343. DOI: 10.15393/j9.art.2025.16222. EDN: HGZEWY

О связи повести Чехова «Дуэль» (1891) с творчеством Толстого начали писать уже первые чеховеды [Дерман: 206]. И в этом нет ничего удивительного. Ведь прямые отсылки к Толстому разбросаны по тексту всей повести.

Уже в I главе Лаевский говорит Самойленко:

«— <...> Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее... В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё время думал: **ах, как прав Толстой, безжалостно прав!** И мне было легче от этого. В самом деле, брат, **великий писатель!**»¹ [Чехов: 355].

Как только на страницах повести (в главе IV) появляется фон Корен, автор тут же вкладывает в уста Лаевского уподобление им себя Толстому:

«Он и не нюхал цивилизации, а между тем: "Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации!" Надо понимать, видите ли, что он когда-то, во времена оны, всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; **он, видите ли, Фауст, второй Толстой...**» [Чехов: 374].

Поскольку действие повести происходит на Кавказе, то сближение с Толстым приобретает здесь хотя и скрытый, но более конкретный характер. Ведь завидовал «дикарям» и проклинал «цивилизацию» прежде всего Оленин, герой кавказской повести Толстого «Казачья» (1862, опубл. 1863).

Однако уже в главе II появляются другие — причем прямые — отсылки к Толстому: к его более известному и актуальному ко времени создания повести роману «Анна Каренина» (1873–1877; опубл. 1875–1877):

«На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что **Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши**, и подумал: "Как это верно! как верно!"» [Чехов: 362].

¹ Здесь и далее в цитатах полужирным шрифтом выделено мной. — С. К.

Это отсылка к XXX главе первой части «Анны Карениной»:

«В Петербурге, только что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, Боже мой! **отчего у него стали такие уши?**» подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на **поразившие ее теперь хрящи ушей**, подпиравшие поля круглой шляпы» [Толстой; т. 18: 109].

Отсылка эта, вероятно, сделана Чеховым по памяти и потому не совсем точна: она относится к сцене, которая следует сразу за первым объяснением Вронского в любви к Анне, то есть к моменту, когда она еще не могла «разлюбить» мужа. Однако важнее то, что вся эта глава, с начала до конца, проникнута толстовской темой «лжи» в человеческих отношениях:

«Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, **казалось ему ложью или похожим на ложь**, и всё, что он читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу» [Чехов: 362].

Заметим попутно, что во времена Чехова «всё, что он (Лаевский. — С. К.) читал против женщин и любви», — это прежде всего именно художественные произведения Толстого.

Продолжим эту цитату:

«**И в книжке журнала он увидел ложь**. Он подумал, что одевается она и причесывается, чтобы **казаться красивой**, а читает для того, чтобы **казаться умной**» [Чехов: 362].

Аналогичным образом Вронский видел «притворство» в приязанности Анны к англичанке Ганне:

« — Мне неинтересно ваше пристрастие к этой девочке, это правда, потому что я вижу, что оно **ненатурально**»;

«— <...> Ты ведь говорил вчера, что я не люблю дочь, а **притворяюсь**, что люблю эту Англичанку, что это **ненатурально**» [Толстой; т. 19: 319, 322].

Лаевский теперь также повсюду видит в Надежде Федоровне «ложь»:

«Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Федоровны возбуждала в нем жалость и страх, теперь же **и в болезни он видел ложь**. Желтое, сонное лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, — всё это, по его мнению, разрушало иллюзию и было **протестом против любви и брака**» [Чехов: 365].

Таким образом, уже в экспозиции повести Чехова складываются устойчивые ассоциации со вторым томом «Анны Карениной», в котором Вронский постепенно осознает, что разлюбил Анну².

Некоторые параллели между двумя произведениями настолько близки, что, скорее всего, представляют собой реминисценции. Так, Анна считает неприязнь Вронского во время питья кофе:

«Она подняла чашку, оставив мизинец, и поднесла ее ко рту. Отпив **несколько глотков**, она взглянула на него и по выражению его лица ясно поняла, что **ему противны были** рука, и жест, и звук, который она производила губами» [Толстой; т. 19: 327].

В «Дуэли» Лаевский испытывает сходные чувства во время поедания Надеждой Федоровной киселя:

«Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он **слышал ее глотки**, им овладела такая **тяжелая ненависть**, что у него даже зачесалась голова» [Чехов: 365–366].

В следующих абзацах возникают четкие ассоциации уже даже не с «Анной Карениной», а с «Крейцеровой сонатой», опубликованной как раз в 1890 г., в конце которого Чехов начал работу над «Дуэлью»:

«Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду

² В «Анне Карениной» есть один эпизодический герой, фамилия которого могла навести Чехова на мысль о «Лаевском»: «Ланковский» [Толстой; т. 19: 115]. Он упоминается только как хозяин лошади, которую собирается купить Вронский в 33-й главе пятой части. Причем в рукописи Лаевский носил близкую к этой фамилию: вначале «Ладзиевский», а потом «Лагиевский» [см.: Чехов; т. 7: 696].

Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство, и он **понимал**, почему иногда любовники **убивают** своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу» [Чехов: 366].

Тем самым Лаевский, с одной стороны, противопоставлен такому, как Позднышев, а с другой — отчасти солидаризируется с этим женоубийцей.

В V главе мы узнаем, что Надежда Федоровна изменяет Лаевскому с полицейским приставом Кирилиным³. Тем самым в чеховской повести как бы оправдывается опасение Каренина относительно Анны:

«Если она будет разведенною женой, он знал, что она соединится с Вронским, и связь эта будет незаконная и преступная, потому что жене, по смыслу закона церкви, не может быть брака, пока муж жив. "Она соединится с ним, и через год-два **он или бросит ее, или она вступит в новую связь**", — думал Алексей Александрович» [Толстой, т. 18: 453].

Перенеся действие повести в иную, более демократическую социальную среду, Чехов как бы продолжает ее на свой лад, начав сразу со второго тома «Анны Карениной». При этом в «Дуэли» сбывается первое и едва не сбывается второе предчувствие Каренина: Надежда Федоровна и в самом деле вступает **«в новую связь»**, а Лаевский едва не **«бросает»** ее.

Поначалу остается до конца непонятным, с какими героями Толстого соотнесены в первую очередь эти чеховские характеры. Как мы видели, парадоксальным образом Лаевский местами вызывает ассоциации не с Вронским или Карениным, а с Анной. И, должно быть, не случайно: ведь ненависть его к Надежде Федоровне соотносится с «ненавистью» Анны к Каренину, которую она испытывает к нему после того, как тот «прощает» ее во время родов (часть четвертая, глава XX). Однако по большей части эта ненависть все же соотнесена в повести с ненавистью Вронского к самой Анне, постепенно

³ Можно предположить, что фамилия этого героя *Кирилин* навеяна Чехову фамилией сюжетно с ним не коррелирующего, а, скорее, противопоставленного ему *Каренина*. Этому соответствует и написание ее с одной буквой «л»: *Кирилин*, — хотя обычно в такого типа (образованных от имени «Кирилл») фамилиях пишется два «л».

развивающейся по ходу второго тома романа. Становится понятно, что, будучи вовсе не похожим на Вронского (скорее уж, Лаевский отдаленно смахивает на Левина⁴), чеховский герой находится в его сюжетной ситуации. Только чеховский «Вронский» не просто разлюбил Анну, но, в отличие от своего литературного прототипа, не скрывает это от самого себя и даже решается бежать.

При этом отношение Лаевского к Надежде Федоровне постепенно меняется. Однако о таком изменении Чехов опять-таки рассказывает нам посредством образов, ассоциативно связанных с романом «Анна Каренина»:

«После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем **жалость и чувство вины**; ему было в ее присутствии немножко совестно, как **в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить**» [Чехов: 405].

Впрочем, убийство лошади — это, скорее, из «Преступления и наказания», но ведь свое **самоубийство** Анна не без оснований ощущает как вынужденное: других вариантов у нее не остается.

Историю Вронского и Анны Чехов трансформирует неожиданным образом. Вначале приходит известие о смерти мужа Надежды Федоровны. По-видимому, тот намного старше ее, и, следовательно, именно он в первую очередь соотнесен с Карениным (вспомним слова Лаевского: «Мы бежали, в сущности, **от мужа...**» [Чехов: 355]). А затем чеховская «Анна» и в самом деле оказывается неверна уже Лаевскому, так что он вдруг получает полное моральное оправдание для того, чтобы разорвать с ней отношения.

Однако вместо того, чтобы воспользоваться им, он вдруг понимает (в результате потрясения, которое Лаевский испытывает накануне дуэли), что в измене Надежды Федоровны есть и его вина. Между тем более близкого, чем она, человека у него нет:

⁴ Возможно, отсюда некоторое созвучие фамилий.

«Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее и что **если он всё узнает, то проклянет ее и убьет**, а он слушал ее, гладил ей лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил:

— У меня нет никого, кроме тебя» [Чехов: 450].

Следовательно, в финале Лаевский соотнесен уже не с Вронским, а, скорее, с Карениным в сцене родов Анны, когда тот неожиданным образом оказался способен простить ее. Вот как объясняет преобразование Каренина в романе сам Толстой:

«Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому **чувству умиленного сострадания**, которое в нем вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости; и жалость к ней, и **раскаяние в том, что он желал ее смерти**, и, главное, **самая радость прощения** сделали то, что он вдруг почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал» [Толстой; т. 18: 439].

Герой Толстого испытывает «радость и умиление пред своей **высотой своего смирения**» [Толстой; т. 18: 453]. Однако, может быть, именно это и не позволяет Анне принять его жертву:

«Я ненавижу его за его великодушие» [Толстой; т. 18: 448].

У Чехова все проще. Лаевский теперь видит «ложь» в самом себе и осознает вину перед Надеждой Федоровной:

«У молодой, слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда — в зной, в лихорадку и в скуку; изо дня в день **она, как зеркало, должна была отражать в себе его** праздность, порочность и ложь — и этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая; потом он пресытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался **всё крепче опутать ее лганьем, как паутиной...** Остальное доделали эти люди» [Чехов: 437].

Это отзвук уже, наверное, не Толстого, а Достоевского с его идеей о том, что «всякий из нас пред всеми за всех и за всё виноват» [Достоевский: 262].

Чеховский герой уходит на дуэль с мыслями не о своем спасении, а о спасении Надежды Федоровны:

«Глядя на нее молча, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал, что **если небо не пусто и в самом деле там есть бог, то он сохранит ее**; если же бога нет, то пусть она погибнет, жить ей незачем» [Чехов: 439].

Мечтавший в начале повести об «**обновлении**», которое он планировал найти в Петербурге: «Голубчик мой, если б ты знал, как страстно, с какою тоской и я **жажду своего обновления**» [Чехов: 399], — Лаевский неожиданно обретает его здесь, на Кавказе: «Спасения надо искать **только в себе самом...**» [Чехов: 438].

Из всего сказанного ясно, что Надежда Федоровна в повести соотнесена в основном с Анной Аркадьевной. Причем иногда эта соотнесенность даже приобретает, по-видимому, обобщенно-иронический характер. Например, когда жена Лаевского блефует перед Марьей Константиновной:

«— **У нас в свете** очень много предрассудков, — продолжала Надежда Федоровна, — и живетя не так легко, как кажется» [Чехов: 381].

Впрочем, к чертам Анны Карениной в ней то и дело примешиваются характеристики Эммы Бовари [Кибальник, 2021a: 100–105]. Роман Флобера вообще, как мне уже приходилось писать [Там же], является еще одним существенным претекстом «Дуэли»⁵. Если ее начало и конец, скорее, ассоциируются с «Анной Карениной», то все остальные главы построены в основном по сценарию «Мадам Бовари». Оказавшемуся в роли Вронского Лаевскому, который тяготится жизнью с увезенной им от мужа Надеждой Федоровной, героиня изменяет с полицейским приставом Кирилиным. Причем, в отличие от Эммы, она делает это не по страстной любви, а от скуки и «желания» [Чехов: 370]. Кирилин — своего рода пародия на флюберовского Родольфа и мопассановского Дюруа из «Милого друга». Он оказался «грубоватым, хотя и красивым» [Чехов: 370], и Надежда Федоровна пытается с ним порвать.

На горизонте тут же показывается другой претендент в любовники — молодой Ачмианов, отдаленно соответствующий

⁵ Ранее этот роман Флобера послужил основным претекстом рассказа Чехова «Попрыгунья» (1889) (см.: [Кибальник, 2015; 2021b]).

флюберовскому Леону. Леон появляется в жизни Эммы спустя какое-то время после ее разрыва с Родольфом. В соответствии с принципом концентрации действия, характерным для жанра повести, Чехов делает Ачмианова не любовником, а всего лишь влюбленным в Надежду Федоровну героем. Его сюжетная роль ограничивается тем, что он открывает глаза Лаевскому на измену его жены с Кирилиным⁶.

В этой флюберовской перспективе Лаевский оказывается уже как бы в роли Шарля Бовари, с которым у него есть определенное сходство. Однако если Шарль в основном сливается с провинциальной средой, то Лаевский страдает от мещанского окружения не меньше, чем флюберовская Эмма. Что же касается Надежды Федоровны, то ее образ представляет собой полемическую интерпретацию характера героини флюберовского романа. Ведь ее периодически посещает ощущение, что **«она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина»** [Чехов: 382].

Таким образом, повесть Чехова представляет собой как бы гибридный гипертекст сразу двух в свою очередь связанных между собой произведений (см.: [Шульц]). При этом значение «Анны Карениной» для «Дуэли» ничуть не меньше, чем значение «Мадам Бовари». В частности, оно выражается в характерах второстепенных героев. Так, например, Александр Давидович Самойленко явно позаимствовал свое непомерное жизнелюбие от Степана Аркадьевича Облонского, а Марья Константиновна Битюгова свою влюбчивость и ханжество — от графини Лидии Ивановны.

Правда, влюбчивость этих героинь реализуется по-разному. У Толстого «графиня Лидия Ивановна давно уже перестала быть влюбленной в мужа, но никогда с тех пор **не переставала быть влюбленной в кого-нибудь**. Она бывала влюблена в нескольких вдруг, и в мужчин и в женщин; она бывала влюблена во всех

⁶Из ревности и мести Ачмианов приводит Лаевского на место свидания Надежды Федоровны с Кирилиным. По всей видимости, это реминисценция из романа Мопассана «Милый друг», герой которого Дюруа приводит полицейского комиссара (в «Дуэли», напротив, сам Кирилин служит полицейским приставом) в квартиру, где происходит тайное свидание его жены Мадлены с министром Ларош-Матье (см. об этом: [Kibalnik: 185]).

почти людей, чем-нибудь особенно выдающихся. <...> Но с тех пор как она, после несчастья, постигшего Каренина, взяла его под свое особенное покровительство, с тех пор как она потрудилась в доме Каренина, заботясь о его благосостоянии, она почувствовала, что все остальные любви не настоящие, а что она **истинно влюблена теперь в одного Каренина**» [Толстой; т. 19: 81–82]. Чеховская Марья Константиновна до 32 лет «жила в гувернантках потом вышла за чиновника Битюгова, маленького, лысого человека, зачесывавшего волосы на виски и очень смирного. До сих пор **она была влюблена в него**, ревновала, краснела при слове "любовь" и уверяла всех, что она очень счастлива» [Чехов: 379]. Однако предмет увлечения и Марьи Константиновны, и Лидии Ивановны — довольно невыразительные чиновники.

Разумеется, при этом Самойленко начисто лишен донжуанства и мотовства Облонского, а Марья Константиновна — злобредности Лидии Ивановны (которую изобличает ее отказ позволить Анне увидеться с сыном, а затем и сделанный под ее влиянием отказ Каренина в разводе). Однако общая родственность этих героев Чехова персонажам «Анны Карениной», на наш взгляд, несомненна. Марья Константиновна отчасти даже усвоила манеру Лидии Ивановны выражаться. Так, об умершем муже Надежды Федоровны она говорила:

«Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, **святой человек**, а такие на небе нужнее, чем на земле» [Чехов: 400].

В то же время Лидия Ивановна, непрестанно твердила, что он святой, самому Каренину и всем окружающим:

«Графиня Лидия Ивановна пошла на половину Сережи и там, обливая слезами щеки испуганного мальчика, сказала ему, что **отец его святой** и что мать его умерла» [Толстой; т. 19: 80].

Обе героини то и дело смотрят или говорят восторженно (ср., например: «Графиня Лидия Ивановна **посмотрела на него восторженно**, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глаза» [Толстой; т. 19: 88] и «На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголки, она миндально улыбнулась и **сказала восторженно, задыхаясь**» [Чехов: 400]). Как

и графиня Лидия Ивановна, Марья Константиновна то и дело плачет: например, в главе X, в которой она убеждает Надежду Федоровну венчаться с Лаевским. Правда, в отличие от графини Лидии Ивановны, ее лицо то и дело принимает «миндальное выражение», а временами она «миндально» улыбается [Чехов: 400, 401, 415]. Даже в этой чисто чеховской характеристике Марьи Константиновны, очевидно, сказывается свойственная именно Толстому манера характеризовать некоторых своих героев посредством одной и той же повторяющейся детали.

Итак, «Дуэль» — это «Мадам Бовари» или «Анна Каренина» с как бы раздвоившейся на женскую и мужскую ипостаси Эммой или Анной: Надеждой Федоровной и Лаевским. При этом отдаленно соответствующий флюберовскому Шарлю, толстовскому Вронскому, а в финале Алексею Каренину ее главный герой Лаевский перерождается, ощутив перед лицом смерти ответственность за судьбу своей гражданской жены.

Разумеется, Чехов не просто опирается на многие образы Толстого, но осуществляет игровое развитие сюжета «Анны Карениной». Во многом следуя внутренним интенциям толстовского романа, он подвергает сомнению выводы Толстого. По Чехову, в любом человеке — в том числе и в Лаевском, и в Надежде Федоровне, и даже в фон Корене — до самого конца сохраняется возможность «обновления». При этом острое чеховской полемики направлено не только против «Анны Карениной», но и против «Крейцеровой сонаты». Не стоит, по Чехову, так строго судить людей, как Толстой, а уж тем более вершить над ними суд самому, как это сделал его герой Позднышев (и собирался сделать фон Корен), потому что «никто не знает настоящей правды» [Чехов: 453].

Однако, споря с Толстым в «Дуэли», Чехов пока еще опирается в основном на самого Толстого (во второй половине 1890-х гг. это будет уже не так). Ведь неожиданная финальная перемена в Лаевском отчетливо отсылает к тому «обновлению», которое произошло с Карениным в сцене родов Анны. У Толстого это «обновление», увы, оказалось временным. С чеховскими героями оно происходит окончательно или, во всяком случае,

надолго. Художественный мир Чехова вообще строится в значительной степени на преодолении острого ощущения трагизма жизни за счет особого рода лирического сарказма, присущего писателю в его зрелом творчестве.

Ранее, говоря о пародийности повести Чехова «Дуэль» и рассказа «Попрыгунья» применительно к роману Флобера «Мадам Бовари», мы — вслед за Р. Г. Назировым ([Назиров: 52–56]; [Кибальник, 2015: 97–99]) — усматривали в них своего рода **«конструктивную пародию»** или **криптопародию** [Кибальник, 2021b: 203–205], то есть полемическую интерпретацию, не преследующую цели пародирования первоисточника.

«Конструктивный» характер носит и соотношение повести «Дуэль» с романом Толстого «Анна Каренина». Едва ли только уместно здесь говорить о **криптопародийности**, ведь отсылки к Толстому имеют в повести достаточно откровенный характер, а о пародии не стоит говорить здесь вообще. «Дуэль» — это просто художественная реинтерпретация толстовского романа, или гибридный гипертекст «Анны Карениной» и «Мадам Бовари». При этом основной претекст чеховской повести — это все же роман Толстого.

Список литературы

1. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. 514 с.
2. Дерман А. Б. Творческий портрет Чехова. М.: Мир, 1929. 351 с.
3. Кибальник С. А. Рассказ Чехова «Попрыгунья» как криптопародия на «Мадам Бовари» Флобера // Кибальник С. А. Чехов и русская классика: проблемы интертекста. Статьи, очерки, заметки. СПб.: Петрополис, 2015. С. 87–99 [Электронный ресурс]. URL: https://pushkinskiydom.ru/wp-content/uploads/2023/04/Kibalnik_CHehov-i-russkaya-klassika_postranichno-1.pdf (10.08.2025).
4. Кибальник С. А. Гипертексты Флобера у Чехова (К понятию «конструктивной криптопародии») // Литературоведческий журнал. 2021. № 3 (53). С. 100–111 [Электронный ресурс]. URL: <https://inion.ru/site/assets/files/6570/giperteksty-flobera-u-chekhova-k-poniatiiu-konstruktivnoi-kriptoparodii.pdf> (10.08.2025). DOI: 10.31249/litzhur/2021.53.06. EDN: SRVfVY (a)
5. Кибальник С. А. Два доктора: Осип Дымов и Шарль Бовари (Интертекстуальная структура рассказа Чехова «Попрыгунья») // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 187–205 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1633680464.pdf (10.08.2025). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9922. EDN: GODQTO (b)

6. Назиров Р. Г. Пародии Чехова и французская литература // Чеховиана. Чехов и Франция: [сб. ст.]. М.: Наука, 1992. С. 52–56.
7. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1928–1958.
8. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. М.: Наука, 1979. Т. 7. 736 с.
9. Шульц С. А. «Анна Каренина» Л. Н. Толстого и «Мадам Бовари» Г. Флобера // Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка. 2016. Т. 75. № 2. С. 21–25 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_25941173_16314065.pdf (10.08.2025). DOI: 10.31249/litzhur/2020.48.03. EDN: TQXMQU
10. Kibalnik S. A. French Literature // Chekhov in Context / ed. by Yury Corrigan. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. P. 186–190.

References

1. Dostoevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh* [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1976, vol. 14. 514 p. (In Russ.)
2. Derman A. B. *Tvorcheskiy portret Chehova* [A Creative Portrait of Chekhov]. Moscow, Mir Publ., 1929. 351 p. (In Russ.)
3. Kibal'nik S. A. Chekhov's Story "Jumping Girl" as a Cryptoparody of "Madame Bovary" by Flaubert. In: *Kibal'nik S. A. Chekhov i russkaya klassika: problema interteksta. Stat'i, ocherki, zametki* [Kibalnik S. A. Chekhov and Russian Classics: Problems of Intertext. Articles, Essays, Notes]. St. Petersburg, Petropolis Publ., 2015, pp. 87–99. Available at: https://pushkinskiydom.ru/wp-content/uploads/2023/04/Kibalnik_CHehov-i-russkaya-klassika_postranichno-1.pdf (accessed on August 8, 2025). (In Russ.)
4. Kibal'nik S. A. Flaubert's Hypertexts in Chekhov's Works (On the Concept of "Constructive Crypto-Parody"). In: *Literaturovedcheskiy zhurnal*, 2021, no. 3 (53), pp. 100–111. Available at: <https://inion.ru/site/assets/files/6570/giperteksty-flobera-u-chekhova-k-poniatiiu-konstruktivnoi-kriptoparodii.pdf> (accessed on August 8, 2025). DOI: 10.31249/litzhur/2021.53.06. EDN: SRVFFVY (In Russ.) (a)
5. Kibal'nik S. A. Two doctors: Osip Dymov and Charles Bovary (The Intertextual Structure of Chekhov's Short Story "The Fidget"). In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [The Problems of Historical Poetics], 2021, vol. 19, no. 3, pp. 187–205. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1633680464.pdf (accessed on August 8, 2025). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9922. EDN: GODQTO (In Russ.) (b)
6. Nazirov R. G. "Chekhov's Parodies and French Literature". In: *Chekhoviana. Chekhov i Frantsiya: sbornik statey* [Chekhoviana. Chekhov and France: a Collection of Articles]. Moscow, Nauka Publ., 1992, pp. 52–56. (In Russ.)
7. Tolstoy L. N. *Polnoe sobranie sochineniy: v 90 tomakh* [The Complete Works: in 90 Vols]. Moscow, Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1928–1958. (In Russ.)

8. Chekhov A. P. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 30 tomakh* [The Complete Works and Letters: in 30 Vols]. Moscow, Nauka Publ., 1979, vol. 7. 736 p. (In Russ.)
9. Shultz S. A. Tolstoy's Anna Karenina and Flaubert's Madame Bovary. In: *Izvestiya Rossiyskoy Akademii nauk. Seriya literatury i yazyka* [The Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language], 2016, vol. 75, no. 2, pp. 21–25. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_25941173_16314065.pdf (accessed on August 8, 2025). DOI: 10.31249/litzhur/2020.48.03. EDN: TQXMQU (In Russ.)
10. Kibalnik S. A. French Literature. In: *Chekhov in Context*. Cambridge, Cambridge University Press Publ., 2023, pp. 186–190. (In English)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Кибальник Сергей Акимович, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (наб. Макарова, 4, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 199034); ORCID: 0000-0002-5937-5339; e-mail: kibalnik007@mail.ru.

Sergey A. Kibalnik, PhD (Philology), Professor, Leading Researcher, the Institute of Russian Literature (Pushkinskiy Dom), Russian Academy of Sciences (nab. Makarova 4, St. Petersburg, 199034, Russian Federation); ORCID: 0000-0002-5937-5339; e-mail: kibalnik007@mail.ru.

Поступила в редакцию / Received 12.09.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 27.10.2025

Принята к публикации / Accepted 29.10.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научная статья

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15962

EDN: CFJCOR



Агиографические образы и мотивы в цикле «Северная Фиваида» Виктора Пулькина

А. М. Петров

*Институт языка, литературы и истории,
Карельский научный центр,
Российская академия наук
(г. Петрозаводск, Российская Федерация)
e-mail: hermitage2005@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются образы и мотивы древнерусского Жития Александра Свирского в художественном цикле Виктора Пулькина «Северная Фиваида». Определен круг основных текстов, образующих цикл: писатель не опубликовал цельное произведение, части цикла рассыпаны по журналам, газетам, входят в состав книг как отдельные главы. Писатель очень точно передал образно-мотивную структуру Жития: в сказе сохранена каноническая житийная топика, персонажный ряд, проповедуются важнейшие идеи христианской морали. Однако выбор художественно-стилистических средств не всегда соответствует агиографической традиции, что объясняется необходимостью говорить с современным читателем на понятном ему языке, в соответствии с имеющимися эстетическими привычками и ожиданиями. Поэтому писатель активно использует не только типичные житийные сюжетные мотивы, но и обогащает текст произведения фольклорно-этнографическими компонентами: подробное описание получают деревенская архитектура, народные обряды, широко цитируются фольклорные песни, пословицы, поговорки и т. п., сюжетообразующую роль играют предания о выборе места для строительства храма. Повествование отличается развитой диалогичностью: использованы разговорные стилистические средства. Усилена и христианская составляющая Жития: появляются пасхальные мотивы, расширен сакральный хронотоп, усложнена символическая структура (христианское осмысление получает мотив сбора урожая, появляются отсутствующие в Житии образы звезд, включен мотив колокольного звона и т. д.), цитируются библейские источники, гомилетические произведения, изречения Отцов Церкви. Образы и мотивы житийной литературы, подчиненной требованиям жанрового канона, получили в цикле новый импульс к осмыслению, но уже на новом историческом этапе, в современном культурном контексте.

Ключевые слова: Виктор Пулькин, христианство, православие, древнерусская литература, агиография, Александр Свирский, Северная Фиваида, сюжет, мотив, поэтика сказа

Благодарность. Статья подготовлена в Карельском научном центре РАН в рамках госзадания по плановой теме № 124022000077-1 «Фольклор и литература коренных народов Северо-Запада России и Финляндии»¹.

Для цитирования: Петров А. М. Агиографические образы и мотивы в цикле «Северная Фиваида» Виктора Пулькина // Проблемы исторической поэтики. 2025. Т. 23. № 4. С. 344–366. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15962. EDN: CFJCOR

Original article

DOI: 10.15393/j9.art.2025.15962

EDN: CFJCOR

Hagiographic Images and Motifs in the Literary Cycle “The Northern Thebaid” by Viktor Pulkin

Alexander M. Petrov

*Institute of Linguistics, Literature and History,
Karelian Research Centre,
Russian Academy of Sciences
(Petrozavodsk, Russian Federation)*

e-mail: hermitage2005@yandex.ru

Abstract. The article examines the images and motifs in the “Life of Alexander of Svir,” part of the literary cycle “The Northern Thebaid” by Viktor Pulkin. The author attempts to determine the key texts that comprise the “Northern Thebaid:” the writer did not publish it as a complete work; parts of the cycle are scattered across magazines and newspapers, and included in books as separate chapters. The writer conveyed the figurative and motif structure of the “Life” very precisely; the skaz (tale) retains the canonical hagiographic themes and character range, and preaches the most important ideas of Christian morality. However, the choice of artistic and stylistic means does not always correspond to the hagiographic tradition. It can be explained by the need to speak to the modern reader in a language that is understandable to him, in accordance with existing aesthetic habits and expectations. Therefore, the writer not only actively uses typical hagiographic plot lines, but also enriches the text with folklore and ethnographic components: village architecture and folk rituals are described in detail; folk songs, proverbs, sayings, etc., are widely quoted, and legends about the choice of a place for the construction of a temple play a plot-forming role. The narrative is distinguished by its developed dialogic nature and the use of conversational stylistic means. At the same time, the Christian component of the “Life” is also reinforced: Easter motifs appear,

¹ Выражаю искреннюю признательность Максиму Викторовичу Пулькину, Александру Валерьевичу Пигину и Алексею Петровичу Конкка за консультации.

the sacred chronotope is expanded, the symbolic structure is complicated (the motif of harvesting is imbued with Christian meaning, images of stars appear, the motif of bell ringing is included, etc.). The writer quotes biblical sources, homiletic works, and the apophthegms of the Church Fathers. The images and motifs of hagiographic literature, subordinated to the requirements of the genre canon, received in the literary cycle a new impetus for perception, but already at a new historical stage, in a modern cultural context.

Keywords: Viktor Pulkin, Christianity, Orthodoxy, Old Russian literature, hagiography, Alexander of Svir, Northern Thebaid, plot, motif, poetics of *skaz*

Acknowledgements. The article was prepared at the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences within the framework of the state assignment on the planned topic no. 124022000077-1.

For citation: Petrov A. M. Hagiographic Images and Motifs in the Literary Cycle “The Northern Thebaid” by Viktor Pulkin. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2025, vol. 23, no. 4, pp. 344–366. DOI: 10.15393/j9.art.2025.15962. EDN: CFJCOR (In Russ.)

Современное литературоведение уделяет существенное внимание проблеме отражения христианских традиций в русской литературе [Захаров, 1994b: 7]. Благодатным материалом для исследований подобного рода являются произведения севернорусских писателей: в частности, современная литература Карелии исторически связана с древнерусской литературой, с новгородским культурным гнездом и книжным центром [Маркова: 13].

Христианские традиции в севернорусской художественной литературе получили новый импульс к жизни в 1990-е гг. Одним из мастеров слова, обратившихся в это время к христианским (православным) мотивам как к источнику для творчества, был петрозаводский писатель, публицист Виктор Иванович Пулькин (1941–2008). Основной жанр, в котором он нашел свое призвание, — *skaz*; «творчество В. Пулькина развивалось в пограничной области между литературой и фольклором» [Дюжев, 2005: 207].

Христианские сюжеты в творчестве В. Пулькина возникли в связи с определенным духовным, мировоззренческим, жизненным кризисом конца 1980-х — начала 1990-х гг.: «...принятая в Москве рукопись прозы была возвращена автору в связи с финансовым крахом издательства <...>. В условиях рыночной экономики оказались востребованы лишь сказы об основателе

Петрозаводска Петре Первом» [Дюжев, 2005: 209]. Именно тогда писатель «по просьбе церкви» [Дюжев, 2005: 210] подготовил и опубликовал в журнале «Север» первый цикл произведений под названием «Северная Фиваида»². Тексты представляли собой литературную обработку агиографических сочинений о святом Александре Свирском и его учениках. Предыстория создания «Северной Фиваиды» изложена писателем в экспозиции первого цикла новелл: на творчество в области православной литературы его вдохновила встреча со священником Михаилом Михайловичем Жаковым, настоятелем церкви Серафима Саровского в г. Пудожье, дальним родственником философа, писателя Каллистрата Жакова³.

Историография цикла

Название «Северная Фиваида» используется довольно широко (см.: [Муравьев], [Федотов: 122]). Этот образ восходит к наименованию одной из областей Древнего Египта, ставшей в свое время «известным местом поселения раннехристианских монахов-отшельников» [Шилова, 2011: 473].

Цикл был задуман В. Пулькиным как своего рода «метатекст», который бы включал небольшие очерки о севернорусских святых, литературные пересказы сюжетов из соловецкого и олонецкого патериков⁴. Однако только этим материалом он не ограничился — житийные повести были помещены в существенно более широкий культурный контекст:

«Красками, цветами народной фантазии, передающей отношение крестьян к православной вере и святым подвижникам, будущие сказания дополнят фольклорные легенды. Не раз мне доводилось слышать и записывать их на просторах Русского Севера. Православие питают корни глубокие, они в Библии, в трудах Отцов Церкви, в античном наследии, в речениях греческих философов, живших и задолго до Рождества Христова. Огромный пласт культуры накоплен человечеством. И дивно,

² Пулькин В. И. Северная Фиваида. Сказания о святом Александре Свирском чудотворце и его учениках // Север. 1993. № 10. С. 4–58.

³ Там же. С. 4.

⁴ Пулькин В. И. Северная Фиваида. Сказания о святом Александре Свирском чудотворце и его учениках // Север. 1993. № 10. С. 5.

трогательно перекликается немудрящая крестьянская пословица, поговорка, присловье с мудрой мыслью Пифагора, Менандра, Диогена <...>. Устрашась бездны премудрости, я все же тянулся к этой работе, столь новой для меня — и в то же время служащей продолжению давних поисков. К тому же это повод еще раз — хотя бы мысленно — пройти просторами Русского Севера, проникнуть во глубь прошумевших над моим краем времен»⁵.

Можно понять трудности, с которыми столкнулся писатель, ориентированный на поэтику севернорусского сказа, на краеведение и фольклор. В то время еще чрезвычайно скудны были источники, к которым он мог обращаться; перо было привычнее к народной речевой стихии, чем к православной, церковной стилистике. Однако смелый творческий эксперимент все же был предпринят. В изложении В. Пулькина агиографические сочинения подверглись *беллетризации* [Шилова, 2013: 26], «древнерусский агиограф обрел современное звучание и стал частью духовной жизни современников» [Дюжев, 2005: 210].

Опыт создания сказов по мотивам древнерусских житий был продолжен в последующие годы. Важно отметить, что «текстовые границы цикла установить непросто: сказы публиковались <...> в разных периодических изданиях, часто с вариантами» [Шилова, 2011: 473]. Однако «ядро цикла» [Шилова, 2011: 473] выделить все-таки удастся: это «около двух десятков сказов, вышедших под заглавием или в рубрике "Северная Фиваида" в журналах "Север", "Журавка", газете "Карелия". Тематически к ним примыкает ряд публикаций, напечатанных под иными заглавиями в журналах "Север", "Слово", "Природа и человек» [Шилова, 2011: 473]. Основные части «Северной Фиваиды» публиковались в журналах «Север» (1993, № 10; 2008, № 1–2, № 3–4) и «Журавка» (1994, №№ 1, 2).

Несмотря на то, что историография изучения «Северной Фиваиды» не столь велика, некоторые предварительные наблюдения все же были сделаны.

В частности, о месте цикла «Северная Фиваида» в творчестве В. Пулькина, о мотивах, побудивших писателя взяться за перо в непривычной области, о некоторых художественных

⁵ Пулькин В. И. Северная Фиваида. С. 5–6.

особенностях и тематике сказов писал Ю. И. Дюжев [Дюжев, 2000: 316–317; 2005]. Литературовед отметил «исключительную бережливость» и «трепетное уважение», с которыми В. Пулькин отнесся к первоисточникам [Дюжев, 2000: 316].

Много ценных наблюдений о «Северной Фиваиде» содержится в работах Н. Л. Шиловой. Исследовательница рассмотрела цикл как единую сюжетно-тематическую совокупность произведений; раскрыла принципы совмещения в художественно-эстетическом пространстве «разных смысловых пластов», «стилевых начал» [Шилова, 2011: 473]; выявила некоторые черты поэтики [Шилова, 2013].

Мы предлагаем несколько иной способ исследования цикла. В центре нашего внимания — каждый сказ, каждое звено, образующее «Северную Фиваиду». Поэтому анализу подвергнется только одно произведение: сказ «Венец света» об Александре Свирском, первое издание⁶. С этого сказа зародилась «Северная Фиваида».

Истоки поэтики и стилистики цикла

В цикле «Северная Фиваида» нет сквозного сюжета, последовательно развивающегося от завязки до развязки. Каждый сказ, конечно, тематически включен в структуру целого и согласуется с общей концепцией цикла, перекликается с другими сказами, но в то же время он *относительно* автономен, его сюжет замкнут в границах жизнеописания святого.

Цикл содержит множество лирических, философских отступлений, что местами сближает его с высокохудожественной публицистикой. Повествователь не старается развлечь читателя, основное свойство «Северной Фиваиды» — *душеполезность*. При чтении невозможна спешка; только вдумчивое погружение в текст поможет уловить духовную энергию цикла.

Сам повествователь (рассказчик) предстает как глубоко верующий человек, подчас как *проповедник*. Однако важно

⁶ Пулькин В. И. Северная Фиваида. Сказания о святом Александре Свирском чудотворце и его учениках // Север. 1993. № 10. С. 6–27. Сказ в сокращенном виде перепечатан в книге «Кленовое кантеле» (см.: Пулькин В. И. Кленовое кантеле. Сказания о пришедших издалека. Петрозаводск: Карелия, 2008. С. 58–71), вышедшей в свет уже после смерти писателя [Филатова: 201].

подчеркнуть, что фигуры повествователя и автора биографического совпадают лишь частично. В. Пулькин действительно в трудное для себя время в какой-то степени нашел опору в христианских ценностях, однако на роль проповедника претендовать не дерзал, оставаясь в первую очередь писателем. Поэтому страстные духовные интонации «Северной Фиваиды» принадлежат по большей части *рассказчику*. Но подчеркнем: во всем, что касалось осмысления христианского историко-культурного опыта и обретения смысла жизни в идеалах мира горнего, сам писатель всегда был искренен и серьезен. Иначе не могло быть. Создание «Северной Фиваиды» содержало и глубоко личный мотив: цикл был посвящен памяти матери писателя — Марии Николаевны Корнеевой.

Прямой источник сказания «Венец света» — житие святого Александра Свирского, известное В. Пулькину по книге «Олонецкий патерик» архимандрита Никодима (Кононова)⁷ (см. об этом: [Шилова, 2011: 473]). Это конспективное изложение Жития, в котором, например, почти не содержатся описания прижизненных и посмертных чудес, но именно на этот текст ориентировался В. Пулькин, внося некоторые несущественные изменения в композицию источника.

Вторым источником знаний о святом и его жизни мог стать труд [Яхонтов], в котором приведен подробный текстологический разбор Жития [Яхонтов: 37–87]⁸.

Однако вполне вероятен и третий источник. В сказе В. Пулькина в топосе «предсмертного наставления святого братии» [Руди, 2006: 491] отражен мотив «небрежения к телу» [Руди, 2009: 491]:

«Свяжите тело мое грешное крепко-накрепко, стяните вервием по рукам и ногам. Отволочите в дебрь лесную, в хлябь болотную.

⁷ Олонецкий патерик, или Сказание о жизни, подвигах и чудесах преподобных и богоносных отец наших просветителей и чудотворцев Олонецких (с приложением сказания о жизни блаженного старца Фаддея Петрозаводского) / сост. ректор Олонецкой духовной семинарии архимандрит Никодим [(Кононов)]. Петрозаводск: Олонецкая губернская типография, 1910. 72 с. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Олонецкий патерик* и указанием страницы в круглых скобках.

⁸ Благодарю М. В. Пулькину за указание на эту книгу.

Там, закопавши во мху сыром, затопчите ногами скудель неизбывного греха...» (26).

В издании «Олонецкий патерик» этот мотив отсутствует. Он упомянут в книге [Яхонтов: 74], но имеются издания Жития, в которых этот мотив очень близок к сказу В. Пулькина. Например: «Свяжите тело мое грешное по ногу ужем и совлецыте е в дебрь блата и, покопавше во мху, потопчите ногами своими» [Преподобный Александр Свирский: 188]. Поэтому третьим источником могло стать другое издание Жития. Очевидно, что с какой-то публикацией писатель был знаком — возможно, с тем текстом, который мы только что процитировали (он воспроизводит петербургское издание 1905 г.).

История создания агиографического памятника

Житие Александра Свирского (1448–1533) было написано учеником святого «игуменом Александро-Свирского монастыря Иродионом в 1545 г. по поручению митрополита Макария и новгородского архиепископа Феодосия. Житие сохранилось в большом числе списков (около 400) и известно в нескольких вариантах и редакциях...» [Пигин, 2013: 219–220]. Его создатель игумен «...Иродион был образованным, начитаннейшим человеком» [Соболева: 69].

Композиция Жития соответствует древнерусской литературной топике; оно построено на последовательности мотивов: пренатальные божественные знамения, рождение от благочестивых родителей, мечта о постриге с детства и т. д. [Руди, 2006: 497–499].

Опираясь на эти и другие житийные топосы, представленные в исходном агиографическом сочинении, В. Пулькин создает оригинальный, приближенный к современности текст.

Особенности творческой переработки

С первых же строк произведения читатель погружается в мир фольклора и этнографии: в тексте описывается обряд первого выгона скота, которому предшествует пасхальная литургия⁹:

⁹ Насыщение текста пасхальными мотивами стало возможным благодаря дате рождения святого — 15 июня, сюжетный ход был подсказан

«На пасхальной службе Васса не замогла стоять заутреню и опустилась перед святой Тихвинской иконой Божьей Матери на колени, глядя в пресветлый лик, обрамленный багряным омофором с золотой каймой, сквозь слезу радости, упования, ибо была неспраздна: ждала дитя, зачатое в любви, вымоленное у Бога. Вот выгнали впервой на бережок родимой Ояти, что впадает в синюю Свирь, пахнущее парным молоком стадо. Хозяйки понесли торжественно, словно свечи, свяченые во храме веточки вербы. И молодой пастух, родом с далекой речки Ваги, вышел в берестяных лапотках-верзнях, с берестяной же трубой и со свежеструганным рябиновым посохом, весь сияя. Васса и тут, окропив любимую скотинушку водой из медного колокольца, вдруг уронила слезу умиления и радости» (6–7).

Рассказчик перечисляет характерные атрибуты и элементы обряда: *ветви вербы* (ими выгоняли скот на пастбище) [Плотникова, 1995: 469], *окропление стада водой* (вода в данном случае «символизирует молоко дойного стада») [Плотникова, 1995: 472]; *коровий колокольчик* [Логинов: 547]; *рябиновый посох*: «...рябина наряду с сосной и елью устойчиво фигурирует в пастушеских обрядах» [Криничная, 1986: 187]. Особое значение имеет образ *берестяной трубы*, которая в традиционной культуре была наделена магическими свойствами [Логинов: 549], одна из ее функций — «ограждение скота от всевозможной "нечисти"» [Криничная, 1986: 186].

житийным хронотопом: Пасха приходится на время, предшествующее появлению Амоса на свет. Это обстоятельство позволило писателю усилить православное звучание сказа. Но это и дань историческим традициям русской литературы, в которой пасхальный хронотоп всегда играл выдающуюся роль [Захаров, 1994а]. Интересно, что в разных источниках указывается разный год рождения Александра Свирского: 1449 г. в изданиях: (*Олонецкий патерик*: 46), Новый Олонецкий патерик (см.: Новый Олонецкий патерик. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 224). Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *Новый Олонецкий патерик* и указанием страницы в круглых скобках; 1448 г. — в публикациях справочного характера: [Дмитриев: 20], [Макарий (Веретенников), архим., Журавлева, Полякова: 536], [Пигин, 2010: 93]. В «Венце света» В. Пулькин использует дату не из Олонецкого патерика, а из справочной литературы: 15 июня 1448 г. (7). В переработанном варианте из сборника «Кленовое кантеле» содержится опечатка: 15 июля 1448 г (см.: Пулькин В. И. Кленовое кантеле. Сказания о пришедших издалека. Петрозаводск: Карелия, 2008. С. 61).

Соотнесение обряда первого выгона скота с Пасхой не совсем обычно: общепринятой датой считается все же Егорьев день, даже в северных краях. При слишком холодной погоде выпуск мог носить чисто символический характер, так как «настоящий первый выгон коров производился тогда, когда корова могла захватить траву языком» [Логинов: 547]. Вероятнее всего, В. Пулькин ориентировался на данные по русской этнографии, но аналогичные традиции зафиксированы и у вепсов [Винокурова]; указать на это обстоятельство необходимо, поскольку действие происходит на берегу р. Оять, т. е. на одной из территорий исторического расселения вепсов [Муллонен: 307]¹⁰. К Пасхе выгон скота был приурочен реже, хотя такие свидетельства тоже имеются [Плотникова, 2002: 98].

Отметим христианско-православную тему *слезного умиления*: Васса постоянно заливается слезами умиления и радости. «Слезная» тематика поддержана и образным параллелизмом *слеза–дождь*:

«А потом набежала малая, но бойкая, как молодайка на торгу, тучка, и внезапно, словно рассмеявшись, прыснула скорым, звонким ливнем, насквозь пронизанным солнышком, его теплом и светом. Светилось оно во всякой капле, и жило, ликовало» (7).

О таком дожде говорят: «царевна плачет» (7). Этот образ мог быть знаком писателю по очерку К. Г. Паустовского «Язык и природа»:

«О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: "Царевна плачет". Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!»¹¹.

¹⁰ Не случайно в настоящее время обсуждается вопрос об этническом происхождении Александра Свирского. Ряд исследователей настаивает на вепском происхождении святого [Строгальщикова: 60]. Показательно, что более поздний, сокращенный вариант сказания об Александре Свирском, опубликованный в сборнике «Кленовое кантеле», сам В. Пулькин поместил в разделе «Исполать. Сказания о вепских святых» (Пулькин В. И. Кленовое кантеле. Сказания о пришедших издалека. Петрозаводск: Карелия, 2008. С. 58–71). Здесь же помещено сказание об Ионе Яшезерском.

¹¹ Паустовский К. Г. Золотая роза // Собр. соч.: в 6 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1957. Т. 2: Повести. С. 568.

«И услышав знакомое присловье о дожде, пронизанном солнцем, опять прослезилась Васса...» (7).

Описание дождя сопровождается цитированием фольклорной детской заклички: «Дождик, дождик, пуще! // Будет хлеба гуще! // Дождик, дождик, перестань! // Я пойду на Иордан, // Богу молиться, // Христу поклониться!» (7). Подобные тексты были опубликованы в сборнике русского детского фольклора Карелии [Русский детский фольклор: 92–94] незадолго до создания «Северной Фиваиды». Имеется образец стиха с почти дословным совпадением: «Дождик-дождик, перестань! // Я поеду на Ердань // Богу молиться, // Христу поклониться» [Русский детский фольклор: 92].

В сказе картина дождя, идущего при солнце, становится знаменем богоизбранности Амоса; Стефан говорит Вассе:

«Не иначе — святого родишь, женка» (7).

Мотив знамения усилен христианской символикой *белого* цвета как цвета святости и духовной чистоты:

«И пречисто было цветение белой черемухи, белых ландышей, потом — белых цветов лесной, укромно живущей земляники» (7).

Сближение агиографического источника с бытовыми реалиями Русского Севера хорошо заметно и по множеству прочих признаков.

Подробно описывается жилище:

«Светилась свежесрубленная сосновая плоть горенки. Трепетала под напористым речным ветром слюдяная околелка» (8).

Отражены крестьянские сельскохозяйственные, промысловые занятия:

«Амос был еще подростком, когда на дальнюю лесную пожню, где он вместе с родителями своими, Стефаном и Вассой, сено косил и метал стога, пришли, свернув с тракта, три монаха» (9); «Догорал август — конец уборочных работ. Миновал третий — Хлебный! — Спас. В деревне солили огурцы, а кое-кто и поспешал квасить капусту» (25).

Последний пример относится к топосу «предсмертного наставления святого братии» [Руди, 2006: 499]. В сказе этот топос орнаментирован цитатой из народной песни: «Растворю я квашонку на доньшке, // Я покрою квашонку черным соболем, // Опояшу я квашонку чистым золотом...» (25). Эта песня неоднократно публиковалась в разных источниках¹².

Время отхода святого в мир иной — это время сбора урожая. Повествователь вновь, как и в начальном эпизоде празднования Пасхи, сопрягает события жизни святого с годовым циклом. В финальной сцене, когда Александр Свирский собирает вокруг себя множество учеников, угадывается важная для рассказчика мысль: святой оставил на земле «плоды добрые».

В «Венце света» нашли применение и обширные познания писателя в области севернорусской деревянной архитектуры. Описывая строительство храма, рассказчик уделяет внимание каждой детали:

«Юноши творили людям всякую помощь — в бору, куда ездили за мхом для конопачения стен меж венцов, и на срубе, когда вздымали матерую матицу, балку; и мастеру, вырезающему узоры-прибасенки для очелий, коневого бревна или наличников, просветляли разум скоропослушные зову святые ангелы <...>. Стены-посомки вывели и шатер срубили. И луковички покрыли лемехом. И очелье изузорили» (17).

Мотив воздвижения храма — один из значимых в творчестве В. Пулькина [Петров, 2023: 56]. Однако этот христианский мотив в «Северной Фиваиде» подвергается фольклорной контекстуализации. Рассказчиком использованы народные предания о выборе места для строительства сакрального объекта. В Житии Александра Свирского эти предания не отражены, это индивидуальное привнесение.

Мотив выбора места структурирован в соответствии с фольклорным принципом троичности: «мужики с ближних деревень», «сплавщики-плотогоны» и «бабы-портомойницы» дают «отцам-инокам» три разных совета:

¹² См.: Коринфский А. А. Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. М.: Изд. книгопродавца М. В. Клюкина, 1901. С. 23; Песни, собранные П. В. Киреевским. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1911. Вып. 1: Песни обрядовые. С. 293.

- 1) «Надо привязать в постромки неезженному коню бревно, приуготовленное для рубки первого венца. Да и пустить лошадь на волю. И где остановится конь, там и будет храм» (17),
- 2) «...лес, сплоченный в плоты, да будет пущен на волю волн. И где пристанет, там рубить» (18),
- 3) «Нет вернее обычая: обрящется икона где ни на есть под кустышком — на том месте становятся храм» (18).

Предания подобного типа были распространены на Русском Севере и записывались самим В. Пулькиным и Н. А. Криничной в фольклорных экспедициях. Они были опубликованы в сборнике [Криничная, 1991: 39–47]. Разновидности мотива выбора места для сооружения культового объекта подробно описаны в работе Н. А. Криничной о народной исторической прозе [Криничная, 1987: 43–53]. Исследовательница указывает на архаичность этого мотива и приводит соответствующие параллели из древнеисландской саги, античных и библейских источников и т. д.

Текст «Венца света» отличает развитая диалогичность, время от времени в сказе вспыхивают искорки незатейливого юмора, появляются шуточные интонации, что несовместимо со стилистикой агиографического канона:

«Ну, что глядишь, парень, как гусь на зарево! <...> Собирайся, поедем домой. Скоро осенины, а девки выросли ныне ядрены и у нас, в русских деревнях, и на чудской стороне Ояти. За тебя пойдет любая. Клубук-то, поди, не гвоздем прибит» (12).

Разного рода присловья, пословицы и поговорки вовсе не призваны искусственно снизить стиль Жития, десакрализовать книжный источник. Их роль заключена в другом: они вводят севернорусскую речь в мировой культурный контекст. Для повествователя очень важна мысль о смысловых перекличках, пересечениях народных выражений с древней премудростью, освященной авторитетом античных и христианских авторов. Об этом прямо говорится в одном из философских отступлений:

«Святой Василий многомудрый и славный, что жил в Цареграде за тысячу лет до нас, рек, звеня медью литых словес: "За факелом

приходит свет, за миррой благоухание. Благочестие же рождает добрые дела"¹³. А дедушко-пастух на Ояти скажет просто, но то же самое: "Честь ум рождает, бесчестье последний отнимает". Аристотель написал: "Бог может сотворить, что захочет. Из людей же воистину хорош тот, кто приносит зримую пользу и просвещение"¹⁴. Крестьянский философ-пахарь вторит ему со всегдашней кратостью, суровой и ладной, как рубка углов избы: "Бог творит что хочет, а человек — что может". И таких примеров, убеждался калугер, тьма тем. Мудрость вечна и разлита широко» (13).

Однако было бы заблуждением думать, что агиографический источник растворен в фольклоре и этнографии. Напротив, христианская составляющая в рассказе даже усилена.

В «Венце света» воспроизведен известный житийный топос: «отрок, будущий святой, с самого детства мечтает о постриге, будучи объят божественной любовью» [Руди, 2006: 439]. Согласно Житию, учение плохо давалось юному Амосу, поэтому «опечаленный отрок обратился с молитвою к Божией Матери о просвещении ума и очей сердечных, чтобы "разумети учение божественного писания", и благодать Божия осенила его, так что он стал учиться лучше своих товарищей» (*Олонецкий патерик*: 46–47). После этого Амос решил посвятить себя Богу, «ел один хлеб и то «не до сытости», спал мало» (*Олонецкий патерик*: 47).

Эта схема точно передана В. Пулькиным, однако в сказе воссозданы образы и мотивы, которые лишь контурно обозначены или вовсе отсутствуют в Житии. В частности, расширено историко-культурное пространство: в сцене обучения цитируется Книга пророка Амоса (Ам. 7: 14; 8: 11–13), чье имя по святцам при крещении получил будущий святой. Юный Амос «питал свою душу высоким примером ветхозаветного провидца» (8). Здесь автор, хотя и добавляет новую деталь в повествование,

¹³ Вольная цитата из «Бесед» Василия Великого (Василия Кесарийского), ср.: «Как за огнем само собою следует то, что он светит, и за миром — то, что оно благоухает, так и за добрыми делами необходимо следует полезное» (Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения: в 2 т. М.: Сибирская Благовонница, 2008. Т. 1. С. 1022).

¹⁴ Цитата из «Пчелы», ср.: «Аристотель сказал. Бог может сотворить сколько захочет, из людей же хорош тот, кто пользу принесет» (Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 5: XIII век. С. 417).

в сущности все же следует житийному канону: *ориентация на образцы* (imitatio) — один из важных принципов агиографической топики [Руди, 2005: 62].

Переосмыслен эпизод пребывания святого в пустыни. Согласно Житию, «врагу рода человеческого неприятны были такие подвиги преподобного; диавол сначала хотел утратить зверями и змеями, а потом явилось целое воинство бесов, которые хотели прогнать подвижника с этого места; но молитва святого прогнала их самих» (*Олонецкий патерик*: 49). Ср.: «...когда зверь свирепый напал на него с рычанием, он молитвой его отражал <...>» (*Новый Олонецкий патерик*: 241).

В «Венце света» эпизод решен в совершенно ином ключе:

«И к той же криничке, которую святой обнес осиновым срубцем, ходили на водопой дикие звери. Раньше иных, на исходе ночи — медведь старый, седой. Потом — лоси, кабаны, иные. И преподобный никого не спугнет, не избидит. Звери его знают: горбушку хлеба с ладони брали. А коли хлеба нет, так хоть кисточку ягоды брусники сорвет отец Александр, почествует зверя, Божью тварь. Приветит Господним именем зайчика и беленького горностаика. И тварь несмысленная просветится любовью, восчувствует Бога» (16).

Кормление диких животных (леопарда, льва, медведя, волка, горностаика и т. д.), ведущих себя как ручные, — распространенный мотив в агиографии [Буфеев: 38–44]. Писатель мог позаимствовать его из любого другого житийного текста (о Сергии Радонежском, Серафиме Саровском и др.). В Пулькину такое художественное решение могло показаться более привлекательным по разным причинам, но предположим, что решающую роль сыграло наполнение эпизода значимой для писателя высокой этикой спасительной, всеобъемлющей христианской любви.

Важное свойство поэтики «Венца света» — расширение, в сравнении с Житием, сакрального пространства. Юному Амосу грезятся православные святые, киновии Цареграда, Киева, Новгорода, остров Валаам (9). Здесь же повествователь упоминает патерики; «Лавсаик» Палладия, епископа Еленопольского; сочинение «Луг духовный» блаженного Иоанна Мосха.

Рассказчик прибегает к обильному цитированию творений пророков, апостолов, богословов, Отцов Церкви. В сцене

прихода Александра в пúстынь цитируется покаянный стих «Приими мя пустыня...», освоенный русской фольклорной традицией и бытовавший в виде многочисленных вариантов духовного стиха о царевиче Иоасафе [Петров, 2021]. В обработке В. Пулькина эта инициальная формула стиха вложена в уста Александра:

«И склонился инок в великой радости: "Прими меня, мати прекрасная, пресветлая пустынь"» (15).

Рассуждая о значении молитвы в жизни верующего, повествователь вспоминает слова египетского пустычника Аввы Агафона:

«...нет более трудного дела, чем истинная молитва» (19).

Христианское звучание сказа усилено и благодаря использованию некоторых символических образов. В момент прощания Александра с отцом, когда выбор сделан, раздаётся *звон колоколов*, знаменующий торжественность сцены, обозначающий Божественное присутствие:

«Звонили <...> колокола на звонницах и колокольнях больших и малых, на большом отоке и на малых островах» (13).

В начале избранного пути Александр говорит: «Ныне это — моя страда, моя жнива» (13), что перекликается с уже упомянутой финальной сценой упокоения святого, с символикой возделываемого *поля* и собираемого *урожая*.

Символ Божественного знаменания — яркая *звезда*, загоревшаяся на небе «в зените среди бела дня» (15). В этот момент открывается предназначение Александра на земле:

«"Александр!" — тихо позвал Господь. — Приуготовил аз тебе множество людей, коих ты будешь водить ко спасению. Смотри, не отринь — сколько бы ни было их, чающих Царства Небесного» (15).

Очевидны ассоциации с Вифлеемской звездой. В Житии они отсутствуют. Образ *звезды* очень важен в поэтике сказа:

«Медленно кружился перед глазами юноши Амоса звездный купол мироздания. Срывались с него и упали, сгорая, звезды...» (9),

«Ночами он молился под частыми звездами...» (13),
«Следующую и еще несколько ночей Александр не спал, проведя их в горячей молитве, по обычаю своему — на берегу озера, под звездным небом. Был август. Небо сияло светилами, а озеро горело их отражениями» (14).

Сам Александр уподоблен звезде (13). Звездное сияние символизирует святость, вместе с тем это и символ *красоты, цельности, бесконечности* Божьего мироздания: вспомним описание звезд, отраженных в озере, картину слияния миров дальнего и горнего в пространстве вечности. Звезда является Александром и как святое *знамение, обетование* Божие.

Житийные образы и мотивы в сказе Виктора Пулькина «Венец света» из цикла «Северная Фиваида» располагаются в русле агиографического канона. Автору удалось познакомить читателей с содержанием важнейших христианских текстов, с миром древнерусской книжной культуры, пусть это и потребовало поиска новой художественной формы, соответствующей эстетическим привычкам и ожиданиям современников.

Виктор Пулькин, сохранив сюжетную канву, топику Жития, соединил в одном произведении фольклорно-этнографические и христианские традиции. Писатель очень ответственно подошел к делу. Текст «Венца света» плотно насыщен культурно-исторической информацией: это своего рода художественная вселенная в миниатюре, сложный лабиринт имен, цитат, аллюзий, реминисценций и т. п.

Изменения, в сравнении с Житием, претерпел и стиль: рассказ изобилует пейзажными зарисовками, диалогами, авторскими отступлениями; агиографические интонации сближаются с интонациями разговорной речи, широко используются пословицы, поговорки, приметы. Все это, по мысли писателя, должно было «оживить» повествование, сблизить героев с читателями, при этом сохранив серьезность, торжественность звучания Жития. Художественно-стилистические средства, характерные для поэтики севернорусского сказа, использованы для бережной передачи важнейших идей агиографического текста.

Образы и мотивы житийной литературы получили новый импульс к осмыслению — уже на новом историческом этапе, в современном культурном контексте.

Список литературы

1. [Буфеев К.], протоиерей. Животные рядом со святыми / авт.-сост. протоиерей Константин Буфеев. М.: Шестодневъ, 2012. 308 с.
2. Винокурова И. Ю. Ритуал первого выгона скота на пастбища у вепсов // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск: Тип. им. П. Ф. Анохина, 1988. Т. 1. С. 4–26. EDN: TQZUJP
3. Дмитриев Л. А. Александр Свирский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1988. Вып. 2: Вторая половина XIV–XVI в. Ч. 1: А–К. С. 20–21.
4. Дюжев Ю. И. Русская литература Карелии 1990-х годов. Проза // История литературы Карелии. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2000. Т. 3. С. 310–328. EDN: UWGDUX
5. Дюжев Ю. И. На грани литературы и фольклора (о прозе В. И. Пулькина) // Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве пограничного региона: мат-лы Междунар. науч. конф., посвященной 75-летию Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, 10–12 октября 2005 года. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2005. С. 206–211. EDN: TRAIAP
6. Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 249–261 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2403> (30.07.2025). EDN: RUYJWR (a)
7. Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 5–11 [Электронный ресурс]. URL: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370> (30.07.2025). EDN: RUYJPT (b)
8. Криничная Н. А. О сакральной функции пастушьей трубы (по материалам северных пастушеских обрядов) // Русский Север: проблемы этнокультурной истории, этнографии и фольклористики. Л.: Наука, 1986. С. 181–189.
9. Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: вопросы генезиса и структуры. Л.: Наука, 1987. 227 с. EDN: RZBLZF
10. Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб.: Наука, 1991. 328 с. EDN: RZCQOP
11. Логинов К. К. Традиционные занятия и промыслы русских Заонежья // Народы Карелии: историко-этнографические очерки. Петрозаводск: Периодика, 2019. С. 536–568. EDN: VAGUAP
12. Макарий (Веретенников), архим., Журавлева И. А., Полякова О. А. Александр Свирский // Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.: Православная энцикл., 2000. Т. 1. С. 536–539.

13. Маркова Е. И. Новгородская литературная традиция // История литературы Карелии. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2000. Т. 3. С. 13–19. EDN: UWDAJF
14. Муллонен И. И. Территория расселения и этнонимы вепсов // Народы Карелии: историко-этнографические очерки. Петрозаводск: Периодика, 2019. С. 304–313. EDN: GSBJFE
15. Муравьев А. [Н]. Русская Фиваида на Севере. СПб.: Тип. III Отд. Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1855. 508 с.
16. Петров А. М. Духовные стихи о царевице Иоасафе: состав сюжетов и метрические модели // Антропологический форум. 2021. № 49. С. 88–131 [Электронный ресурс]. URL: <https://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/049/petrov.pdf> (30.07.2025). DOI: 10.31250/1815-8870-2021-17-49-88-131. EDN: FXIIXP
17. Петров А. М. К проблеме освоения фольклорных нарративов литературной традицией: сказ Виктора Пулькина «Змей — серебряная спинка» // Традиционная культура. 2023. Т. 24. № 3. С. 47–59 [Электронный ресурс]. URL: https://www.trad-culture.ru/sites/default/files/files_pdf/Petrov.pdf (30.07.2025). DOI: 10.26158/TK.2023.24.3.004. EDN: IGCVBZG
18. Пигин А. В. Памятники рукописной книжности Олонецкого края. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 225 с. EDN: QYICFT
19. Пигин А. В. Житие Александра Свирского. Предисловие // Новый Олонецкий патерик. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. С. 219–222. EDN: VXEWJF
20. Плотникова А. А. Выгон скота // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. М.: Междунар. отношения, 1995. Т. 1: А — Г. С. 467–474.
21. Плотникова А. А. Выгон скота // Славянская мифология: энциклопедический словарь. 2 изд., испр. и доп. М.: Междунар. отношения, 2002. С. 98–99.
22. Преподобный Александр Свирский и его ученики / сост. Л. А. Ильюнина. СПб.: Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, 2011. 384 с.
23. Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 59–101. EDN: LOCXPE
24. Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. Т. 57. С. 431–500 [Электронный ресурс]. URL: <http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=2xpjtN6FHmg%3d&tabid=5957> (30.07.2025). EDN: RPHKDR
25. Русский детский фольклор Карелии / сост., подгот. текстов, вступ. ст., предисл. к разделам и коммент. С. М. Лойтер. Петрозаводск: Карелия, 1991. 280 с. (Сер.: Памятники фольклора Карелии.)

26. Соболева А. Е. Житие Александра Свирского: от Великих Миней четгих до первого печатного издания // Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь в российской истории и культуре: к 510-летию со дня основания обители: сб. науч. тр., док-тов и мат-лов. СПб.: Президентская библиотека, 2016. С. 65–82. EDN: YMEIZL (Сер.: Документы и материалы.)
27. Строгальщикова З. И. О роли Александра Свирского в христианизации северного края // Строгальщикова З. И. Вепсы в этнокультурном пространстве Европейского Севера. Петрозаводск: Периодика, 2016. С. 60–73.
28. Федотов Г. П. Собр. соч.: в 12 т. М.: Мартис, 2000 Т. 8: Святые Древней Руси. 268 с.
29. Филатова Н. П. Мой брат, Виктор Пулькин // Север. 2010. № 7–8. С. 189–201 [Электронный ресурс]. URL: <https://sever-journal.ru/assets/Issues/2010/7-8/189-201Filatovapulkin.pdf> (30.07.2025).
30. Шилова Н. Л. «Северная Фиваида» В. И. Пулькина: локальный текст и авторское начало // Рябининские чтения–2011: мат-лы VI конф. по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2011. С. 473–475.
31. Шилова Н. Л. Видения в «Северной Фиваиде» Виктора Пулькина // «Свое» и «чужое» в культуре народов Европейского Севера: мат-лы 9-й Межвуз. регион. науч. конф., (г. Петрозаводск, 21 марта 2013 г.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. С. 25–28.
32. Яхонтов И. А. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань: тип. Императорского ун-та, 1881. 377 с.

References

1. Bufeef K., Archpriest. *Zhivotnye ryadom so svyatyimi [Animals Next to Saints]*. Moscow, Shestodnev Publ., 2012. 308 p. (In Russ.)
2. Vinokurova I. Yu. The Ritual of the First Sending of the Cattle to Pastures Among the Vepsians. In: *Obryady i verovaniya narodov Karelii [Rituals and Beliefs of the Peoples of Karelia]*. Petrozavodsk, Tipografiya imeni P. F. Anokhina Publ., 1988, vol. 1, pp. 4–26. EDN: TQZUJP (In Russ.)
3. Dmitriev L. A. Alexander Svirsky. In: *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevney Rusi [Dictionary of the Scribes and Literature of Ancient Rus']*. Leningrad, Nauka Publ., 1988, issue 2, part 1, pp. 20–21. (In Russ.)
4. Dyuzhev Yu. I. Russian Literature of Karelia in the 1990s. Prose. In: *Istoriya literatury Karelii [History of Literature of Karelia]*. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences Publ., 2000, vol. 3, pp. 310–328. EDN: UWGDUX (In Russ.)
5. Dyuzhev Yu. I. On the Border Between Literature and Folklore (About the Prose of V. I. Pulkin). In: *Mezhkul'turnye vzaimodeystviya v polietnichnom prostranstve pogranichnogo regiona: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu Instituta yazyka, literatury i istorii Karel'skogo nauchnogo tsentra RAN, Petrozavodsk, 10–12 oktyabrya 2005 goda*

- [*Intercultural Interactions in the Multiethnic Space of a Border Region: Proceedings of the International Scientific Conference Dedicated to the 75th Anniversary of the Institute of Language, Literature and History of Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, October 10–12, 2005*]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of Russian Academy of Sciences Publ., 2005, pp. 206–211. EDN: TRAIAP (In Russ.)
6. Zakharov V. N. The Easter Story as a Russian Literary Genre. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [*The Problems of Historical Poetics*]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, issue 3, pp. 249–261. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2403> (accessed on July 30, 2025). EDN: RUYJWR (In Russ.) (a)
 7. Zakharov V. N. Russian Literature and Christianity. In: *Problemy istoricheskoy poetiki* [*The Problems of Historical Poetics*]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, issue 3, pp. 5–11. Available at: <https://poetica.pro/journal/article.php?id=2370> (accessed on July 30, 2025). EDN: RUYJPT (In Russ.) (b)
 8. Krinichnaya N. A. On the Sacred Function of the Shepherd's Pipe (Based on Materials from Northern Shepherd's Rites). In: *Russkiy Sever: problemy etnokul'turnoy istorii, etnografii i fol'kloristiki* [*Russian North: Problems of Ethnocultural History, Ethnography, and Folklore Studies*]. Leningrad, Nauka Publ., 1986, pp. 181–189. (In Russ.)
 9. Krinichnaya N. A. *Russkaya narodnaya istoricheskaya proza: voprosy genezisa i struktury* [*Russian Folk Historical Prose: Issues of Genesis and Structure*]. Leningrad, Nauka Publ., 1987. 227 p. EDN: RZBLZF (In Russ.)
 10. Krinichnaya N. A. *Predaniya Russkogo Severa* [*Legends of the Russian North*]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1991. 328 p. EDN: RZCQOP (In Russ.)
 11. Loginov K. K. Traditional Occupations and Crafts of Russians of Zaonezhye. In: *Narody Karelii: istoriko-etnograficheskie ocherki* [*Peoples of Karelia: Historical and Ethnographic Essays*]. Petrozavodsk, Periodika Publ., 2019, pp. 536–568. EDN: VAGUAP (In Russ.)
 12. Makariy (Veretennikov), Archimandrite, Zhuravleva I. A., Polyakova O. A. Alexander Svirsky. In: *Pravoslavnyaya entsiklopediya* [*Orthodox Encyclopedia*]. Moscow, Pravoslavnyaya entsiklopediya Publ., 2000, vol. 1, pp. 536–539. (In Russ.)
 13. Markova E. I. Literary Tradition of Novgorod. In: *Istoriya literatury Karelii* [*History of Literature of Karelia*]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences Publ., 2000, vol. 3, pp. 13–19. EDN: UWDAJF (In Russ.)
 14. Mullonen I. I. Territory of Settlement and Ethnonyms of the Vepsians. In: *Narody Karelii: istoriko-etnograficheskie ocherki* [*Peoples of Karelia: Historical and Ethnographic Essays*]. Petrozavodsk, Periodika Publ., 2019, pp. 304–313. EDN: GSBJFE (In Russ.)
 15. Murav'ev A. N. *Russkaya Fivaida na Severe* [*Russian Thebaid in the North*]. St. Petersburg, Tipografiya III Otdeleniya sobstvennoy Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii Publ., 1855. 508 p. (In Russ.)

16. Petrov A. M. Spiritual Verses About Tsarevich Joasaph: Plots and Metrical Models. In: *Antropologicheskiiy forum*, 2021, no. 49, pp. 88–131. Available at: <https://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/049/petrov.pdf> (accessed on July 30, 2025). DOI: 10.31250/1815-8870-2021-17-49-88-131. EDN: FXIIXP (In Russ.)
17. Petrov A. M. On the Literary Adaptation of Folklore Narratives: Viktor Pulkin's Tale "The Serpent with a Silver Back". In: *Traditsionnaya kul'tura [Traditional Culture]*, 2023, vol. 24, no. 3, pp. 47–59. Available at: https://www.trad-culture.ru/sites/default/files/files_pdf/Petrov.pdf (accessed on July 30, 2025). DOI: 10.26158/TK.2023.24.3.004. EDN: IGCZBG (In Russ.)
18. Pigin A. V. *Pamyatniki rukopisnoy knizhnosti Olonetskogo kraya [Monuments of Manuscript Literature of the Olonets Region]*. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2010. 225 p. EDN: QYICFT (In Russ.)
19. Pigin A. V. The Life of Alexander Svirsky. Preface. In: *Novyy Olonetskiy paterik [New Olonets Patericon]*. St. Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 2013, pp. 219–222. EDN: VXEWJF (In Russ.)
20. Plotnikova A. A. Cattle Drive. In: *Slavyanskies drevnosti: etnolingvisticheskiy slovar': v 5 tomakh [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary: in 5 Vols]*. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 1995, vol. 1, pp. 467–474. (In Russ.)
21. Plotnikova A. A. Cattle Drive. In: *Slavyanskaya mifologiya: entsiklopedicheskiy slovar' [Slavic Mythology: Encyclopedic Dictionary]*. 2nd ed., corrected and supplemented. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2002, pp. 98–99. (In Russ.)
22. *Prepodobnyy Aleksandr Svirskiy i ego ucheniki [Reverend Alexander Svirsky and His Disciples]*. St. Petersburg, The Holy Trinity Alexander Svirsky Monastery Publ., 2011. 384 p. (In Russ.)
23. Rudi T. R. Topics of Russian Lives of Saints (Typology Issues). In: *Russkaya agiografiya. Issledovaniya. Publikatsii. Polemika [Russian Hagiography. Researches. Publications. Polemics]*. St. Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 2005, pp. 59–101. EDN: LOCXPE (In Russ.)
24. Rudi T. R. On the Composition and Topic of the Lives of the Reverend. In: *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury*. St. Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 2006, vol. 57, pp. 431–500. Available at: <http://odrl.pushkinskiydom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=2xpjtN6FHmg%3d&tabid=5957> (accessed on July 30, 2025). EDN: RPHKDR (In Russ.)
25. *Russkiy detskiy fol'klor Karelii [Russian Children's Folklore of Karelia]*. Petrozavodsk, Kareliya Publ., 1991. 280 p. (Ser.: Folklore Monuments of Karelia.) (In Russ.)
26. Soboleva A. E. The Life of St. Alexander of Svir: from the Great Menaion Reader to the First Printed Edition. In: *Svyato-Troitskiy Aleksandra Svirskogo monastyr' v rossiyskoy istorii i kul'ture: k 510-letiyu so dnya osnovaniya obiteli: sbornik nauchnykh trudov, dokumentov i materialov [Alexander of Svir Monastery of Holy Trinity in Russian History and Culture: to the 510th Anniversary of the Monastery: Collection of Research Works, Documents, and Materials]*. St. Petersburg, Prezidentskaya biblioteka Publ., 2016, pp. 65–82. EDN: YMEIZL (Ser.: Documents and Materials.) (In Russ.)

27. Strogal'shchikova Z. I. On the Role of Alexander Svirsky in the Christianization of the Northern Region. In: *Strogal'shchikova Z. I. Vepsy v etnokul'turnom prostranstve Evropeyskogo Severa* [Strogal'shchikova Z. I. *Vepsians in the Ethnocultural Space of the European North*]. Petrozavodsk, Periodika Publ., 2016, pp. 60–73. (In Russ.)
28. Fedotov G. P. *Sobranie sochineniy: v 12 tomakh* [Collected Works: in 12 Vols]. Moscow, Martis Publ., 2000, vol. 8. 268 p. (In Russ.)
29. Filatova N. P. My Brother, Viktor Pulkin. In: *Sever*, 2010, no. 7–8, pp. 189–201. Available at: <https://sever-journal.ru/assets/Issues/2010/7-8/189-201Filatovapulkin.pdf> (accessed on 30.07.2025). (In Russ.)
30. Shilova N. L. The Northern Thebaid” by V. I. Pulkin: Local Text and the Author’s Personality. In: *Ryabininskie chteniya–2011: materialy VI konferentsii po izucheniyu i aktualizatsii kul'turnogo naslediya Russkogo Severa* [Ryabinin Readings–2011: Proceedings of the 6th Conference on the Study and Updating of the Cultural Heritage of the Russian North]. Petrozavodsk, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences Publ., 2011, pp. 473–475. (In Russ.)
31. Shilova N. L. On Visions in “The Northern Thebaid” by Victor Pulkin. In: *“Svoye” i “chuzhoe” v kul'ture narodov Evropeyskogo Severa: materialy 9-y Mezhvuzovskoy regional'noy nauchnoy konferentsii (g. Petrozavodsk, 21 marta 2013 g.)* [“Ours” and “Alien” in the Culture of the Peoples of the European North: Proceedings of the 9th Interuniversity Regional Scientific Conference (Petrozavodsk, March 21, 2013)]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2013, pp. 25–28. (In Russ.)
32. Yakhontov I. A. *Zhitiya svyatykh severnorusskikh podvizhnikov Pomorskogo kraya kak istoricheskiy istochnik* [Lives of the Holy Northern Russian Ascetics of the Pomor Region as a Historical Source]. Kazan, tipografiya Imperatorskogo universiteta Publ., 1881. 377 p. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Петров Александр Михайлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт языка, литературы и истории, Карельский научный центр, Российская академия наук (ул. Пушкинская, 11, г. Петрозаводск, Российская Федерация, 185910); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5095-4254>; e-mail: hermitage2005@yandex.ru.

Alexander M. Petrov, PhD (Philology), Senior Researcher, Institute of Linguistics, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences (ul. Pushkinskaya 11, Petrozavodsk, 185910, Russian Federation); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5095-4254>; e-mail: hermitage2005@yandex.ru.

Поступила в редакцию / Received 01.08.2025

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 13.10.2025

Принята к публикации / Accepted 15.10.2025

Дата публикации / Date of publication 24.11.2025

Научный журнал

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

2025

Том 23

№ 4

Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77–61851 от 18.05.2015

Редакторы: *И. С. Андрианова, Т. В. Панюкова, М. В. Заваркина,
Л. В. Алексеева, Ю. Д. Зирка, Е. Н. Вяль*

Компьютерная верстка: *М. В. Заваркина, В. С. Зинкова, Е. Н. Вяль*
Перевод: *Я. И. Соломинская*
Зав. редакцией: *И. С. Андрианова*

Подписано к изданию 22.11.2025. Уч.-изд. л. 20,4.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

185910, Российская Федерация
Петрозаводск, пр. Ленина, 33
Тел. +7 (8142) 719 603
E-mail: poetica@petsu.ru

Сайт журнала в интернете: <http://poetica.pro>